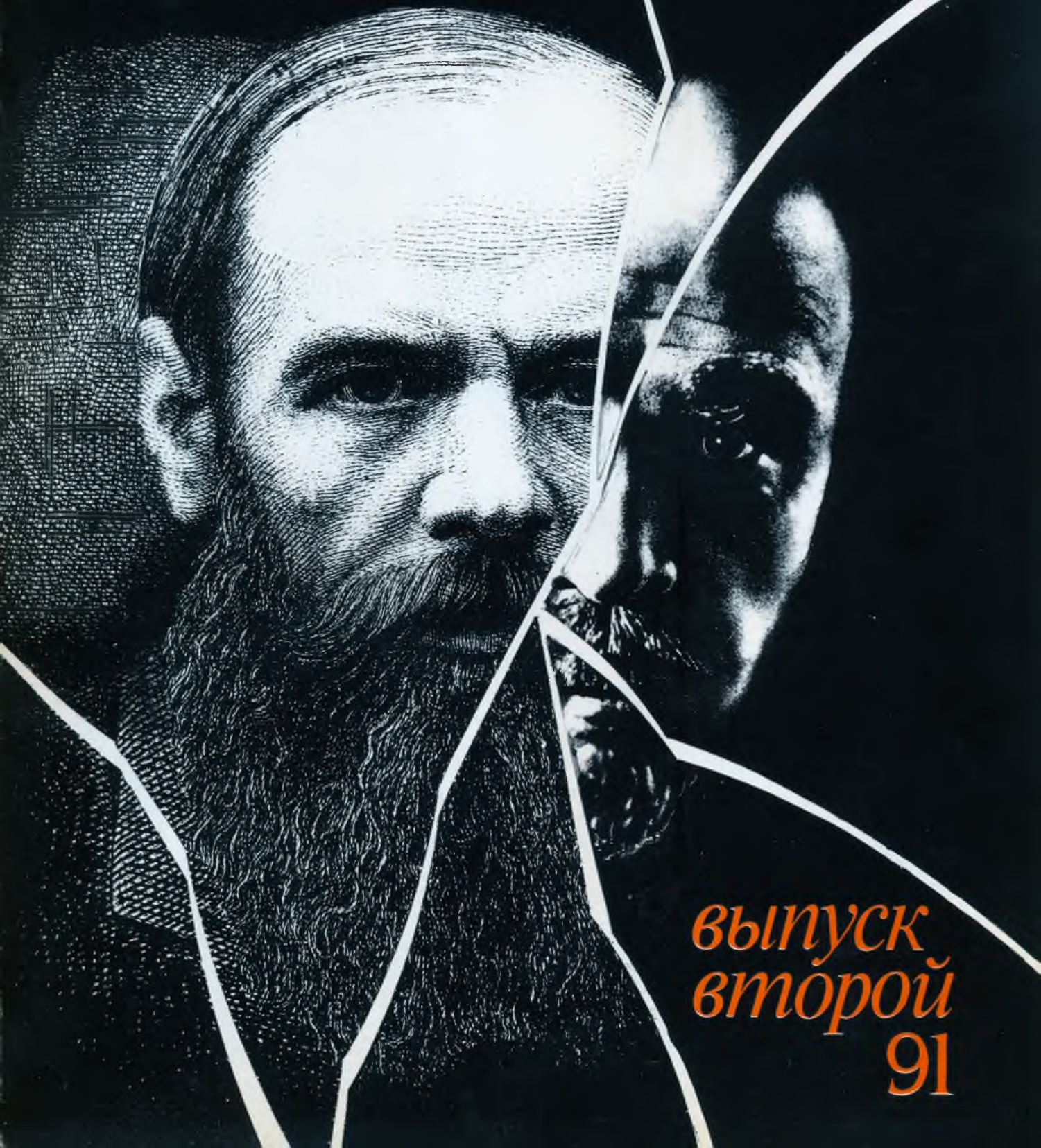


СТРАННИК

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, ПОЛИТИКА



*выпуск
второй
91*

**ОТНИМИ, ГОСПОДИ, ОТ МЕНЯ СМЕХ И ДАРУЙ
МНЕ ПЛАЧ И РЫДАНИЕ. ПЛАЧ СОЗИДАЕТ
И ХРАНИТ. ПЛАЧ ДУШУ ОМЫВАЕТ И ЧИСТОТУ
СОВЕРШАЕТ. НАЧАЛО ЖЕ ПЛАЧУ В ТОМ, ЧТО
КАЖДЫЙ СВЕДАЕТ О СЕБЕ.**



СТРАННИК

Издание творческо-производственного объединения «Странник»

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, ПОЛИТИКА

выпуск
второй · 91

Учредитель
и главный редактор
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ

Редакционная коллегия:
ГАЛИНА БЕЛАЯ
АНДРЕЙ БИТОВ
АЛЕКСАНДР ДОБРОХОТОВ
ВИКТОР ЕРОФЕЕВ
ВЛАДИМИР КАНТОР
СЕРГЕЙ ЛАРИН
ИНАР МОЧАЛОВ
ВЛАДИСЛАВ СЕМЕРНИН
АНАТОЛИЙ СТРЕЛЯНЫЙ
ЛЕВ ТИМОФЕЕВ
ДАВИД ФЕЛЬДМАН
ГРИГОРИЙ ХАНИН
ВИКТОРИЯ ЧАЛИКОВА
ПЕТР ЧЕРКАСОВ
БОРИС ЧЕРНЫХ
МАРИЭТТА ЧУДАКОВА
ГЕОРГИЙ ЮДИН

Ответственный секретарь
ВЛАДИМИР ЛЕБЕДЕВ

Главный художник
ВЛАДИМИР ДЕНИСОВ

Прямое слово

Андрей Синявский. «Я» И «ОНИ». О крайних формах общения в условиях одиночества 2

Разговор в пути

Ханна Кралль. ЛЮДИ ПО НАТУРЕ ДОБРЫЕ... 8

Диковинный мир

Георгий Демидов. АМОК. Повесть. 13

Встреча с поэтом

Евгений Шварц. СТРАШНЫЙ СУД. Вступительная заметка Юрия Арпишкина 34

Записная книжка

Сергей Калашников. РОМАН СО СВЕЧОЙ 37

Проклятые вопросы

Игорь Голомшток. ТОТАЛИТАРНОЕ ИСКУССТВО . . 45

На пепелище

Ольга Чуйкова. ДОЧЬ НАЧАЛЬНИКА 59

Следы минувшего

Владимир Короленко. ПИСЬМА К А. Г. ГОРНФЕЛЬДУ (1918—1921). Публикация и комментарий Павла Негретева Петр Струве. ГОЛОД 65

Из старых газет

Евгений Чириков. ВЕЛИКИЙ ПРОВОКАТОР. Дмитрий Мережковский. УПЫРЬ. РОССИЯ БУДЕТ (Интеллигенция и народ). Раздел ведет доктор философских наук Инар Мочалов. 72

Маргиналии

Александр Галушкин. ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО 75

Письмо из-за границы

Александр Янов (Нью-Йорк). ФИЛОСОФИЯ ПОБЕЖДЕННЫХ. Письмо второе 81

Эхо

Нам пишут Георгий Федоров, Владимир Глоцер, Людмила Бусуек 86

Святочный рассказ

Борис Черных. МАЛЕНЬКИЙ ПОРТНОЙ 88

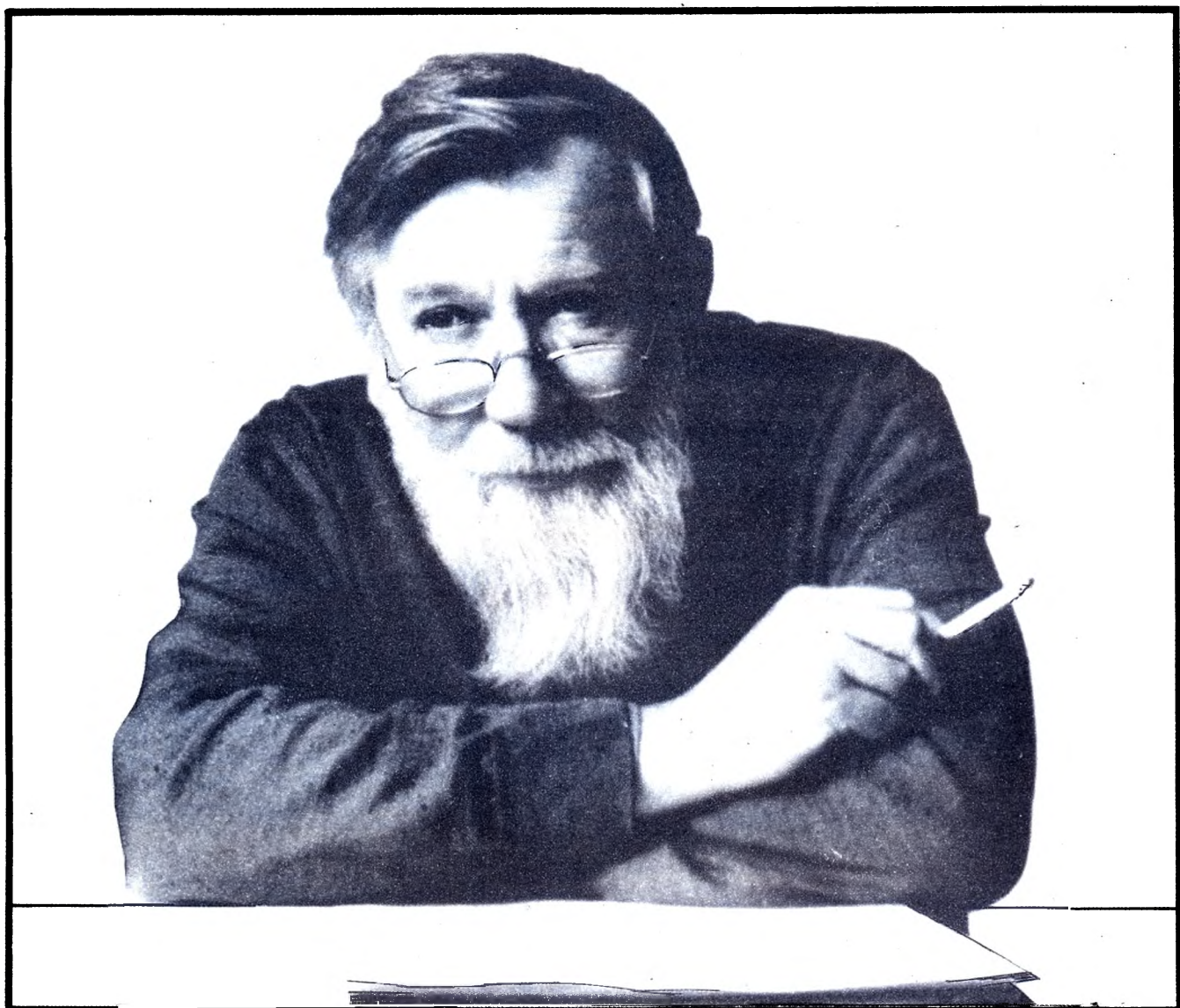
Адрес редакции:
119034, Москва,
ул. Рылеева, 23,
кор. 1.

Тир. 5000.
МГП „Эвтектика“. Зак. 781.

© Странник 1991

В оформлении использованы
фотоработы
Владимира Филонова

На второй странице обложки:
Леа Грундиг, из цикла «Тюрьма».



О КРАЙНИХ ФОРМАХ ОБЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОДИНОЧЕСТВА

Начну, для простоты, с анекдота. В женском общежитии для работниц, где восемь или двенадцать коек в комнате, Клава задумчиво говорит своей подруге Нине: «Ты знаешь, Нина, сейчас, когда я села здесь одна, вдруг прибежал Васька, опрокинул меня, употребил — и убежал... — Задумываясь: — И что он всем этим хотел сказать?..»

Это смешно и неловко. Но если подойти к подоб-

Тема международного симпозиума в Швейцарии, куда меня пригласили (XXVes Rencontres de Geneve), звучала довольно абстрактно: «Общение и одиночество». Рассуждать на эту тему отвлеченно я не сумел. Дескать, с одной стороны, «общение», а с другой — «одиночество» (проблематика Запада): каждый из нас все это переживает.

В ходе симпозиума были зачитаны прекрасные доклады — о средствах связи в современном обществе (радио, телевидение и т. д.). Был прочитан очень глубокий и интересный доклад о языке. Мне же, стороннему человеку, захотелось перебить это «одиночество», связанное с «общением» между всеми нами, несколько иной постановкой вопроса, что я и сделал. Как выходцу из России в пределах избранной темы мне было необходимо выйти из языка, на котором говорят. Так и получился текст, предложенный вниманию слушателей и читателей. (Прим. автора.)

ному эпизоду серьезно, то насильник Васька действительно своим неожиданным, немотивированным поступком, точнее — своим молчаливым и вместе с тем красноречивым жестом, что-то хотел выразить, сказать.

Многие наши поступки, движения, в особенности носящие чрезвычайный и абсурдный характер, это своеобразные способы языкового общения, которыми мы пытаемся объясниться с людьми, с действительностью. Когда ее, действительность, не понимают наши самые пылкие и убедительные речи или когда нам недостает, у нас нет этих слов, мы переходим на жесты, на действия, чтобы что-то сказать. Так, спор, случается, перерастает в драку, и эта драка оказывается замещением диалога...

Но я не стану вдаваться в отвлеченную область «общения как такового», с точки зрения которой весь образ жизни человека и общества во многом лишь попытка объясниться с ближним. То есть вся история

АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ



„Я“ И „ОНИ“

человека — это форма языка. Я хотел бы перейти на более простую и знакомую мне почву тюрьмы и лагеря и попытаться на примере этих крайних условий человеческого существования, человеческого общения и человеческого одиночества рассмотреть проблему. Однако и отсюда, из тюремно-лагерной практики, весьма богатой, разнообразной, я намерен избрать в качестве модели лишь некоторые, редкие и необычные, эпизоды разговора личности с обществом, «меня» с «ними». Те эпизоды, когда человек поставлен в положение безвыходности — языка, общения и всей жизни. И чтобы что-то объяснить и выразить, он переходит порою на совершенно особый, не поддающийся мгновенному пониманию «жаргон».

Заранее прошу извинения, что примеры и вопросы, которые я собираюсь затронуть, будут неприличны, страшны или отвратительны. Но я их не выдумывал. Я взял их из реальной практики лагеря. Все эти факты в принципе известны, и те, кто внимательно следит за лагерными мемуарами, доходящими из России, о них знают. Но дело в том как осмыслить, как понять эти факты.

Сошлюсь, во-первых, на довольно распространенный обычай среди повторно и бессрочно сидящих заключенных проделывать над собой всевозможные чудовищные, противоестественные манипуляции — в виде глотания ложек и других твердых предметов тюремного обихода, в виде снаряжения так называемого якоря, который загоняется в член, или питья собственной крови, поедания собственного мяса. Это самоедство прошу всего объяснить извращением, психопатией и списать подобных субъектов в разряд неполноценного, потерявшего человеческий облик отребья. Иногда — даже в нашей лагерной литературе — проскальзывает этого рода высокомерная-оценка: Дескать, те люди — нелюди, доведенные системой до животного и ниже животного состояния. И спрашивается: что с такими делать? — неужто опять истреблять! наново изолировать?!

Я не могу согласиться с этим мнением — в частности, потому, что встречался и разговаривал с подобными людьми и мог убедиться, что в большинстве это совсем не звери, не выродки и не сумасшедшие, а вполне нормальные люди, притом порой наделенные незаурядным умом и талантом. И потому перед этими фактами я разрешаю себе поставить наивный вопрос, заданный вышеназванной Клавой по поводу странного поведения Васьки: а что он всем этим хотел сказать?

Представим человека, который много лет — десять, пятнадцать, двадцать (и впереди ему ничего не светит, кроме нового срока) — сидит в тюрьме, вперемежку с лагерем. Притом человек этот, принадлежащий к уголовной среде, никаких книжек не читает и ни о чем таком возвышенном не мыслит. Он доведен до степени отчаяния, до крайней степени человеческой нищеты, отщепенства. У него ничего нет в руках и под руками, кроме собственного тела, которым он еще может распорядиться. Он находится на грани, но он еще не умер и не сошел с ума. Что ему прикажете делать, чтобы доказать, что он еще жив, разумен и кое-чем еще владеет? Он пользуется — в этом случае — своим телом (больше у него ничего не осталось), для того чтобы перейти на какой-то последний, тотальный язык и сказать на нем обществу примерно следующее: «Вы отняли у меня все — свободу, жизнь, землю и небо. Но вот это тело — оно мое, это моя собственность, Я здесь хозяин!..» Подчас речь эта, не сказанная и даже



А. Д. Синявский

не осознанная, невольно строится наподобие своеобразного спектакля, который разыгрывается перед охраной, перед начальством, перед сидящими здесь же в камере другими арестантами либо — более отвлеченно — перед всем светом. Самоедство становится формой театрального действия и зрелища.

Вообразите ситуацию. Старый зек-уголовник, прошедший огонь, воду и медные трубы, больной, чахоточный, с вырезанным наполовину желудком, понимающий, что ему едва ли дотянуть до воли, сидит в тюремной камере вдвоем с другим заключенным, которого он опекает и перед которым немного позирует. Назовем второго по его лагерному прозвищу — Муха, полученному за крохотный рост и исключительную подвижность. Муха — мужчина и вместе с тем в тех обстоятельствах это возлюбленная и жена старого, бывалого вора. Короче говоря, супружеская пара, семья. Наступает Новый год. А отметить Новый год — нечем. Все та же камера на двоих и та же Муха перед глазами. Единственное, чем старший располагает для праздника, для спектакля, для угощения, это его же тело. Тогда он самому себе — шикарным жестом — заказывает вино с мороженым. Еще раз прошу извинить меня за неприятные подробности, но без них не обойтись. Он берет железную тюремную кружку и вместо крема вводит туда сперму. Затем вскрывает себе вену и заливает мороженое вином. И оба — с праздником, с Новым годом.

Осмелюсь спросить: что это такое? И осмелюсь ответить: искусство. Искусство, и более того — в некотором роде мифотворчество, восходящее, возможно бессознательно, к каким-то ритуальным жестам и жертвам (кровь и сперма как первооснова жизни), только вывернутое наизнанку в виде карикатурного жуткого фарса.

И в нормальных условиях людям бывает трудно договориться с другими людьми, если даже одни и те же расхожие слова в ушах у каждого звучат по-разному, и что такое «свобода» или «демократия» пони-

мается порою противоположно, полярно, и это различие влечет смертоубийства ради утверждения, увековечения того, а не этого именно смысла или символа. Но еще труднее, еще невозможнее перейти на язык общения и взаимного понимания из ситуации многолетнего тюремного одиночества и конфликта со всем миром. В попытках завязать диалог здесь естественное взаимодействие «я» и «ты» сменяется соотношением — «я» и «они». «Они» — это те, для кого «ты» не «ты» (и не «я»), а тоже только нуль из безличной, чужеродной категории — «они». Общение облекается в вызов, в оскорбление, в насмешку, в передразнивание. А бывает, что и какая-то часть собственного человеческого «я» отщепляется, отчуждается — и возникает угрожающее распад личности противоборство: вот «я» сейчас из «него» (то есть из себя самого) сделаю перед «ними» (то есть опять-таки перед собою, но взятым отстраненно, враждебно) граничащее с издевательством, с кощунством представление — эксперимент!

Возможно, тот заключенный, что из самого себя под Новый год произвел мороженое с вином, творил это зрелище и перед возлюбленной Мухой, и одновременно перед всеми «ними», причем «они» (помимо охраны и начальников) являлись уже в какой-то мере как бы собственной его эманацией, переведенной вовне, в тюремные стены, и выступающей в этой монодраме в образе враждебного зрителя. Тюремная обстановка способствует проекции, переходу нашего «я» в «они». Человек ощущает себя исчезающим в тесном окружении стен, и от этого его потребность в общении и активность в языке возрастают. Вместо того чтобы биться в стены головой, он принимается разговаривать со стенами как с собственной оболочкой и ставит перед ними спектакль кошмарного и мысленно агрессивного свойства: «Вот вы меня окружили? вы держите меня? вы молчите? Так послушайте теперь, что я вам скажу!»

Простейший случай подобной игры с огнем — это когда заключенный, доведенный до крайности, до отсутствия языка, проглатывает ложку или что-нибудь в этом роде. Понятно, как всякий артист, рассчитывающий, что его эффектный, театральный трюк увенчается благоприятным финалом, он надеется, что проглоченную ложку из него потом извлекут путем хирургического вмешательства. (Между прочим, последнее время тюремное начальство, которому надоели подобные демонстрации, не торопится с медицинской помощью и порою доводит опыт до летального исхода — в назидание другим арестантам.) Но перед нами не просто фокус, не просто понт, говоря по-лагерному. Проглатывающий ложку артист многим рискует, и он идет на этот риск, для того чтобы в утрированно-пародийной форме изобразить, как он голоден и насколько он дошел до конца в своем истощении, если в виде символа съедает железную ложку! Не нужно думать, что он съел эту ложку буквально с голоду. Но необходимо понять, что он больше не может терпеть царящего молчания и об этом заявляет в открытую своим противоестественным действием.

Кстати сказать, надругательство над своими половыми частями (прибивание мошонки гвоздем к деревянным нарам, употребление якоря и так далее) — это тоже способ манифестации на тему окончания жизни, последний аргумент мужчины, что он больше не в силах выносить это концентрированное давление и подаренные природой органы ему более не нужны, что он

плюет на них и вместе с ними плюет на жизнь и на общество, засадившее его в эту клетку. Чем же ему еще аргументировать?..

Другие, более, так сказать, сознательные, интеллектуальные формы наглядной агитации состоят в том, что человек накалывает себе на лоб антигосударственную надпись вроде: «Раб КПСС», «Раб КГБ», «Раб Хрущева» (подобные надписи имели хождение во времена Хрущева). Хрущев, говорят, в ответ на эти попытки объясниться с ним напрямки отдал секретный приказ подобным писателям без суда и следствия расстреливать. Не знаю насчет приказа, но знаю, что людей, которые вытатуировали на своем лице эти живые письма, расстреляли. Государство просто не знало, что делать дальше с ними, с этими людьми, обратившими себя в несмысленную прокламацию, в не загугающую на лбу, на челе, яростную речь человека к человечеству.

Тайный приказ о расстреле всех подобных татуировщиков, комплектовавшихся, как правило, из среды отчаявшихся в свободе, в выходе на волю уголовников, был зачитан по спецлагерям. Но удивительно, что расстрел первых «подписантов» вызвал в ответ на первых порах новую волну столь же криминальных подписей. И только после второго расстрела властям удалось остановить это движение и повести на убыль...

То, о чем я здесь рассказываю, бесконечно печально. Стоит, однако, попытаться уловить в этих фактах не только сугубо местный, лагерный дикий быт и колорит, но и какие-то общечеловеческие стимулы, имеющие отдаленную связь даже и с писательским творчеством, и с искусством как таковым. Может быть, не со всем искусством, но с какими-то сторонами и формами художественной деятельности, особенно в нашу эпоху, когда автор стоит резко обособленно и настороженно по отношению к обществу, в ситуации, так сказать, крайнего одиночества и крайней же потребности в понимании и общении. И здесь, перед лицом публики, читателей, которые помимо дружественного «вы» несут на себе печать и враждебного, глухого «они», искусство также иногда пускается на крайние меры воздействия — на эпатаж, гротеск, абсурд, фантастику, различного вида экстравагантности, что, в общем, можно характеризовать как форму повышенной экспрессивной, агрессивной и вместе с тем повышенной коммуникативной речи. Ведь это не просто разрыв с людьми, отказ от слушателя и от зрителя. Как это ни странно, обрыв коммуникаций влечет порою к пробуждению возросшего в своей коммуникативной значимости языка, возросшего именно в силу разобщения, отъединенности. Примером тому служит поэтика многих произведений так называемых левых течений.

Но если и не брать во внимание эти формальные крайности, сам процесс творчества во многом психологически связан с необходимостью дойти до каких-то границ жизни, а то и переступить границы, с тем чтобы что-то создать. Эта экспрессия, движущая изнутри художественным словом, совсем необязательно должна быть выражена и во внешних проявлениях стиля. Последний может быть внешне спокоен, прост, притушен и даже благообразен. И все же по скрытым своим устремлениям он остается тотальным, атакующим тюрьму языком, в котором автор умирает, чтобы в нем же воскреснуть или раствориться, сойти на нет и похоронить себя в книге. Не отсюда ли вечные попытки

искусства выпрыгнуть из окружения быта, государства, земли и самого искусства? Выйти за черту и стиля, и жанра, и собственной жизни — не в этом ли очень часто путь и задачи художника?..

Возвращаясь к ранее затронутому мною лагерному материалу, должен заметить, что все указанные случаи предельной и как бы окончательной апелляции человека к человеку (самоедство, татуировка на лбу и т. д.) неизбежно приводят нас к следующей ступени и стадии в подобного рода атаках и соответственно в языке — к самоубийству. На этом предмете я не стану задерживаться, поскольку это слишком специальная, слишком хрупкая и интимная сфера, о которой много рассуждать нам как-то не подобает. Самоубийством в лагерях кончают сравнительно редко. Очевидно, сам биологический инстинкт самосохранения там обостряется, и под угрозой смерти человек вопреки всему старается выжить. Жизнь, принимающая характер сопротивления, противоборства, побеждает, насколько это зависит, конечно, от физических сил человека. И если все же в этих условиях случаются самоубийства, они чаще говорят не о капитуляции, но, подобно актам публичного самосожжения, становятся способом сказать обществу какое-то самое веское и самое актуальное слово.

Но самоубийство — исключительная мера — обставлено в тюремно-лагерном ареале множеством полу-мер, также свидетельствующих перед лицом власти о готовности человека стоять до конца и объясниться с нею, с властью, по какому-то большому, по главному счету. Бессмысленно классифицировать этот опыт по формальным признакам. Глубокий опыт всегда целостен и конкретен — уникален. И хотя случаи повторяются, каждый отдельный эпизод гласит сам за себя. Допустим, существует такая всем хорошо известная форма индивидуального и коллективного протеста, как голодовка. Но если к ней подойти не как к традиционному, санкционированному временем обычаю, но взглянуть в ее содержание, притом содержание уникальное, внутренне-психологическое, то можно понять, что это не просто распространенный способ добиться каких-то прав и поблажек (вроде забастовки), а куда более грозный, провозглашенный во всеулышание символ. Голодовка — символ смерти, выставленный напоказ, как знамя, тюремному начальству, которым человек знаменует — опять-таки в последний раз — свое нежелание участвовать в системе предложенных ему отношений и отказывается от навязанной ему режимом ненавистной формы общения. Начиная голодовку, человек как бы обрывает жизненную связь с миром, с «ними», и уходит в одиночество, под сень смерти, символически да и фактически отчасти представленной отказом от еды. И вместе с тем, очевидно, этот разрыв в общении есть особая разновидность общения, притом повышенная в семантическом и коммуникативном отношении, хотя и с минусовым знаком. Всего ярче это удостоверяют не общепринятые, массовые обычаи голодовок с предусмотренным заранее числом суток и выдвижением встречных требований к лагерной администрации. Лучше всего, что такое голодовка как символический язык, дают понять нам странные и очень индивидуальные факты, когда человек вообще, навсегда отказывается от еды и тем самым весь остаток жизни обращает в вопль к обществу, к человечеству, к небу. Эти факты мало известны на Западе, но в советских лагерях с ними встречаешься,

хотя, повторяю, крайне редко, в виде исключения. Человек объявляет вечную голодовку. Разумеется, на какой-то день, на двенадцатый или на семнадцатый, его начинают кормить искусственно через нос, прибегая к физическому насилию, весьма болезненному. Но добровольно человек есть отказывается.

Поскольку его кормят насильственно, он живет еще довольно долго, несколько лет (согласно легендам, некоторые голодающие жили еще пять—десять лет), прикованный к койке, но уже обреченный, потому что с течением времени в результате такого опыта наступает необратимый паралич ног, а затем постепенно атрофируются и другие части и функции организма. Эта вечная голодовка, вечная апелляция человека к тем, кто ему не внемлет, кто сделан для него навсегда и безоговорочно — «они», и позволяет нам глубже и полнее всего уяснить истинный смысл подобных предприятий, взятых даже в их обыденной и общей форме массовых голодовок.

Вот почему, в частности, нельзя, недопустимо с моральной точки зрения заниматься социальной организацией голодовок и подстрекать других к тому, за что ты сам по высшему счету должен платить полной мерой ответственности. Искусственно подстраивать голодовки — это все равно что, идя на смерть, уговаривать своих друзей покончить самоубийством...

Но есть и другой способ «голодовки», голодовки в иносказательном смысле, не менее, однако, действенный как средство общения, последнего общения в условиях одиночества. Это — молчание. Молчание, принятое как единственная реакция на окружающий тебя, убивающий порядок. Бывает, арестант (опять-таки беру неординарные примеры) начисто перестает разговаривать с начальством, отвечать на вопросы и вообще произносить слова, хотя он продолжает ходить на работу и выполнять все команды, кроме одной — открывать рот, когда тебя спрашивают. На безмолвие стен человек отвечает — безмолвием.

Молчание, говорят, знак согласия. В данном случае оно знак окончательного, тотального неприятия, презрения, нежелания признать себе подобных за себе подобных. Замкнутость в языке — как знак отрицания. И этот отказ говорить, запрет на язык с «ними» (а иногда и со всем миром), между прочим, власть предержащие воспринимают почему-то особенно чувствительно, особенно актуально. Примерно по формуле: «он не считает нас за людей?!» Хуже голодовок, страшнее самоубийства молчание — оскорбляет. Молчание заставляет подозревать о чем-то таком недобром, что и словами не передашь...

Мне, возможно, возразят: а какое же значение включает в себе молчание? какой же это язык — молчание? Поскольку я рассматриваю все эти «выходы из языка» именно как язык, лишенный, правда, подчас обычной речевой структуры, но зато восполняющий этот пробел другими гиперболизированными способностями языка, я сошлюсь на конкретный пример. В таких вещах лучше всего быть конкретным. Был случай, когда одного человека (назовем его условно Николай), опытного уголовника, перешедшего, однако, в процессе длительных испытаний в политические диссиденты, арестовали по четвертому разу. К этому времени он уже знал назубок, что такое чекисты, что такое суд, прокурор, адвокат, и, когда его схватили последний раз — за высказывания против оккупации Чехословакии советскими войсками, — он ре-

шился на крайние меры. На следствии он не отвечал на вопросы, не подписывал ни одного протокола и с первых же дней ареста объявил голодовку. На суд через несколько месяцев его доставили на носилках: сам он ходить уже не мог. И на все обвинения и вопросы суда Николай — молчал. И суд был очень недоволен. Лишь время от времени в ходе процедуры Николай не выдерживал судебных гипербол и, приподымаясь на своих носилках, оглашал зал заседания (суд был, естественно, закрытый) отборной, непристойной бранью по адресу правосудия (за это ему потом добавили срок). И в изнеможении вновь валился на носилки и замолкал. Когда его присудили к семи годам лагерей (а он до этого в общей сложности лет восемнадцать просидел), он вскрывал себе вены и пытался повеситься. Все это не помогло. Так вот зададимся вопросом: где здесь язык и где здесь больше языка — когда он молчал? Когда он объявил голодовку? Когда он вешался или когда он произносил суду свои внятные слова? Вероятнее, все это было переходом с одного языка на другой (может быть, хоть один подействует). И возможно, его немота, его молчание на суде и следствии были наиболее полным и содержательным разговором с «ними»...

Мне не хотелось бы, чтобы от тюрьмы и от лагеря, на опыт которых я опираюсь, у вас в итоге осталось только ощущение какого-то непересказуемого ужаса, где общение и одиночество слиплись в один кровавый, нечленораздельный ком. То же самое молчание, о котором мы говорили, необязательно демонстративное, эпатирующее, но внутреннее молчание как степень одиночества проклятого обществом и, казалось бы, самим Богом оставленного человека становится порою истоком самых светлых и обнадеживающих движений души и языка. В данном случае я имею прежде всего в виду поэзию и религию. В лагере, в тюрьме очень много поэтов. Не только тех, кого за поэзию, за стихи отправили в лагерь, но и кто здесь, в лагере, сделался поэтом, не имея доселе никаких представлений о рифме и ритме. Очевидно, в застенке потребность в общении, превосходящем обычные житейские связи, невероятно возрастает. Эти лагерные стихи по безграмотности авторов чаще всего бывают убогими, жалкими с литературной точки зрения. Но и среди этих ничтожных стихов выглядывают и звенят порою удивительные строфы и образы, которым позавидовали бы профессиональные авторы. Я не говорю уж о настоящих поэтах, писателях, которые сложились в лагере, напитались лагерем. Эти имена мы отчасти уже знаем. Я беру эту сферу, эту стихию на более низком и, так сказать, общелагерном, «общенародном» уровне, которая и здесь бьет живым родником, выливаясь, в частности, в «блатную песню» — высшее достижение русского фольклора в нынешнем XX столетии.

Но если пойти глубже и выше (здесь понятия «глубже» и «выше» как-то смыкаются), мы столкнемся на той же основе с религиозным опытом, перед которым все мы, живущие на свободе люди, можем преклониться. И православные, и католики, и протестанты, и магометане, и иудеи, и буддисты, и даже язычники там, в лагере, трижды веруют в Бога по сравнению с нами и четырежды превосходят нас в межличностном религиозном общении.

Раз уж я ссылаюсь на какие-то крайние факторы, выходящие за рамки обиходных норм поведения, я позволю себе в заключение в качестве иллюстрации рассказать о пятидесятниках, об одной из многих сект,

церквей, подверженных гонению, члены которой идут регулярно в лагерь, порою на десять, а то и — с небольшим перерывом — на двадцать, на двадцать пять лет. Должен оговориться, что лично я не испытываю приверженности именно к этому религиозному направлению. И только опыт лагеря и попытка найти какие-то крайние формулы языка заставляют меня обратиться к примеру пятидесятников. Это христиане, верующие в крещение Святым Духом, который, по прообразу апостолов, сходит на души верующих и научает их иным языкам, в том числе языкам ангельским, что и служит слышимым, вещественным зарокм свершившегося крещения.

Пятидесятники раскиданы по всему свету, их много в Америке и, говорят, в Австралии, но, вероятно, только в России, в лагере, набирает для всех нас всечеловеческую смысловую силу их молитва на иных языках, которые сами они отродясь не разумеют и не ведают, что говорят, но вот снизошла благодать и Сам Святой Дух, как они думают, глаголет их устами. В рамках лагеря подобное (прямое) общение с Богом и со всеми народами мира, включая недостижимые ангельские орбиты, воспринимается как странный, непонятный и вместе с тем тотальный язык, как самое одинокое и поэтому полное общение.

Когда я однажды, смущаясь, спросил моих новых лагерных друзей-пятидесятников, нельзя ли и мне когда-нибудь присутствовать при этой молитве «на иных языках», чтобы самому услышать, как это бывает, они, к моему удивлению, охотно согласились. Меня повели в баню, в лагерную баню, где один пятидесятник работал истопником и, значит, в пустое время мог использовать банное сырое помещение в качестве молельного места, укрытого от внимательных глаз охранников и доносчиков. Нас было трое тогда — два пятидесятника и я. Мы заперлись в бане и встали на колени на мокрый каменный пол. К моему облегчению, все началось с простой, обычной молитвы на русском языке — «Отче наш». Как вдруг один молящийся, а вскоре и другой, стоящие на коленях по обеим сторонам от меня, перешли на неизвестный язык. Это было плавное, спокойное, без тени экстаза или истерики — переход на другой язык. Точнее сказать, это были разные, не согласованные между собой языки: первый из каких-то европейских, северных, а второй — напоминающий восточные наречия. Они сами не знали, на каких языках молились, и мне было стыдно за это мысленное мое вторжение филологии в чистую мистику: я прислушивался. Что это — глоссолалия? абракадабра? бессвязный набор звуков, принимаемых за ангельские? Если бы я знал языки, возможно, я бы разобрался в этих сочленениях речи. Но я плохо знаком с иностранными языками и я не лингвист. Единственное, что мне посчастливилось уловить, — что это была структура, гармонический язык: возможно, ангельский, возможно — я не знаю какой. Но речь значительная, осмысленная, и речь — последняя...

Мне хотелось встать и уйти. Мне казалось, молнии, мощные электрические разряды, идущие по двум громоотводам, бьющие в каменный пол бани в полуметре от меня справа и слева, того и гляди достигнут и поразят меня в темя тем же прекрасным, кощунственным нисхождением речи, на которую я не сподобился, которой пренебрег...

А они возглашали, они говорили всему миру — сразу на всех языках, — что значит общение в условиях одиночества...



ЛЮДИ ПО НАТУРЕ ДОБРЫЕ...

ХАННА
КРАЛЛЬ

Накануне ухода на пенсию легендарный ветеран «Солидарности» Анна Валентинович возглавила трехдневную забастовку на Гданьской судовой верфи.

Трагические декабрьские дни 1970 года, когда против забастовщиков на Побережье была брошена армия и пролилась кровь, перевернули жизнь передовой электросварщицы Анны. Она включилась в деятельность, которую власти называли подрывной, нелегальной. Анна была несколько раз арестована и наконец уволена с судовой верфи. Это и стало главным поводом знаменитой забастовки судостроителей в августе 1980 года. А. Валентинович вместе с Л. Валенсой, А. Гвяздой и Б. Борусевичем стала основательницей профсоюза «Солидарность». Во время военного положения была интернирована...

«ИЗВЕСТИЯ» от 25 марта 1991 года.



разговор в пути



Ветеран «Солидарности» во главе забастовки

Накануне ухода на пенсию легендарный ветеран «Солидарности» Анна Валентинович возглавила трехдневную забастовку на Гданьской судовой верфи.

Трагические декабрьские дни 1970 года, когда против забастовщиков на Побережье была брошена армия и пролилась кровь, перевернули жизнь передовой электросварщицы Анны. Она включилась в деятельность, которую власти называли подрывной, нелегальной. Анна была несколько раз арестована и наконец уволена с судовой верфи. Это и стало главным поводом знаменитой забастовки судостроителей в августе 1980 года. А. Валентинович

вместе с Л. Валенсой, А. Гвяздой и Б. Борусевичем стала основательницей профсоюза «Солидарность». Во время военного положения была интернирована. Сегодняшняя «Солидарность», гозорит А. Валентинович, скомпрометировала себя, прежние идеалы ее уже не вдохновляют.

Нынешняя забастовка вызвана трудным материальным положением судостроителей, многих которых, особенно молодых, зарабатывают гораздо меньше, чем в среднем по стране. Дирекция судовой верфи считает, что не в состоянии больше того, чем мож

кротство. Между сообщению газет шавы», по верфюются листовки, разжигают нечужих: якобы судостроителям дается здесь лучшие.

В за... сии «... горь... рые... к

Анна Валентинович на мой вопрос, с чего же все началось. (Ведь необходимо же, чтобы мы знали все с самого начала, и тогда, возможно, поймем, что случилось 14 августа, когда при входе на Гданьскую судовой верфь Анна Валентинович заметила каких-то женщин, поджидающих ее с цветами, и услышала, что кто-то просит ее подняться на экскаватор сказать несколько слов.)

— Мне пятьдесят один год, я родилась на Вольни. У меня были мать, отец и брат. Когда началась война, отец ушел на фронт, брата вывезли в Сибирь, мать умерла от инфаркта. Я нашла приют у чужих людей. Вернувшись в Польшу, стала ходить по деревням, нанимаясь на работу: летом на уборку, осенью продавать кухонные ножи, которые хозяин изготавливал из старых кос, зимой мои хозяева гнали самогон, и ночью я следила за тем, чтобы не разорвало котел, днем в мешке таскала самогон на продажу. За эту водку и ножи получала муку, картошку и керосин, которые я приносила хозяевам.

Мы перебрались в Гданьск. Хозяева мои получили из ЮНРРА¹ лошадь и корову, хозяйские дети пошли учиться, мне же пришлось заниматься хозяйством. В школу я не ходила, только до войны, тогда окончила четыре класса, хотя в анкетах пишу, что окончила семилетку. Для поступления на курсы сварщиков требовалось заполнить анкету, и я указала четыре класса, но один мой коллега сказал мне: «Ты что, Аня, переправь на семерку». Четверку переделала на семерку проще простого. Отсюда и пошло, но в действительности дело обстояло таким вот образом, и никогда больше учиться мне не пришлось, только на курсах для неграмотных при судовой верфи да на курсах сварщиков.

Мои хозяева богатели, завели лошадей, свиней, жеребят, пять коров, кур, появились и наемные рабочие. Я вставала в четыре утра, кормила скотину, готовила завтрак работникам, в семь отправлялась в поле, а также пасла коров, возвращалась в семь вечера, занималась дойкой, шла с серпом и тачкой за крапивой для свиней, рубила ее в соломорезке, в двенадцать ложилась, в четыре поднималась...

Рассказываю я не с целью обвинить кого-нибудь, а чтобы правдиво воспроизвести мои переживания.

Однажды возле дома в кустах самшита мы обнаружили чью-то могилу. Решили перенести ее на кладбище, я принялась копать, но то оказалась не могила, а всего лишь закопанная в землю коробка. Я открыла ее и обнаружила золотые часы, брошки и кольца — одно особенно красивое, в виде трижды обвившейся змейки с голубым глазком, — но примчалась хозяйка, сгребла все в фартук и унесла с собой.

¹ Администрация Объединенных Наций по вопросам помощи и восстановления. (Здесь и далее примечания переводчика.)

В сочельник на кухне передо мной поставили тарелку и принесли облатку. Сидеть одной не хотелось, я отправилась к лошадям и поделилась облаткой со Злоткой. Отличная была кобыла, в упряжке шла как артистка, приплясывая, мускулы напряжены, о, да, сделал два круга, она покрывалась потом, такой оказалась впечатлительной и восприимчивой. Я пожелала ей всего наилучшего, а она заржала в ответ. (Если все это лишнее — вычеркните, я вам рассказываю, чтобы достовернее передать атмосферу, поскольку вы интересовались.)

В середине лета я решила идти куда глаза глядят. Шла я, шла, уснула и дальше пошла, а сама думаю: что делать? Лучше всего покончить самоубийством, но как? Мои хозяева из павшего скота гнали мыло, и я видела, как каустик быстро растворяет все косточки. Было бы хорошо раздобыть его немного, но где его взять? Ну я и не наложила на себя руки, а пошла дальше.

Я устроилась на работу в пекарню. Там и осталась: всюду стояли корзины с белыми булками, и вы только представьте себе — я могла есть сколько душе угодно. Это в порядке вещей. Стоят корзины с булками, а я беру их и ем. Никто мне этого не запрещает, ем сколько хочу.

Уйму добрых людей я в жизни встретила. И тех, что позволили мне есть белые булки, и тех, которые уступили мне свой подвал, и тех, что дали печку, чтобы поставить ее в подвале (очень хороша эта печь при обморожении, только сперва необходимо намазаться керосином и греться при открытой дверце, чтобы керосин выпарился), но лучше всех остальных оказался один пан, который посоветовал мне пойти на судовой верфь: выучишься, человеком станешь!

Всю ночь я не спала. Молилась Острабрамской Божьей Матери, и всю ночь сердце у меня в груди трепетало: примут ли меня на эту судовой верфь, примут ли? Но Богматерь услышала меня, и в ноябре 1950 года меня приняли на курсы сварщиков. Точно 8 ноября, здесь поставлена печать, а рядом другая — 8 августа 1980 года, увольнение. Ровно тридцать лет, какое совпадение, не правда ли?

Год спустя моя фотография впервые появилась в газетной статье, озаглавленной «Наши передовики», с тех пор она появлялась все чаще — накануне слета молодежи в Берлине, в связи со съездом профсоюзов (мы поехали втроем — Солдек, Голембек и я в качестве делегатов от верфи), а также на застекленном стенде лучших производителей. На ней я в комбинезоне, за работой — в одной руке у меня маска, в другой сварочный аппарат. Рядом со мной Ядвига Вишневецкая — двести сорок процентов, и Секула Эмилия — двести десять. Самый высокий показатель у меня — двести семьдесят процентов. Стенд находился возле здания дирекции, а под ним красной краской было

начертано: «Сварщицы-передовики бригады имени Розы Люксембург».

Важнейшим событием того периода оказался слет молодежи в Берлине в 1951 году. Сначала мы провели две недели в тренировочном лагере, где обучались многим вещам: ходить строевым шагом, хором петь «Ой вы кони, вы кони стальные...», а также отвечать на вопросы агентов империализма. Главное, это не позволить угоризить себя остаться, лучше всего держаться группой и на вопросы посторонних вообще не отвечать. Помню, какой-то молодой силезский шахтер сказал тогда: «Если ко мне подойдет империалистический провокатор, то откуда мне знать, как я себя поведу?» Тут поднялся товарищ из Олштына, рослый блондин, и заявил: «Если даже теперь коллега не знает, как он себя поведет, что же говорить о Берлине?» И шахтеру пришлось, сказавшись больным, возвратиться в Силезию. Что же касается меня, то я сидела тихо, говоря себе, что наверняка ни перед каким провокатором рта не раскрою.

18 августа мы осматривали в Берлине первую выставку — чешскую. Рассказывали по ней парами, а при выходе глядим — исчез наш олштынский коллега, рослый блондин, усомнившийся в поведении шахтера. Мы устроили поверку с пересчетом, одного человека не доставало. Возвращаемся в лагерь, разговаривать друг с другом запрещено, с посторонними тем более... Ну и с того момента ежедневно из каждой делегации стали исчезать один-два человека, но поверки и переклички уже не проводились. Нам лишь строго-настрого запретили по возвращении на родину рассказывать, что произошло, а если кто-то спросит, отвечать, что это вражеская пропаганда.

Я так подробно рассказываю о слете, ибо он был важным событием в моей жизни: впервые я воочью столкнулась с ложью и впервые моя организация велела мне обманывать других.

7 сентября 1952 года у меня родился сын. О его отце рассказывать не буду, так как тот этого не заслуживает: еще до свадьбы он показал свой истинный облик — и я решила не выходить за него. Какое-то время я с моим сыном жила в Доме матери и ребенка, потом написала письмо Болеславу Беруту и получила квартиру. Это та самая квартира на Грюнвальдской, комната с кухней, пятьдесят три метра, летом она вся утопает в лучах солнца.

Анна Валентинович на мое замечание, что ее история — это жизнь идеального рабочего, такого, как Ваида Госциминская, или Априас, или братья Бугдоловы, хотя никто из них и не стал вожаком забастовщиков. И можно ли вообще назвать какой-то день, одно какое-нибудь событие, которое мы приняли бы за след, ведущий к воротам Гданьской судоверфи в день 14 августа?

— В коллективе нашего цеха я представляла Женскую лигу. Раз в неделю мы собирались — наказывали и награждали. Каждый называл своих кандидатов на премию, когда доходила очередь до моих женщин, денег уже не оставалось. Я протестовала и говорила, что поступать так несправедливо.

Как-то мы получили три тысячи злотых, чтобы распределить их. Решили десяти рабочим дать по триста злотых. Но выяснилось, что денег уже нет: их получили три члена совета, каждый по тысяче. Впрочем, двое из них якобы должны были отдать эти деньги председателю, который играл в спортлото и проигрывал. Я тогда впервые публично заявила, что они присваивают деньги, принадлежащие рабочим. На другой день мастер шепотом уведомил меня: «Пани Аня, звонили, велели явиться, если вы не вернетесь, что делать с ребенком?»..»

Там, куда меня вызвали, интересовались: не слушаю ли я вражеское радио? Я посоветовала им не валять дурака, дело не в радиопередачах, а во вчерашнем совещании. На работу я вернулась через два часа. Как по-вашему, это можно считать началом?

Пожалуй, нет. Подобных историй с премиями, совещаниями и беседами были тысячи, только люди, которых вызывали для бесед, позже обычно уже не просили слова, но Анна Валентинович продолжала выступать и дальше.

Анна Валентинович на вопрос, не боялась ли она.

— В 1964 году я вышла замуж. Годом позже заболела раком. После операции меня облучали, а когда я покидала больницу, врач мне сказал, что в лучшем случае я проживу пять лет. Срок, отпущенный мне врачами, истек в 1970 году. Сразу после этого наступил Декабрь² — этот вопль, это слепое отчаяние, с каким люди вышли на улицы.

Подумалось — минуло пять лет, а я живу. Если Господь Бог даровал мне жизнь, то ведь для того, чтобы я мудро ею распорядилась. И я стала размышлять, что мне такое следует сделать. Я понимала: в одиночку мне с большим злом не справиться, поэтому начала с мелочей. Я собрала у людей в цехе талоны на молоко (ходить за ним в столовую было далеко), принесла из дома кастрюлю, подогривала молоко и разносила по рабочим местам. Так же поступала и с супом; договаривалась с одним человеком, который доставлял мне суп прямо в цех, я же делала его погорячее, а потом мыла за всеми посуду. Не за счет рабочего времени, разумеется, а в перерыве.

Ко мне явился мастер и сказал, что я все это делаю на публику, что рабочие обязаны сами ходить в столовую. Я отнесла посуду домой и снова стала раздумывать над тем, что делать. Возле цеха был клочок земли, я вскопала его, посадила цветы, снова явился мастер и говорит: «Хотите отличиться, не так ли?» Я отвечаю: «Нет, пан мастер, не хочу, просто приятнее, чтобы цветы росли». Но он запретил мне это, цветами я больше не занималась...

Я истомилась на работе. На кране была занята часа четыре, не больше (на кран перешла после операции), сад разводить запретили, подогреть суп запретили, поэтому, сидя наверху, я занималась вязанием. Однажды внизу тишина. Подаю сигнал, коллега на полу мне пишет — ЗАБАСТОВКА. Я бегу вниз, а там уже толпа и директор объясняет, что раздел премий таков, как премьер распорядился. Я кричу: ведь премьер пообещал нам, что систему распределения премий мы разработаем сами! Стоило мне подать реплику, как люди говорят — иди к микрофону. Я повторила слова относительно премий, но добавила также, чтобы теперь мы отправлялись работать, а дирекция уведомит нас о своем решении. Люди принялись за работу, и только в этот день, 20 мая 1971 года, руководство обратило на меня внимание. Не то, как я призывала к забастовке, а только как предлагала продолжить работу, ибо люди меня послушали. Ни призывы начальника цеха, ни директора на них не подействовали, подействовали мои слова, и это заставило моих шефов задуматься.

Анна Валентинович на вопрос, боялась ли она.

— В октябре 1971 года умер мой муж, а сын ушел в армию. 10-го были похороны, 25-го уехал сын, я осталась одна. Чего же мне было бояться, когда осталась одна? За мужа бояться не приходилось, так как самое худшее свершилось. За сына — нет, ибо он сделался взрослым. За себя — нет, ибо я знала, что Бог даровал мне жизнь, хотя я все еще по-настоящему не понимала, ради чего. Так чего же бояться? Нет, страха я не испытывала.

Впрочем, я была занята только работой, кладбищем и поездками к сыну в Устку. В каждый сочельник я брала в одну руку сумку со свечками, в другую продукты, сперва отправлялась на могилу и зажигала свечи, а потом ехала к сыну. На могиле говорила: «Ты погляди, Казик, что происходит. У всех сегодня близкие рядом, а вы — каждый в своем мире, и одновременно добрать до вас обоих я не могу. Как космонавт кружу я между вашими мирами — справедливо ли это?»

Я собственными руками изготовила крест для мужа. Сама его сваривала, покрыла полудой, сама покрыла черной краской по белому фону, так что он сделался похожим на березу... Я говорила: «Казик, ты слышишь меня? Это я». И рассказывала ему обо всем, что случилось в этот день в цехе. Когда забастовка прекратилась, я прямо с верфи помчалась на кладбище. «Казик, послушай! — закричала я. — Победа!»

² Имеются в виду трагические события, связанные с забастовками рабочих на судоверфях Гданьска, Гдыни, Щецина в декабре 1970 года, которые закончились расстрелом демонстраций и человеческими жертвами.

Анна Валентинович на вопрос, когда она наконец уяснила, что надо делать.

— После Декабря я думала, что теперь наверняка произойдут перемены, невозможно, чтобы после этой стрельбы, после пролитой крови все осталось по-прежнему. Оказалось, однако, что такое возможно.

Я помогала в ту пору двум женщинам, пани Лёде, которая двадцать лет была парализована из-за прогрессирующего ревматизма, и пани Алиции, одинокой восьмидесятитрехлетней старушке. Мать Терезу из Калькутты как-то спросили, что можно дать человеку за полчаса до смерти. Она ответила: веру в то, что человек не одинок. Я ничем не могла помочь многим страждущим сразу, поэтому решила: помогу хоть пани Алиции.

Два года назад я впервые услышала о независимых профсоюзах. Тогда я не представляла, что это такое, но сразу родилась мысль, что, если бы у нас существовали подлинные профсоюзы, мы не были бы столь беззащитными. Я стала разыскивать людей, способных мне это разъяснить. Я удивилась, когда впервые их увидела: это были интеллигенты, которые нам, рабочим, стремились помочь. Я рассказывала о них своим коллегам по цеху и приносила им для читки газетки и разные вещи о профсоюзах.

В цехе мне стали устраивать всякого рода неприятности. Рабочим запрещали разговаривать со мной, а начальник цеха отвел мне кусок территории, где мне разрешалось передвигаться: от ворот до раздевалки, от раздевалки до рабочего места. В самом цехе мне четко был указан отрезок от входа до сетки, а поскольку туалет находился за пределами этого пространства, меня снабдили ключом от другого, — соседнего цеха. Каждый мой шаг за этой чертой расценивался как уход с рабочего места.

Однажды должны были приехать с телевидения. Четырех рабочих переодели в новенькие комбинезоны, посадили на скамью и запретили работать, чтобы они не попкапались. Сняли чехол с импортного станка для сгиба труб, которым не пользовались, ибо производительность станка была в пять раз выше, нежели у нашего, и не знали, куда девать лишние рабочие руки. Когда телевидение прибыло, возле станка поставили людей в новых комбинезонах, мне же велено было отправиться на кран и ни в коем случае не показываться, пока телевизионщики не уедут. Телевидение уехало, станок зачехлили, рабочие сняли комбинезоны и вернулись к своему труду.

В сентябре я решила уйти на пенсию. Перед выходом на пенсию людям всегда присваивают очередной разряд без экзамена, мне же устроили экзамен. Я сдала его, и тогда начальник цеха заявил рабочим: «Хотите, чтобы она получила разряд? Тогда снимите плакат». Плакат висел с июня: с момента визита папы римского, и никто не хотел его снять, но, после того как от этого стала зависеть моя зарплата, люди сказали: все в порядке, — и плакат был снят.

Все эти придирки очень тяжело было вынести, меня поддерживала только мысль, что я не одинока и что могу молиться. Мы молились ежедневно после обеда в костеле Пресвятой Девы Марии. Мы громко читали молитву с мыслью о восстановлении на работе всех уволенных, о судьях, которые выносят несправедливые приговоры, о тех, кто является на наши молитвы только по долгу службы, а в первую очередь о том, чтобы нам хватило мужества защитить другого человека.

В январе меня перевели в другой цех. Я работала там с тремя людьми, которым даны были определенные задания: бригадиру надлежало следить, чтобы я не выходила, мастеру — чтобы ни с кем не разговаривала, а пани Ядзя обязана была отвлекать меня чисто женскими разговорами. Мой перевод в другой цех был явно незаконным, так как с работы меня не уволили. Я обратилась в арбитражную комиссию. Арбитражная комиссия передала дело в кассационную, а та направила его в суд, суд же переслал в кассационную комиссию и через полгода на основании приговора, вступившего в законную силу, обязали меня вернуть на предыдущую должность — во второй цех. Шли недели, никто решения суда не выполнял. Поэтому я сама пришла туда, но начальник цеха преградил мне дорогу и велел уйти. На следующий день в проходной на меня набросились чет-

веро охранников, схватили за руки, отобрали пропуск и заперли в караулке.

Я ежедневно, согласно постановлению суда, являлась на работу, но меня к ней не допускали. То замыкали на ключ в раздевалке, то силой удерживали в караульном помещении, иногда же ничего существенного не происходило, просто директор заявлял, что приговор суда для него не указ и так далее. 9 июля охранники вызвали машину и доставили меня в отдел кадров. Здесь после тридцати лет работы на Гданьской судовой верфи мне вручили приказ об увольнении в дисциплинарном порядке, трудовую книжку и причитающуюся зарплату. В трудовой книжке указывалось, что на основании параграфа пятьдесят второго уволена за самовольный уход с работы, хотя я ежедневно приходила на судоверфь и пробивала свою карту.

Служащая, которая выдавала мне документы, сказала: «Пани Аня, ужасно, как они с вами поступают, я две таблетки реланиума приняла, чтобы хватило сил оформить ваше увольнение». Я спросила: «А зачем, собственно, вы это делали?» «Меня уволят, если я не сделаю этого, — призналась она, — и тогда явится кто-нибудь другой и сделает то же самое». «Пусть и этот другой не делает. И следующий тоже. Всех ведь не уволишь!» И почему люди не могут понять такой простой вещи, как вы думаете?

Анна Валентинович на вопрос, можно ли считать, что люди плохие.

— Когда вспыхнула забастовка, с людьми стало твориться нечто невероятное. Люди сделались добрыми. Сразу же, в течение дня. Даже некий пан, один из самых злобных моих гонителей, принялся бойко вещать в микрофон, но такого я уже не могла стерпеть и рассказала, как он вел себя раньше. Создалась несколько напряженная ситуация, и Лешек³ вынужден был успокоить зал. «Прошу всех оставаться на местах, — объявил он, — и сохранять спокойствие, как и пристало христианам. Я сам провожу этого пана, чтобы ему чего плохого не сделали». И проводил того до ворот и даже вывел на улицу сквозь толпу, которая там собралась. Недавно этот человек был у меня и извинялся.

Теперь все идет ко мне с повинной, все сделались очень милы и добры со мной. Охранники, которые выкручивали мне руки, говорят: «Добрый день, пани Аня» — и даже не желают проверять мой пропуск. Мастера, которые следили, чтобы я пользовалась надлежащим туалетом, приветствуют меня, а пани Ядзя, которая любила поболтать со мной по-женски, сказала: «Я с вами, пани Аня». Как-то во время забастовки я вместе с английским журналистом заглянула к ним — как они обрадовались! «Мы вынуждены были, пани Аня, все это выполнять, потому что были напуганы» — признались они. «Но теперь-то вы не боитесь?» — спросила я. «Нет, теперь не боимся». И мы бросились друг другу в объятия. Полагаю поэтому, что люди по натуре своей добрые, только они крайне запуганы...

Анна Валентинович на вопрос о 14 августа.

— Утром я была у врача в нашей поликлинике. Кто-то сообщил: забастовка. Я взглянула на краны за забором. Они бездействовали. На всякий случай домой решила не возвращаться, пошла к знакомым в сороковую квартиру. Около двенадцати примчалась соседка и говорит: «Директор прислал за тобой машину!» Я ответила, что никуда отсюда не двинусь, пусть подгонят машину к подъезду. Машину подогнали, я села, и мы помчались. В двенадцать с минутами я была на судоверфи. В воротах стояли какие-то две женщины с цветами, оказалось, что эти цветы предназначаются мне. Кто-то попросил меня подняться на экскаватор. Я поднялась и увидела огромную толпу, как во время визита папы римского. А над толпой транспарант: «Требуем восстановить на работе Валентинович!» Я старалась не расплакаться. Сказала только: «Благодарю вас!» — и спустилась с экскаватора. Вслед за этим мы отправились в зал безопасности и гигиены труда на совещание. Ну а остальное вы, вероятно, уже знаете, так что нет смысла повторяться...

1981.

Перевод с польского Сергея ЛАРИНА.

³ Лех Валенса.





ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ

АМОК

Говорили, что боец вооруженной охраны Файзулла Гизатуллин питал к убийству врожденную склонность. Возможно, что такая склонность в молодом татарине действительно была, и тогда можно думать о наследственности, восходящей ко временам Чингиза и Батыя. Но и в этом случае она вряд ли проявилась бы в простом и честном парне, если бы не сочетание целого ряда обстоятельств. На первом месте тут была резко выраженная истеричность характера Файзуллы, «истероидность», как выразились обследовавшие его впоследствии врачи-психиатры. Помножившись на найденный теми же врачами «комплекс неполноценности», она и привела Гизатуллина к хронической озлобленности, находившей выход в убийствах, благо они не только не возбраняются, но и прямо предписываются во многих случаях уставами вохровской службы. Тем более в таких лагерях, какими были лагерь Дальстроя. До войны их называли СВИТЛ (Северо-восточные исправительные). Большую часть угодивших сюда заключенных здесь «исправляли» до смерти посредством голода, непосильной работы, жестокого климата, а нередко той же пули. Отсюда вытекали и нравы охраны, меняющиеся, разумеется, в зависимости от места, но, в общем, более свирепые, чем всюду. Разрешение убить заключенного тут чаще всего толковалось как предписание убить. На это были, вероятно, соответствующие «установки» сверху. Такая политика при многих преимуществах, которыми она обладала с точки зрения своих изобретателей, несла с собой и некоторые издержки. Одной из этих издержек, не слишком, правда, значительной, было то, что некоторые из бойцов, из которых воспитывали свирепых псов и профессиональных убийц, впадали в манию убийства. Подавляющее большинство таких оставались, однако, достаточно рассудительными, чтобы удовлетворять свою страсть, действуя в рамках конвойного устава, и лишь единицы сами становились ее жертвами. Тогда они превращались в козлов отпущения, ибо кто сказал, что в Советском Союзе можно безнаказанно убивать даже заключенных?

Попал в их число и парень из бедного татарского колхоза где-то на Волге. Спасти Гизатуллина от расстрела могла бы

только медицинская комиссия. Но та нашла, что при всех своих комплексах он достаточно вменяем, чтобы нести ответственность за собственные поступки.

* * *

В начале же своей действительной службы в Красной Армии, по окончании которой он и завербовался на службу в ВОХР, Файзулла отличался от других новобранцев разве что крайней застенчивостью, доходившей порой до диковатости, да довольно плохим знанием русского языка. Было заметно, что татарин очень стыдится своего смешного русского произношения и болезненно самолюбив. Но это только поощряло его не слишком тонко воспитанных товарищей на насмешки, впрочем, вполне беззлобные. Гизатуллин воспринимал их, однако, как проявление национального пренебрежения к себе и втайне озлоблялся. Он был единственным татаринцем во всем крупном воинском подразделении. Боясь насмешек над своим неправильным выговором, он впал в угрюмую молчаливость. С этого времени в красноармейце, а впоследствии вохровце Гизатуллине и началось, наверное, развитие его рокового комплекса.

Как и большинство малограмотных новобранцев, особенно из числа нацменов, он отличался избытком уважения к букве воинских уставов, неизменно категоричных и жестких, и словам начальственных наставлений. Слишком точная солдатская исполнительность привела его уже к более глубокому конфликту со своим окружением, так и оставшемуся с обеих сторон до конца глухим и скрытым. Началось со случая, когда Гизатуллин на виду у всех и почти еще в дневное время едва не перестрелял без всякой нужды красноармейцев-свинарей из своей же роты. Дело было так.

Ранним вечером, еще до захода солнца, он стоял в карауле у большого погреба, в котором хранились овощи для солдатской кухни. Полк Гизатуллина находился тогда в летнем лагере, разбитом рядом с постоянными хозяйственными службами. Место для воинских учений было выбрано здесь давно, едва ли не во времена Аракчеева.

Поста у овощехранилища никто и никогда всерьез не принимал. Назначали на него исключительно солдат-первогодков и больше для практики в несении караульной службы, чем для действительной охраны «объекта». Но именно поэтому их «настрополяли» в понятиях долга и обязанности часового куда настойчивее, чем красноармейцев постарше при назначении в охрану полкового штаба или склада боеприпасов.



Демидов-студент. 1929

Почти рядом с караульной точкой находился полковой свинарник. Гизатуллин видел, как из-под сруба этого свинарника, предварительно подрывшись под него, вылезло несколько крупных подвинков с очевидной целью погулять на свежем воздухе. Дежурные свинари заметили этот побег и выскочили из свинарника, когда их предприимчивые подопечные были уже далеко. Началась веселая погоня, в которой

принял участие почти весь скучающий в это время солдатский лагерь.

Наблюдал за ней и часовой у овощного погребца. Но когда одного из свинарей, умудрившегося схватить пятидесятикилограммовую беглянку за ухо, та втащила на охраняемую Гизатуллинным основную территорию, он вскинул винтовку к плечу и крикнул:

— Ложись!

Как раз в это время свинарь, изловчившись и собравшись с силами, так скрутил свинье ухо, что та, отчаянно визжа и дрыгая ногами, упала на спину. Занятый своей визжей и оглушенный пороссячим визгом, он не слышал и повторного окрика:

— Ложись, стрелять буду!

Но второй свинарь, бежавший на помощь своему товарищу, этот окрик слышал. Он видел, как часовой, очевидно безо всякого намека на игру или шутку, дослал патрон в ствол своей винтовки.

— Не валяй дурака, Гизатуллин! — крикнул он испуганно.

Первый свинарь, все еще ничего не замечающий, навалившись всем корпусом на беглянку, накидывал ей на заднюю ногу веревочную петлю.

А Гизатуллин действовал точно по уставу караульной службы, явно даже не думая о том, что он охраняет — склад картошки или пороховой погреб. Грохнул предупредительный выстрел. Препиравшийся с постовым красноармеец хлопнулся оземь. Тот же, который воевал со свиньей, от неожиданности вскочил на ноги. Новое «ложись!» и близкое дзеньканье пули подтверждали: часовой и не думает шутить.

Отпущенная на свободу свинка, радостно хрюкая, убежала вместе с длинной веревкой на ноге. Лежа ничком на земле, свинари громко ругались, не скрывая от дурака с винтовкой, что они о нем думают. Судя по окаменело-жестокému выражению на слегка раскосом лице татарина, было очевидно, что попытка задержанных им «нарушителей» подняться на ноги была бы для них равносильна самоубийству. Понимали это и свинари. Их выручил прибежавший на выстрелы начальник караула. Однако беглые свиньи были теперь уже черт-те где, где-нибудь в леске за лагерем.

— «Стрелять буду!» — вполголоса передразнил Гизатулина, поднимаясь с земли и отряхиваясь, один из свинарей. — Попка-дурак, мурло татарское...

Георгий Георгиевич Демидов родился 29 ноября 1908 года в Петербурге, в семье рабочего. В 1913 году, когда мальчику было пять лет, отец был выслан из столицы за какой-то анекдот о царе, рассказанный в компании. Семья переехала в Лебедин Белгородской области. Окончив местную школу, Демидов уезжает в Донбасс и почти два года работает на сахарном заводе. В 1928 году приезжает в Харьков и поступает на физический факультет Харьковского государственного университета, в то время расчлененного на несколько отдельных институтов. На третьем курсе на одаренного студента обращает внимание профессор Ландау и забирает его к себе в лабораторию. Первый патент на изобретение Демидов получил в 1929 году. Через несколько лет молодой ученый защищает диссертацию и получает звание доцента Харьковского электротехнического института.

В феврале 1938 года Георгий Георгиевич был арестован, осужден на восемь лет за участие в контрреволюционном троцкистском заговоре и отправлен этапом на Колыму. Четырнадцать страшных лет провел он на Колыме, почти десять из них — на общих работах. Так уж распорядилась судьба, что товарищем Демидова по Колыме оказался Варлам Тихонович Шаламов — «Фельдшер из хирургического», как назвал его Георгий Георгиевич в одном из своих писем. Около двух лет работали они вместе в центральной лагерной больнице. В рассказе «Житие инженера Кипреева» Шаламов описывает самую яркую, хотя и самую трагическую страницу колымской жизни Демидова. За создание цеха по восстановлению электрических лампочек — сверхдефицитной продукции в условиях лагерной жизни во время войны, когда с материка перестали поставлять электролампы, — вместо досрочного освобождения, которое было обещано Георгию Георгиевичу, ему вручают поношенный костюм из фондов Американской помощи, который он тут же возвращает обратно со словами: «Я чужих обносков не ношу». За

это он схлопотал второй срок — десять лет.

На четырнадцатом году Колымы поиск уцелевших физиков спас Демидова от общих работ. Но когда его привезли в Москву, выяснилось, что до конца срока осталось несколько месяцев и использовать его в качестве физика-экспериментатора в одной из шарашек не представляется возможным. Демидова отправили в Коми АССР. Здесь он освободился, начал работать на Ухтинском механическом заводе. В 1956 году ему присваивают звание «Лучший изобретатель Коми АССР». В 1958 году Георгия Георгиевича реабилитируют, его портреты висят на центральной площади в ряду лучших людей города.

Но болит разбитый на каторге позвоночник, не разгибаются сломанные в шахте пальцы, а главное, не отпускает от себя Колыма — снится ночами. И вот ученый-физик, инженер-изобретатель, бурильщик, присковый рабочий, охотник на морского зверя... начинает осваивать новое для себя дело — писательское. Все свободное от работы время проводит за машинкой (ручку разбитые пальцы не держали). Без отдыха, без выходных и отпусков. Пишет много и очень критически оценивает свою работу. В одном из писем В. Т. Шаламову в 1965 году замечает: «...это ведь вовсе не мое ремесло. Надо удивляться не тому, что у меня получается так посредственно и стереотипно, а тому, что вообще что-то еще получается. И это «что-то», быть может, немного переживает меня и послужит сырьем для тех, кто будет счастливее и талантливее меня».

Но время оттепели уже прошло, и Георгию Георгиевичу настоятельно советуют изменить тематику своих произведений. В случае согласия обещают членство в Союзе писателей и большие тиражи. Он отказывается наотрез. И тогда исчезают его портреты с центральной площади, а сам он становится объектом пристального внимания.

На правах пенсионера-северяннина Демидов перебирается в Калугу. Он работает за столом по десять — пятнадцать

А караульный начальник, очевидно, в назидание всем, кто пылил на дураковатого нацмена глаза, опасно держась за пределы охраняемой им зоны, громко похвалил бдительного часового:

— Отлично усвоили караульный устав, товарищ Гизатуллин!

Тот стоял навтыжку с винтовкой «к ноге» и всем своим видом как бы говорил: «Служу трудовому народу!»

Подобные истории с Гизатуллиным повторялись. Благодушная насмешливость к нему со стороны товарищей все больше переходила в презрительную враждебность. Он это чувствовал и, понимая по-своему, все больше замыкался в себе. Причина тут усиливала следствие, а следствие — причину. Усиливающаяся отчужденность от своего окружения мешала Гизатуллину избавиться и от главной причины этой отчужденности — плохого знания языка. Даже в конце своей службы он сносно только понимал по-русски.

Некоторые считали его шкурой, хотя ограниченность своих возможностей по части солдатской карьеры Гизатуллин отлично понимал и не стремился к ней. Для чина старшего красноармейца он был слишком диковат и раздражителен. А когда волновался или сердился, то всегда путал слова, особенно ругательные, русские с татарскими. Числился он, однако, на самом лучшем счету у начальства, а по уменью стрелять в цель из винтовки имел даже звание ворошиловского стрелка.

Хотя возвращение в нищий поволжский колхоз не сулило Файзулле ничего особенно радостного, он думал о скором окончании действительной службы безо всякого сожаления. Там по крайней мере он избежит от чуждого ему, высокомерно-пренебрежительного, как он думал, окружения. И не услышит, как теперь, чьего-то хихиканья за спиной: «Один татарин в два шеренга становись!»

Но когда до конца воинской службы Гизатуллина оставались уже считанные недели, в его часть приехал представитель какого-то страшно далекого лагеря для заключенных. Целью его приезда оказалась вербовка увольняемых по домам красноармейцев в вооруженную охрану этих лагерей, до которых было отсюда по суше и морю что-то около двенадцати или тринадцати тысяч верст.

Предлагал вохровскую службу в лагерях какого-то Даль-

строя этот вербовщик, однако, далеко не всем. Просматривая предложенные ему списки подлежащих демобилизации, он оставлял без внимания всех городских ребят. Да и деревенских, если они имели какую-нибудь специальность или образование, превышающее четыре начальных класса. Но больше всех других уполномоченного по вербовке в колымскую вохровскую службу интересовали чувашаи, удмурты, буряты — словом, все те, кого до революции официально именовали инородцами, а теперь, отнюдь не официально, называют зверями, не вкладывая, впрочем, в это слово ни враждебного, ни особо пренебрежительного смысла. Особенно привлекли к себе вербовщика анкетные данные и служебные характеристики Гизатуллина. Такие, как этот татарин, составляют обычно золотой фонд вооруженной охраны.

Файзулла от предложения ехать в неведомую Колыму сначала отказался. Там, в этой дали, ощущение своей чужеродности среди сослуживцев станет, наверно, еще сильнее. Однако с кандидатом в вохровцы последовали уважительные разговоры в кабинете самого политрука полка и даже с его участием. Гизатуллин вообще почти не мог противиться начальственным наставлениям и уговорам, а тут были не только убеждения в почетности и важности службы ВОХР, но и посулы материального характера. Соблазн и в самом деле был очень силен. Немалое и вначале, жалованье вохровца на Дальнем Севере растет из года в год, пока за пять лет не удвоится. Тратить заработанные деньги почти некуда, так как бойцы ВОХР содержатся в своих казармах почти на всем готовом. А если кто из них женится, что отнюдь не возбраняется, то такой продолжает получать свое провиантское довольствие уже в виде сухого пайка. Каждому ежегодно выдается полный комплект военного обмундирования, в которое входит также пара валенок и яловых сапог. Только шинели и добротные овчинные полушубки полагается носить по два года.

А из колхоза пишут, что в иные годы получают на трудодень только двести граммов зерна, едят хлеб с лебедой, многие ходят в лаптях.

...Покорившись, Файзулла вдохнул и вывел каракули подписи внизу большущего печатного бланка-договора бойца вооруженной охраны СВИТЛ со своим нанимателем, государственным трестом строительства Дальнего Севера.

часов в день. Написано много, создается крупное автобиографическое произведение... В августе 1980 года к писателю приходят с обыском, все его произведения арестованы.

19 февраля 1987 года Георгий Георгиевич не стало. Уже после смерти писателя его дочь обратилась к А. Н. Яковлеву с просьбой помочь вернуть произведения отца. Летом 1988 года они были возвращены.

Из письма 1948 года:

...Посылаю одно из своих старых стихотворений, написанных спичкой на рубашке в маданской тюрьме в 1946 г. ...

ТЮРЕМНЫЕ ГОДЫ

Вот стоит их длинный ряд,
Вереница лет,
Лучших лет, которым вновь
Уж возврата нет.

Родились они в тюрьме
И угасли в ней,
Эти пасынки Судьбы —
Жизни дни моей.

Искалечены они
Болью и тоской.
Даже мне их различить
Трудно меж собой.

А какими быть могли!
Молодцами быть!
Как могли бы хорошо
Миру послужить!

Был для вас Талант и Ум,
Силы для борьбы,

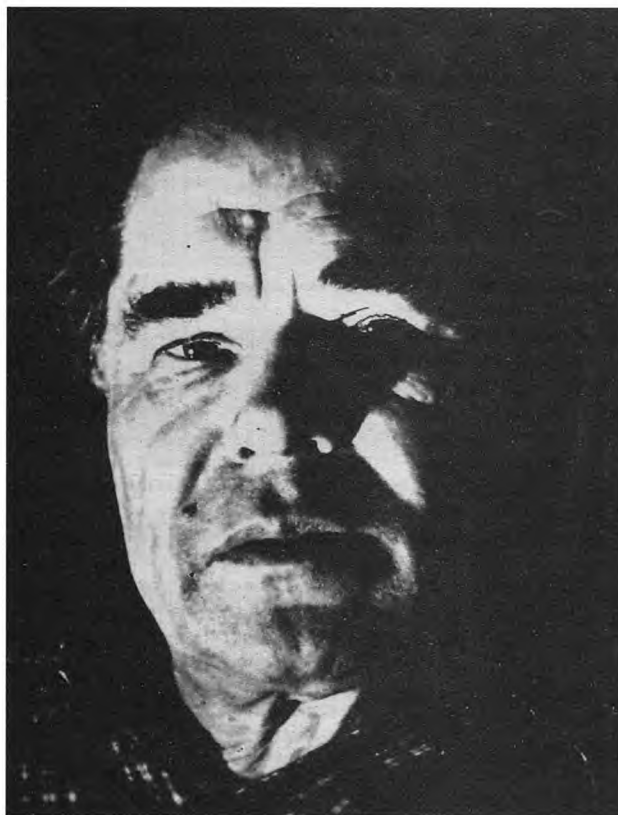
Страстной воли юный пыл,
Вера в дар Судьбы!

Но отняли палачи
Волю у меня,
Нет теперь в душе моей
Прежнего огня.

Погасили его мрак,
Холод стен тюрьмы,
Заполярья вечный лед,
Сопки Колымы.

Одиноко прохожу
Скорбный путь я свой,
Оставляя лучших лет
Трупы за собой.

Видно, тяжкий Жизни груз
Скоро сброшу с плеч,
Чтобы в Вечную постель,
В Вечный отдых лечь.



Г. Г. Демидов. 1984

* * *

После короткой побывки дома и сбора в Москве завербовавшихся в колымскую ВОХР десять дней ехали по железной дороге до Владивостока.

Затем потянулись недели ожидания парохода, следующего до порта Нагаево на Охотском море. Этот порт — как бы ворота обширного края, о суровости и неприютности которого ходили пугающие рассказы. И никакого общения с этим краем кроме как по морю. Файзулла, как и многие другие не очень образованные люди, долгое время думал даже, что Колыма — это остров. Оказалось, что вовсе нет, хотя все, кто живет на ней, почти весь остальной мир называют материком.

Будущих колымских вожровцев поместили в казарме рядом с огромным пересыльным лагерем. Этот лагерь расположился довольно далеко от города, на морском берегу, и так близко от воды, что колючая проволока с этой стороны лагерной ограды стала красной от соленых брызг прибое. Бараки пересылки вытянулись в длинную линию, так как с другой стороны лагерь чуть не вплотную подступал к тоже длинной, какой-то облезлой сопке. Гизатуллин уже привык к виду этих дальневосточных не то гор, не то громадных холмов, начавшихся на подъезде к Иркутску. Местами круглые и конические, напоминающие гигантскую муравьиную кучу, местами вытянутые, то высокие, то приземистые, эти горы были неизбежной особенностью здешнего пейзажа. И почти такими же неизбежными были здесь лагеря заключенных с их прямоугольниками огражденных колючей проволокой зон и вышками часовых на высоких раскоряченных ногах-бревнах.

Между прибрежной сопкой и несколько приподнятым краем берега вода от обильных здесь, особенно к осени, дождей скапливалась на каменистом ложе, образуя мелкое, местами заросшее болото. Так что большая часть бараков пересылки была построена на невысоких сваях. А поскольку территория лагеря не была сплошь болотом, то на довольно-зеленом фоне болотной растительности серело множество островков лагерной суши, между которыми были перекинуты бесчисленные деревянные мостики. Поэтому здешнюю пересылку называли еще Болотной Венецией.

Стоял уже конец августа с его слезливой здесь и непостоянной погодой. Дожди шли в иной день по несколько раз. Они налетали всегда с моря, обычно вместе с туманом и пронизывающим холодом, и в течение нескольких минут меняли почти летнюю погоду. Впрочем, так же внезапно проглядывало здесь и солнце, довольно еще теплое и ласковое. Но оно не успевало обсушить даже листьев на кустах, как берег снова окутывал холодный, слезливый туман.

Этот туман иногда был не очень плотным и закрывал полностью только горизонт и отдаленные участки моря. Тогда корабли на рейде казались повисшими в воздухе, как неясные привидения морских скитальцев из давних легенд. И только их оранжевые ватерлинии прозаически реально проступали сквозь желтовато-молочную мглу. Слой тумана внизу был, видимо, не очень толст и не мог лишить солнечный свет его тепловатой желтизны.

За ржавой проволокой лагерной ограды на мокрых болотных островках сидели и лежали заключенные, ожидавшие отправки на Колыму. Это были те, кому места в бараках не хватило. Лагерь был рассчитан на каких-нибудь пять-шесть тысяч заключенных. А теперь их скапливалось временами тысяч до сорока. Пароходов не хватало, а эшелоны с живым грузом поступали на пересылку чуть не каждый день. На ней свирепствовала сейчас дизентерия. В дальнем конце за лагерь, вдоль той же стерегущей его сопки тянулось кладбище тех, кто не дождался посадки на пароход. В мелкие, залитые болотной водой могилы сюда ежедневно опускали десятки трупов. Под охраной людей с винтовками с утра до вечера тут копшились мокрые могильщики из тех же заключенных.

С будущими колымскими вожровцами в их казарме ежедневно велись политзанятия. Речистый, категоричный в своих определениях политрук объяснял: сейчас в Советском Союзе происходит ожесточенная классовая борьба, которая и впредь будет нарастать по мере успехов социалистического строительства в нашей стране. Ненавидящие это строительство внутренние классовые враги пытались, пытаются и будут пытаться его сорвать. Это закон, открытый великим Стали-

ным. Благодаря гениальной прозорливости вождя и доблести советских чекистов, руководимых его другом и соратником Николаем Ивановичем Ежовым, преступные замыслы внутренней контрреволюции раскрыты. Шпионы, вредители и диверсанты схвачены и обезврежены. Те из них, кому советские карательные органы со свойственной им гуманностью нашли возможным сохранить жизнь, будут теперь сами работать на пользу социалистическому строительству. Но только на самой грубой и тяжелой физической работе и в самых отдаленных местностях Союза.

Но враги, конечно, так и остались врагами. Надлежит постоянно помнить, что и теперь они относительно безопасны, только находясь за колючей проволокой и на мушке винтовки лагерной охраны. Почетная задача постоянно держать дуло этой винтовки у виска заключенных врагов народа возложена на службу ВОХР, в которую вступают самые сознательные и классово безупречные из зачисленных в запас воинов Красной Армии.

А находясь на воле, вредители и диверсанты успели натворить немало пакостей советскому народу, хотя подорвать мощь первого в мире социалистического государства им не удалось. Все те трудности, которые испытывала и продолжает испытывать наша страна, связаны главным образом с подлой деятельностью ее внутренних врагов.

Гизатуллин, внимательно слушавший политрука, хорошо это понимал и вполне соглашался с внутренней политикой Сталина и его друга Ежова. Давно бы надо пересажать и перестрелять всех этих вредителей, которые довели положение на селе до того, что в колхозах почти повсюду нечего есть. Не лучше положение и в небольших районных городах, где за хлебом в очередь становятся уже с ночи. Еды хватает только в крупных промышленных центрах, но и там, чтобы купить ботинки или брюки, надо простоять в очереди два-три дня. Повидимому, верно, что у власти на местах находятся люди, которым наплевать на народные нужды и которые, как сказал политрук, продавали интересы своего народа иностранным империалистам. И очень хорошо, что теперь их схватила за горло колючая ежовская рукавица.

Политрук предупреждал еще, что многие из осужденных праведным пролетарским судом врагов народа прикидываются такими овечками, невинно пострадавшими. Некоторые из них даже нагло клеветают на советское следствие и суд. Делают они это, конечно, втихомолку, за закрытую клевету на сталинские карательные органы можно схватить дополнительный срок. Верить этой клевете и уверениям осужденных врагов в их невинности нельзя, все они — волки в овечьей шкуре! Жалость и примиренческие настроения надо от себя гнать. И товарищу помогать в этом, если тот прозвонит легковере и слабость. О случаях общения бойцов с заключенными врагами народа, всяких там разговорчиках и совместных раскуриваниях надо немедленно докладывать командирам и политработникам своих подразделений. Замалчивание подобных нарушений само есть тяжкое нарушение не только дисциплины, но и советского закона.

Файзулла вспоминал, как несколько лет назад мужиков насильно загоняли в колхоз. Как сгоняли со всего села в один двор не только лошадей и коров, но даже свиней и кур. Как те подышали на этом дворе, пока не вышла статья Сталина «Головокружение от успехов». Но и после этого вредители — теперь Гизатуллин знал твердо, а не просто догадывался, что это были вредители, — в порядке поставки государству сельскохозяйственных продуктов отбирали в избах последний туесок пшена. Как часть их деревни вымерла с голоду, а другая разбежалась. Вскоре, правда, бегство из колхоза стало почти невозможным. Мужикам во время паспортизации не выдали паспортов.

В первые дни после приезда сюда Гизатуллин невольно жалел людей, неделями валявшихся под открытым небом в грязи пересылки и даже на крышах уборных. Но теперь сострадание к ним сменилось чувством справедливого отмщения. Так им и надо, этим организаторам насильственной коллективизации, хронического голода, постоянной нехватки всего и вся! Неопределенная злоба, давно уже мучившая Файзулла, теперь обрела адрес.

Руководитель политзанятий говорил и об уголовниках, с которыми тоже придется иметь дело бойцам охраны. Этих советский закон тоже не очень жалуется, когда они болтаются под ногами у строителей новой жизни. Но политрук называл их бытовиками и часто подчеркивал, что они лишь «временно изолированные» от общества люди. Этому выражению по отношению к врагам народа политрук никогда не применял.

Из объяснений политрука выходило, что даже воры и бандиты в местах заключения сейчас едва ли не в чести. Они пользуются множеством льгот, на которые враги народа права не имеют. Если бытовик хорошо работает, то день заключения засчитывается ему за два и даже за три дня. Право занимать бластные должности в лагерях, вроде писарей, поваров, каптеров и т. п., не говоря уж о таких начальственных должностях, как лагерный староста или нарядчик, имеют только уголовники. Только на них распространяется сейчас и право частной амнистии, и досрочное освобождение.

Файзулла считал подобные поблажки в отношении уголовных преступников ненужными и вредными. Для чего поощрять воровство, например? Он помнил, как в его детстве с бедного двора Гизатуллиных конокрады свели лошадь. Тогда их семья совсем захирела и целые годы не могла оправиться после этой потери. И про себя Гизатуллин решил: пусть его лагерное начальство покровительствует всякому вору и грабителю, но он им мирволить не станет, пусть эта шпана хоть трижды будет кому-то «социально близкой»!

Молодых вохровцев зачислили в охрану парохода, на который погрузили восемь тысяч заключенных. Служба в колымской ВОХР началась.

* * *

Плавание через два моря, бархатно-синему Японскому и свинцово-серому Охотскому, продолжалось только восемь суток, погода стояла благоприятная. В проливе Лаперуза всем, кто стоял в карауле на палубе, приказано было сменить фуражки со звездочками на вольные кепки и надеть серые рабочие телогрейки. Вместо винтовок всем раздали наганы без кобур, пистолеты полагалось держать в карманах. Трюмы, в которых везли заключенных, были задраены досками и затянута брезентом. Предстояла встреча с хозяевами здешних территориальных вод, японцами. С их военного катера, однако, на палубу парохода никто не поднялся. Только кто-то крикнул с него по-русски в рупор: «Что везете?» На что последовал ответ с капитанского мостика и тоже в рупор: «Вербованных на Колыму!»

Несколько лет назад здесь разразился международный скандал. Японцы увели в один из своих портов советский пароход с такими же вот «вербованными». В газетах, правда, шумели, что это был почтовый пароход. Таким способом макаки хотели, наверное, заставить Советское правительство платить им за пропуск «невольничих кораблей» через их воды достаточно богатую мзду. И, наверное, добились своего, так как ни один из дальстроевских пароходов больше не останавливали.

Прежде Гизатуллин никогда бы не поверил, что даже в такой большой пароход, как «Дальстрой», можно вместить столько народу. И притом не во все его трюмы, а только в носовые. Правда, едва ли не так же плотно, как укладывают в штабель дрова. В каждом из невысоких трюмов, а они располагались на «Дальстрое» в пять этажей, были сооружены трехъярусные деревянные нары. Плечом к плечу на них лежали полуголые люди, в трюмах было невыносимо жарко и душно. Из люков, когда они были открыты, столбом вырывался спертый, зловонный воздух. Если подойти к краю такого люка и заглянуть вниз, то казалось, что ярусы настилов с лежащими на них людьми уходят куда-то в бездонную глубину. Впечатление усиливало тусклое освещение, железные вертикальные лестницы и не то пыль, не то махорочный дым, постоянно висевший в отсеках для заключенных. Самые нижние из трюмных настилов почти скрывались в сизой мгле, а людские тела на них сливались в сплошную копошащую массу. Файзулла понятия не имел об архитектуре Дантова ада, но, когда он впервые заглянул в один из этих люков, ему стало как-то не по себе.

Раз в сутки корабельной талью из трюмов вытаскивали

«на-гора» пароходные параша и вываливали в море их содержимое. Это были железные бады высотой в полтора человеческого роста. У громадных «царь-параш» были крышки с отверстием, очком, и приставные лестницы, по которым люди взбирались на верх бады по нужде. Правда, тюремными парашами заключенные старались не пользоваться, когда им разрешалось выходить в арестантский гальюн, безобразное дощатое сооружение, прилепленное к одному из бортов парохода. Но из трюмов их выпускали — конечно, только в этот гальюн — только в дневное время, при малой качке и не на всех участках пути. В том же Лаперуза, например, об этом не могло быть и речи.

Ребята из пароходного конвоя, совершавшие подобные рейсы уже не в первый раз, говорили, что даже ранней осенью переплыть через Охотское море, не угодив в шторм, удается далеко не всегда. А вот чуть позже на нем начнутся такие штормяги, что в течение всего пути, а его время в плохую погоду удлинняется чуть не вдвое, люки в арестантских трюмах остаются задраенными. Тогда в воздухе этих трюмов можно, что называется, топор вешать. В таком воздухе переносить качку особенно трудно. Поэтому большинство заключенных укачивает до полусмерти, а некоторых и до смерти. Когда же шторм достигает силы в девять-десять баллов, то случается, что от качки ломаются сколоченные наспех временные нары. Тогда люди, их убогие пожитки и облепанные доски — все смешивается в сплошную стонущую массу, которую только потом, по прибытии в Нагаево, удается рассортировать на живое, полуживое и вовсе мертвое.

На этот раз плавание было вполне благополучным, и на его девятый день Гизатуллин, как и все, кто имел право выходить на палубу, смотрел на приближающиеся берега Колымы. Теперь он знал о ней уже многое. Слышал и песенку о «чудной планете», на которой будто бы двенадцать месяцев зима и только остальное — лето. Сейчас это казалось похожим на правду. День был серый, причем серый как-то по-зимнему. К свинцовой воде бухты Нагаево, давшей название и порту на ее берегу, подступали невысокие унылые сопки, посеревшие от первого снега. Удлиненные по направлению к морю, они спускались к нему местами беспорядочно, а местами почти параллельно рядами. В таких местах берег, особенно если смотреть на него несколько сбоку, казался сложившимся в гармошку от какого-то невероятно сильного сжатия с концов. За береговыми сопками теснились другие, повыше и большей частью совсем уж белые. Из-за них выглядывали далекие и высоченные конические вершины, белизна которых резко выделялась на фоне тяжелых, видимо снеговых, туч.

Все здесь было незнакомым, чужим и казалось угрюмо-угрожающим. Почти каждого из новоприбывших томилб тоскливое чувство сомнения, а не зря ли он приперся сюда за длинным рублем и бесплатными яловыми сапогами. Такое же чувство угнетало и Гизатуллина. На Волге, казавшейся теперь удаленной в какую-то бесконечность, только еще начиналась золотая осень, а здесь, на этом краю света, стояла уже зима.

Но вопрос был решен и всякие переживания были теперь ни к чему. Всем завербованным в ВОХР завтра же предстояло явка за назначением в главный штаб вооруженной охраны СВИТЛ. Подразделения этой охраны — они называются дивизионами — разбросаны не только в бассейнах Колымы, Индигирки и Яны. Они есть и на Чукотке, и на Сахалине, и на берегах Берингова моря. Всюду, где живут и работают заключенные.

Гизатуллин получил назначение в дивизион золотого прииска Каньон. Говорили, что это одно из тех мест, которые имеет в виду мрачная поговорка о вороне и костях. Оно находилось в самой глубине угрюмого горного края, во многих сотнях километров от Магадана, считая даже по прямой на карте.

Вместе с еще двумя десятками бойцов ВОХР Гизатуллин несколько дней ехал в открытом грузовике по Главному колымскому шоссе, здешней транспортной магистрали. Заключенные-контрики придумали для него ехидно-иронические названия: шоссе Энтузиастов и сталинская Владимирка.

Сопки казались здесь выше и угрюмее, чем в Прибайкалье и на берегах Японского моря. Может быть, впрочем, потому,

что на протяжении большей части пути угрожающе близко подступали к самой дороге. Сопки были то безлесные, то поросшие особенным здешним лесом. даурской лиственницей и кустарниковым кедром-стлаником. Иногда они отдалялись на некоторое расстояние, но никогда и ни в одном направлении не исчезали из поля зрения совсем. Чистой линии горизонта нельзя было увидеть даже с высоты головокружительных перевалов. И отсюда в хмурой дали вырисовывались плавные линии все тех же однообразных гор. Но можно было заметить, что сопки громоздятся вовсе не так беспорядочно, как это казалось вблизи, а вытягиваются в довольно четкие и почти параллельные друг другу линии горных кражей. Местами, впрочем, эта геометрическая стройность нарушалась, и в хаосе пересекающихся хребтов нельзя было ниоткуда усмотреть никакого порядка.

Что горный пейзаж здесь бывает своеобразно, хотя и сурово красив, можно было только догадываться. Сейчас, уже посеревший от снега, почти лишенный красок, он казался неприятной пустыней, вздыбленной гигантскими и угрюмыми каменными буграми. Колымская зима началась.

Пейзаж в районе прииска Каньон оказался необычно угрюмый даже по здешним понятиям. В отличие от большинства колымских гор его сопки подверглись сильной ветровой эрозии, особенно на вершинах. Наружный каменный слой этих вершин разрушался почему-то медленнее ниже лежащих. Поэтому гребни сопки поросли огромными каменными грибами, придававшими им мрачный, почти зловещий вид. Протекающая по распадку между двумя такими сопками маленькая речка образовала в его сланцевых породах глубокий узкий каньон, по которому был назван и расположившийся на дне этого каньона прииск.

Гизатуллину эта местность показалась и впрямь очень похожей на тот «край земли», о котором он слышал от своей бабушки, рассказывавшей ему в детстве страшные сказки о царстве злых духов. Но Файзулла не был наделен поэтическим воображением и чувствовал себя во власти вовсе не духов, а обострившей здесь и куда более злой тоски по родным местам и еще досады на самого себя. Зря, очень зря он не вернулся в родной колхоз!

На дне каньона находился приисковый полигон, место, где производилась вскрыша торфов — удаление многометрового слоя сланцев, закрывающих погребенную золотую россыпь, и извлечение из этих песков проклятого от века металла. Промывали пески, конечно, только летом, когда была вода. Зимой же занимались вскрышными работами.

Работали на полигоне почти одни только осужденные за каэр-преступления, враги народа. Бригадиром в бригадах рогатиков, точнее надсмотрщиками над ними, были приставлены уголовники. Всем другим при назначении на должность бригадира лагерное начальство предпочитало бандитов и убийц-рецидивистов, так как они лучше других могли обеспечить выполнение бригадой производственного плана. Под их наблюдением бывшие вредители, террористы и диверсанты возили на отвал короба — огромные, заполненные породой деревянные ящики, поставленные на полозья. Другие, разбиравшие совсем уж неподъемные камни кувалдами, грузили их в эти короба, третьи били шурфы, то есть киркой и ломом выбивали в скальной породе неглубокие колодцы для закладки аммонита.

Заклученные работали без выходных и активированных дней, в любую пургу и мороз по двенадцать — четырнадцать часов в сутки. Сильнейший ветер здесь мог сочетаться зимой с сорокаградусным морозом. Ветры сменялись иногда полной неподвижностью воздуха, и морозы достигали тогда шестидесяти и более градусов. Здесь был бассейн реки Яны, самого холодного места на земле. Если же мороз в безветренную погоду сдавал до сорока — сорока пяти градусов, то это считалось почти оттепелью. Зэки говорили в такие дни, что сегодня Ташкент.

Хлебный паек и жалкий приварок, который выдавался заключенным-работягам, даже если он не был штрафным, как у большинства, вряд ли покрывал больше половины расхода мускульной энергии, необходимой для выполнения несуразных каторжных норм и борьбы с лютым холодом. Быстро и неумолимо наступало истощение, не позволявшее более дотя-

гивать выработку до величины, обеспечивающей полный хлебный паек, и он немедленно урезался. Согласно иезуитской философии высшего лагерного начальства это было наказанием за нерадивость. Но такое наказание только усиливало причину этой нерадивости, следовало очередное снижение пайка, и дневная выработка уменьшалась уже в катастрофическом темпе. Работяга окончательно слетал с копыт и переводился на смертный штрафной паек.

Было бы наивно думать, что подобная система могла быть изобретена просто глупцами, не способными понять порочность созданного ими безвыходного круга. Несомненно, она была придумана верховными негодаями, предшественниками тех, кто через несколько лет применял душегубки и всякие газовые камеры. Таким путем безо всякого шума и применения специальных средств уничтожались сотни тысяч людей, виновных только в том, что сталинский режим сам был преступным по отношению к ним.

И выдуманные враги народа угасали на бесчисленных каньонах не только тихо и безропотно, но и с некоторой пользой для социалистического отечества. К весне число завезенных в навигационный период на Каньон сокращалось в несколько раз. Одни уже лежали под сопкой, другие ожидали своей очереди в бараках доходяг, из которых на работу уже не выгоняли. Полигон почти опустевал, большая часть лагерных бараков стояла заколоченной. Но наступала очередная навигация. Машина за машиной с кузовами, набитыми новым пополнением, въезжали в ворота лагера. И снова полигон кишел безликой массой рогатиков с контрреволюционной статьей, в своем подавляющем большинстве обреченных на скорую смерть от голода и изнурения. Вершители беззакония, пославшие их сюда, хотели поскорее избавиться от живых свидетелей этого беззакония.

Зимой в здешних краях было темно едва ли не круглые сутки: Каньон находился почти на Полярном круге. Те три-четыре часа сумерек, которыми сменялся здесь день в это время года, превращались в настоящую ночь из-за густого тумана, который выжимал из воздуха жестокий мороз. От этого мороза не могла, казалось, защитить никакая одежда. Он ощущался иногда даже не как холод, а как мучительное сжатие в каких-то тисках. Голова, даже под теплой шапкой, болела, как от надетого на нее железного обруча. Воздух казался колючим и застревал в бронхах. Поэтому дышать можно было только короткими, неглубокими вдохами.

На постах, где нельзя было развести костер, бойцы в такие морозы сменяли друг друга каждые два часа. Такая смена часовых в длиннополых тулупах поверх дубленых полушубков и в новых валенках происходила несколько раз, пока продолжался один бессменный рабочий день зэков, одетых в ватную рвань и обутых в утильные бурки. Удивительным было не то, что многие из них теряли сознание и умирали от переохлаждения, а другие получали жестокие обморожения, а то, что все они не погибали поголовно за один только подобный день. Кроме скрытой злобности и подлости, преступники обладали еще и удивительной живучестью. Вид их страданий не только не вызывал сострадания, но даже озлоблял бойцов еще более. Каждый объяснял эту злобность своей политической принципиальностью. И никто не понимал, что человек автоматически начинает ненавидеть того, кому он причиняет зло. Здесь же, кроме этого, в людях специально воспитывалась жестокость и ненависть, как воспитывается она в некоторых породах служебных собак.

Подобранные, как и всюду, главным образом по признаку малограмотности и невежественности, нередко связанных с природной тупостью, бойцы на Каньоне быстро дичали. Это одичание ускорялось еще почти полным отсутствием в этих краях женщин. Сытые и здоровые парни тосковали по ним, и от этого у некоторых просыпались скрытая до поры жестокость и садистские инстинкты. Обязанности конвоира нередко сочетались здесь с обязанностями палача.

Гизатуллин скоро стал одним из самых жестоких и злых вохровцев Каньона. Он мог часами держать на морозе две-три сотни своих усталых и голодных подконвойных только потому, что недосчитывался одного из них. При этом он знал почти наверное, что не явившийся на место сбора бригад после окончания работы заключенный просто свалился где-то от

переохлаждения и замерз. Упавших на дорогу и не способных более двигаться татарин пинал ногами и бил прикладом, выкрикивая при этом срывающимся голосом нерусские ругательства, хотя тоже знал, что упавший все равно уже не поднимется. Однажды он выстрелил в заключенного, свалившегося с края невысокого обледенелого откоса и откатившегося на два-три метра в сторону. Он имел право застрелить его на основе принципа: шаг влево или вправо из строя считается побегом, оружие пускается в ход без предупреждения. Хотя вскрытие показало, что смерть «беглеца» наступила не столько от пули, сколько от дистрофии и холода. У Гизатуллина с этого случая проснулась страсть к убийству. Стоя в оцеплении полигона, он зорко высматривал, не нарушит ли кто-нибудь из доходяг с полузатемненным сознанием условной зоны. Пересечение границ которой давало бойцу право пускать в ход оружие. Мог татарин застрелить и отставшего от строя доходягу на том основании, что тот может идти, но придуривается.

Начальственные благодарности перед строем за очередное проявление бдительности и принципиальной твердости Файзулла выслушивал с непроницаемым выражением на своей полумонгольской физиономии. Похвалы его больше не радовали и только лишний раз бередили тоскливое чувство какой-то странной неуверенности, что он поступает правильно. Нельзя сказать, что это были угрозы совести, ведь пролитая им кровь была «черной». Но и она, оказывается, могла мстить за себя этой злой, неопределенной тоской.

* * *

Только раз, уже в конце второго года своей службы на Каньоне, Файзулла пожалел, что совершил промах, хотя стрелял в тот раз он вовсе не по врагу народа, как обычно. Это был самый настоящий друг народа, как называли некоторых из уголовников все те же ироничные контрики. Выстрел по нему был оправдан куда менее, чем, например, приканчивание свалившегося под откос доходяги. Этот выстрел был одним из звеньев той цепи событий, подчас маловажных самих по себе, которые привели татарского парня к его трагическому концу.

В промывочный сезон, самый ответственный на всяком прииске, рабочий день для заключенных удлинялся до шестнадцати и более часов. Что истощенные люди, да еще на тяжелой работе, продержаться столько времени без пищи не могут, понимало и лагерное начальство. Но терять драгоценное здесь теплое время на вождение заключенных в лагерь и обратно ради куска хлеба и миски баланды оно тоже не хотело. Поэтому в течение лета и хлеб и баланду возили к ним на полигон. Стоя в оцеплении этого полигона, Гизатуллин ежедневно пропускал на него телегу с оцинкованным жбаном для баланды и несколькими мешками уже нарезанных паек. Лошадью правил немолодой, невзрачный с виду мужчина, исполнявший одновременно обязанности конюха при единственной лагерной лошадке, возчика и помощника лагерного хлебореза. Конечно, это был бытовик. Против его фамилии в коротеньком списке заключенных, имевших право на бесконвойное передвижение за пределами зоны, значилась статья 179-я Уголовного кодекса РСФСР. Файзулла знал, что статья 58-я является самой тяжелой из всех и означает контрреволюционное преступление, 132-я — воровство, 136-я — убийство. Все, что не было 58-й, сливалось в довольно серое понятие бытовых статей. Потому Гизатуллин, уже довольно много времени спустя после того как невзрачный возчик примелькался ему в ущелье Каньона перед въездом на полигон, поинтересовался, и то довольно вяло, что означает статья 179-я. Оказалось — конокрадство.

Вон оно что! Смирный с виду мужик-возчик был одним из тех, кто безжалостно обездоливает бедных крестьян! В татарине вспыхнула мстительная ненависть. Это была не обобщенная, полуказенная ненависть к врагам народа, а вполне конкретная и острая, как будто именно этот конокрад свел лошадь у покойного уже отца Файзуллы.

В принципе тот действительно мог быть им, так как досиживал последний год из десяти лет срока, полученного им еще до коллективизации за кражу лошадей. К конокрадам, особенно в те годы, советское законодательство относилось гораздо суровее, чем к представителям всех других воровских профессий. Как-то особняком стояли конокрады и в лагере.

Ни блатная хевра¹, состоявшая главным образом из городских, ни лагерные придурки² их не жаловали и в свои общества никогда не принимали. И городских воров и лагерную аристократию шокировало специфически деревенская конокрадская статья.

Поэтому, хотя бывший конокрад за свой почти уже десятилетний срок не так часто вкалывал на общих, составлявших удел главным образом пойманных и осужденных контрреволюционеров, на теплых местечках в лагере он кантовался редко. Как и здесь, он обычно работал возчиком. Конкурентов на занятие этой должности у него не было. Настоящие лагерные придурки его гнушались, блатные обращаться с лошадьми не умели, а о доверии коня врагам народа не могло быть и речи. Работа на лошади была не очень легкой и не слишком сытной. Вот только сейчас, когда помощника старшего хлебореза на время промывочного сезона угнали на полигон, его замещал по совместительству все тот же возчик. Тут можно было, конечно, есть хлеб от пуза, но за это хитрый и обленевшийся старший хлеборез нещадно эксплуатировал своего временного помощника.

Проезжая, как обычно, к обеденному перерыву на полигон мимо стоявшего на своем посту попки-нацмена, возчик, конечно, не заметил, как недобро вслед ему у того сузились монгольские глаза. А на обратном пути в лагерь тот же часовой неожиданно загородил ему дорогу:

— Стой, давай пропуск!

— Какой пропуск? — удивился возчик. — Я ж в списке...

— Ничего не знай... Пропуск!

По действовавшему официальному положению о бесконвойном хождении заключенных каждый из бесконвойников был обязан иметь при себе пропуск, в котором указывалось, по какому маршруту и в какое время суток ему разрешалось такое хождение. Однако в местах, подобных Каньону, где злоупотребить правом выхода за зону было практически невозможно, это положение обычно не соблюдалось. Податься здесь было некуда, небольшое число расконвоированных отлично знали в лицо все постовые, у каждого из которых имелся их список. И пока заключенный значился в этом списке, его не задерживали. Возиться же с выдачей настоящих пропусков местное начальство просто не хотело. С командованием дивизиона неофициально это согласовывалось. Рядовые бойцы о нарушении довольно важной инструкции, конечно, знали, но им-то было все равно. И даже выгодно, так как изредка они пользовались своим правом настаивать на предъявлении несуществующего пропуска для шантажа лагерных придурков. Обычно это было связано с неудовлетворенным требованием вохровца «подарить» ему что-нибудь вроде зеркала, мундштука или расчески, которые лагерная обслуга за кусочек хлеба или махорочную закрутку выменивала у только что прибывших этапом с материка заключенных. Это была своего рода экспроприация экспроприированного, за которую некоторые бойцы не чувствовали моральной ответственности.

Татарин, однако, подобных замашек никогда не проявлял. Кроме того, для ломания комедии с пропуском требуется предлог в виде невыполненного «заказа» на какую-нибудь вещь. Никакого «заказа» от него не поступало. А главное, боец охраны не мог не знать, что последний этап из Магадана прибыл на Каньон больше месяца назад, значит, у фраеров отнято, выкрадено или выменено решительно все что было. Поведение часового казалось совершенно необъяснимым.

— Да я ж работягам пайки возил, гражданин боец!

— Возил, хорошо! А теперь пропуск давай!

— Да нет же пропуска, вы знаете...

— А нет, отъезжай вон туда и жди разводящего!

— Так мне ж в лагерь надо, пайки нарезать!

— Разводящему скажешь... Отъезжай!

— Так работяги ж голодными останутся...

Часовой отступил на шаг и взял винтовку наперевес.

— Выполняй приказание!

Возчик сокрушено отъехал в сторону. Какая муха укусила этого попугая? Просто вредный дурак? Но прежде он никогда не придирался к отсутствию пропуска и с явным равнодушием

¹ Хевра — воровская организация. (Здесь и далее прим. автора.)

² Придурок — в узком смысле работник лагерной обслуги, в широком — всякий заключенный, устроившийся на легкую работу.

пропускал повозку на полигон и обратно. Выходит, взъелся на него за что-то... Но за что?

«Разводящему скажешь...» Тот, конечно, прикажет пропустить возчика с его повозкой. Но это произойдет не раньше чем к вечеру. И тогда уже никак не успеть, даже вдвоем со старшим хлеборезом, разрезать и развесить на мелкие пайки добрых полтонны хлеба для вечерней раздачи. Ведь этот хлеборез, надеясь на своего прилежного помощника, небось спит сейчас или режется в козла с нарядчиком. Паек для вернувшихся с работы эзков не хватит, поднимется страшный скандал.

А вину за него хлеборез и его дружки, главные лагерные придурки, с которыми он мухлюет хлебом, свалят перед начальником на возчика. Запропастился, мол, куда-то до самого вечера. Можно, конечно, объяснить, что его задержал постовой из оцепления полигона. Но это самый короткий путь вылететь не только из хлеборезки, но и с должности «водителя» лагерной кобылы. Какой же ты, к черту, придурок, если с бойцом общего языка найти не можешь, даже числясь в списке имеющих свободное хождение? Другие-то этот язык находят! А управы на постового по официальной линии быть не может, формально он прав... Предстояла куча неприятностей. И все из-за этого узкоглазого дурака, которому попала сегодня какая-то вожжа под хвост...

Ишь, стоит, как истукан, со своей дудоргой!³ Эти звери — находка для лагерного начальства. Такому пришить человека — все равно что кочан капусты срубить. А попытаться его упротить или урезонить — то же, что порохом в стену стрелять...

А что если дать от него стрекача? До выхода из Каньона каких-нибудь двести метров. Поворот налево — и попка останется с носом! Если часовой подаст на возчика рапорт, что тот не послушался его приказа, можно будет ответить, что такого окрика он не слышал. Спешил-де на работу в лагерь и за стуком копыт не расслышал. Да и кто мог думать, что следующего по своему обычному маршруту бог знает в который раз лагерного хлебовоза постовой вздумает задержать? А что он лошадь выпряг и верхом скакал, так это по соображениям все той же скорости... Выстрел слышал (на случай, если татарин все же выстрелит), но считал, что это к нему отношения не имеет...

Объяснение будет, конечно, типично конокрадским: «Ночка была темная, а кобыла черная, уж и не знаю, как она у меня между ног очутилась...» Но опер и начлаг примут любое, поскольку будут на его стороне против формалиста попки. А в душе даже похвалят за лихость и находчивость.

В конокраде просыпался прежний сорвиголова времен его молодости. Он слыл тогда едва ли не самым отчаянным забулдыгой во всей своей округе, промышляя уводом лошадей почти с гражданской. Тогда редко у какого мужика не было винтовки или обрезка, и удирать под пулями приходилось не раз. Сейчас же сделать это можно почти безопасно. Взять с места в карьер вон оттуда, где под стеной ущелья растет немного травы, и скакать впритирку к этой стене. Пока часовой опомнится, половина расстояния до поворота будет уже позади. Потом он даст предупредительный выстрел — без этого нельзя. Потом перебежит на другую сторону Каньона, но к этому времени умный беглец будет уже за поворотом...

Возчик, до этого меланхолично копавшийся в лошадиной упряжке, подошел к постовому на дозволенное расстояние и почтительно снял шапку.

— Гражданин боец!

— Ну? — Гизатуллин смотрел в сторону и всем своим видом показывал, что разговоры с ним о разрешении ехать в лагерь бесполезны.

— Разрешите лошадь вон туда отвести, — возчик показал рукой на место в направлении выхода из Каньона, — пусть попасется...

Конокрад, оказывается, неожиданно быстро смирился с необходимостью торчать тут, срывая работу по заготовке паса. Думает, наверно, что сегодняшней задержкой дело и ограничится. Нет, это повторится и завтра и послезавтра,

пока негодяй не потеряет свою блатную работу. Пусть-ка повкальвает на полигоне. Возможно, что начлаг и командир дивизиона будут даже уговаривать бойца прекратить свои придирки к хлебовозу. Но свои права постового он знал хорошо, и тут ему никто не указ.

Файзулла, прищурясь, посмотрел в сторону, куда показывал возчик. Там, под стеной Каньона зеленело несколько чахлых кустиков травы. Потом пожал плечами — пастбище было не ахти какое, — но махнул рукой: разрешаю, мол.

Конокрад не торопясь выпряг лошадь и отвел ее к стене ущелья. Некоторое время Гизатуллин смотрел, как он похлопывает по шею пасущееся животное, а потом повернулся в другую сторону.

Через минуту постовой услышал громкое гиканье и топот лошадиных копыт. Ухватившись за гриву и пригнувшись почти к самой этой гриве, беглец отчаянно колотил свою лошадку ногами.

— Стой!

Эхо выстрела гулко загуляло между стен Каньона и по окрестным сопкам. Второй выстрел Гизатуллин сделал из положения лежа, так почти не мешали выступы на стене ущелья, но лихой конокрад уже сворачивал на дорогу к лагерю.

— Ах, шайтан! — Стрелок злобно стукнул прикладом по камню под ногами, он думал, что промахнулся. Гизатуллин не мог видеть, как уже за поворотом лошадка запрыгала как-то по-лягушачьи и через несколько шагов упала: подмяв под себя всадника. Раскаты выстрела заглушили и ее жалобный, тоненький вскрик, когда пуля угодила ей в бок, прострелив навзлет.

Нет ничего проще как списать погибшего в лагере заключенного. В стандартном акте о его смерти проставлялись почти такие же стандартные ее причины. Если человек умирал от изнурения зимой, то указывалось, что он скончался от переохлаждения. Круглый год удобной, почти универсальной причиной служил «паралич сердечной деятельности». Все застреленные были убиты «при попытке к бегству», а в некоторых случаях — «при нападении на бойца». Допускались и варианты. Но никогда в лагере при оформлении умершего не возникало никаких затруднений.

Другое дело — лошадь, как и всякая материальная ценность, она занесена в бухгалтерские книги с точным обозначением ее стоимости в рублях и копейках. Оформить исчезновение этой ценности так просто, как оформлялось исчезновение из жизни человека, было нельзя. Там хватало клочка бумаги, нацарапанного лагерным лекпомом. Здесь был необходим обстоятельный акт, составленный авторитетной комиссией при обязательном участии ветеринарного врача и свидетелей гибели животного. Следовало установить, по какой статье должны быть списаны понесенные лагерем убытки и кто несет за эти убытки персональную ответственность.

Начальство, лагерное и конвойное, злилось одинаково сильно на обоих дураков, бойца и заключенного. Формально, однако, обвинить их было трудно, по крайней мере без неприятностей для самого начальства. Постовой ссылался на инструкцию о пропусках для бесконвойных, которую здесь нарушали; заключенный дал свое конокрадское объяснение, опровергать которое было нечем и незачем. Кроме того, конокрад был и так достаточно наказан за рецидив своей былой лихости. С простреленной ногой он лежал в лагерной больнице. Гизатуллин не только не сожалел о случившемся, но испытывал на этот раз настоящее удовлетворение. Он отомстил-таки ненавистному конокрадскому племени за старое горе своей семьи. И притом гораздо лучше, чем рассчитывал. Жаль только, что взял слишком низко и ни за что сгубил бедную животину.

Историю с подстреленной лошадью как-то замяли. Но вскоре после нее Гизатуллин получил приказ отправляться в Магадан, в распоряжение главного штаба ВОХР.

Вообще-то в этом не было ничего необычного. Перемещение бойцов охраны производилось постоянно и преследовало несколько целей. Прежде всего нужно было периодически разрушать связи, неизбежно устанавливающиеся между людьми, даже если один из них заключенный, а другой охранник. Затем, было бы несправедливо одних бойцов держать все

³ Дудорга (лаг.) — винтовка.

время в таких гиблых местах, как прииск Каньон, а других где-нибудь при сельхозлаге, например, в южной части края. Это гуманное соображение подкреплялось другим, куда более важным с точки зрения главного вохровского начальства. В сельхозлагерях Дальстроя, как и всюду в лагерях легкого труда, режим был неизбежно слабее. Постепенно в них распускались не только заключенные, но и бойцы местных охранных дивизионов. Поэтому считалось полезным время от времени производить замену обленевшихся и ставших не в меру благодушными охранников лагерей-«курортов» их озверевшими товарищами из лагерей основного производства. Это всегда способствовало восстановлению необходимой жестокости режима. Наконец, в отдельных случаях, к таким следовало отнести и случай Гизатуллина на Каньоне, действительной причиной удаления бойца из местного дивизиона была его нежелательность для начальства. Это был далеко уже не тот парень из колхоза, который внимал во времена своей службы в армии каждому слову командира как откровению или повелению свыше. Теперь он мог проявить иногда избыточную принципиальность, основанную на слишком буквальном толковании устава. И трудно было понять, отчего это происходит — от глупости или от затаненной хитрости. Лучше избавиться от него под таким благовидным предлогом, например, как его болезненная нервозность. Тем более что списание лошади производилось далеко не в точном соответствии с действительными фактами.

В Магадане боец из Каньона прошел медицинскую комиссию. Врачи нашли у молодого и внешне очень крепкого парня выраженные нарушения рефлекторных реакций и все другие признаки нервного истощения. Было решено отправить его в охрану недалекого сельхозхозяйственного лагеря, откуда как раз поступила заявка на нескольких бойцов.

— Послужите там годик-полтора, — сказал Гизатуллину председатель комиссии, врач в чине капитана, — и все эти ваши подергивания исчезнут. Там у нас что-то вроде курорта и для заключенных и для бойцов вроде вас...

Он засмеялся, а когда невысокий скуластый парень с монгольскими глазами отошел от стола, добавил вполголоса, обращаясь уже к своим коллегам:

— А нервы у этого татарина как у истеричной дамы... Не хотел бы я попасть к такому под охрану...

* * *

Галаганский сельхоз расположился на тех самых охотских берегах, которые почти два года назад поразили новичков на Колыме своей угрюмостью и чуждым видом. Правда, тогда была осень, а сейчас стояла только вторая половина лета. Но и в равных погодных условиях после Каньона с зубчатыми вершинами его мертвых сопков, казавшихся бастионами свирепых джигитов, здешняя местность выглядела почти приветливой. Совхоз с его полями, фермами и поселком вольных расположился в широкой долине реки Товуя, впадающей здесь в море. В той же долине находились и лагерь и казарма для охраны. Были здесь, конечно, и неизбежные сопки. Но они не лезли в глаза, как в других местах, так как с одной стороны долины были едва видны из-за расстояния, а с другой спускались к широкой реке. Сплошные заросли стланика на их склонах делали эти сопки красивыми и почти веселыми. По крайней мере в погожие летние дни.

Со стороны моря, до которого здесь было всего километра три, горизонт был совершенно открыт. До службы на Каньоне Файзулле и в голову не приходило, до чего важно для равнинного человека видеть эту линию границы земли и неба. Казалось, что легче было даже дышать, как будто от входа в подземелье отвалили закрывавший его камень.

Совершенно другими, чем на прииске, были здесь и заключенные. Движущихся скелетов с потухшими глазами здесь не было видно совсем. Полевые работы, хотя принято считать, что крестьянский труд один из самых тяжелых, это далеко не то, что каторга рудников и приисков. А главное, заключенных здесь досыта кормили. Было еще одно обстоятельство, которое может заметить только человек, долго проживший в местности, где не было женщин. Здесь они встречались на каждом шагу — и вольные и заключенные. И не будь Гизатул-

лин человеком аскетического склада, с фанатично инквизиционным представлением о роли лагерей, он бы, подобно всем попадавшим в эти места из колымской глубинки, такому обстоятельству только порадовался бы. Но Файзулле вид некоторых здешних лагерниц показался почти разухабистым для заключенных. Ведь они присланы сюда отбывать наказание, а не стрелять глазами в незнакомых мужиков!

Правда, по рассказам старослужащих здешней охраны, положение заключенных, да и не только их одних, резко ухудшилось со времени появления нового начальника лагеря. Он тут недавно, но уже успел проявить себя как почти чокнутый на строгостях лагерного режима. Хочет добиться таких же порядков, которые существуют в горных лагерях. Но там это образуется как бы само собой из-за сурового климата, трудностей снабжения, тяжести работы и прочего. Здесь же новый начлаг пытается организовать подобно условиям искусственным путем. Он какой-то малахольный, этот начлаг. За присказку, которую он употребляет к месту и не к месту, заключенные прозвали его Повесь-чайник.

Всех эзков этот Повесь-чайник старается загнать под конвой. Это в совхозе, в котором на целые километры вдоль Товуя разбросаны поля и фермы, сенокосные угодья, лесопольные участки, рыболовецкие пункты... Ничего путного из этого, конечно, не получается, одна только вредная канитель, особенно для бойцов здешнего дивизиона.

Раньше для них тут была служба не бей лежачего. Обязанности конвойных бойцы несли больше формально. Примешь, скажем, полевую бригаду на разводе утром, проводишь ее к полям за поселком и: «Разойдись по местам!» Эзки разбредутся по своим работам, а ты идешь себе к казарме и делаешь что хочешь до вечера. А в конце рабочего дня приведешь эзков на место сбора — все они, конечно, уже там — и: «В лагерь шагом марш!» Вот и вся работа, если не считать постов на вышках. Но их тут всего две. Ну а теперь по милости этого Повесь-чайника, черт бы его побрал, приходится в любую погоду целый день и в поле и в лесу торчать рядом с заключенными.

И ведь забота-то у нового начлага вовсе не о том, что заключенные могут куда-то убежать! Бежать с Колымы некуда. Кругом, как говорится, вода, а посередке беда... Но беда эта для заключенных здесь куда меньше, чем в других местах. Почти все они мечтают весь срок отбыть в сельхозлагере да и потом здесь остаться, даже при тех порядках, которые наводит сейчас нынешний начальник лагеря. Впрочем, считалось, что Повесь-чайник слишком многих восстановил здесь против себя, чтобы долго продержаться.

Больше половины здешних заключенных — женщины. Эзки-мужчины чуть не сплошь совсем уж пожилые или инвалиды. Молодых мужиков, после того как они немного оправятся после горных, здесь не держат, если у них тяжелая статья и длинный срок.

Главная забота у нынешнего начальника о другом. Он хочет сделать так, чтобы здешние лагерные мужики и бабы не могли любовь крутить ни между собой, ни тем более с вольниками из поселка. Ее, конечно, крутили и крутить будут. Но раньше если кто-нибудь из заключенных горел на этой любви, то спроса с его конвоира не было. Даже если допустить, что охранник и находится при своих подконвойных, разве может он уследить за всеми в поле, пересеченном заросшим тальником, ренушками и протоками, изгородями, защитными кустарниковыми насаждениями, канавами? Но теперь Повесь-чайник сам неслышно и незаметно бродит по окрестностям, как кот, высматривает, не шмыгнула ли какая пара в кусты. Во всех бригадах он завел стукачей, которые ему докладывают, кто с кем уединяется и какой из конвоиров этому попустительствует. На бойца накладывает взыскание, а некоторых уже отправили отсюда в дивизионы горных лагерей. Прежнего командира здешнего дивизиона по рапорту того же начлага сместили. Теперь какой-то новый, во всем согласный с Повесь-чайником молокосос Новая Метла. Вдвоем они наводят тут и новые порядки. Скоро, видно, доберутся до всех бойцов, которые служат здесь сколько-нибудь давно. Его, Гизатуллина, тоже прислали для замены одного парня, которого заподозрили не только в попустительстве по отношению

к женщинам-уголовникам, но и в связи с одной из них. Новичок, конечно, тут ни при чем, его дело служить, где скажут...

Но разговоры о Повесь-чайнике, Новой Метле на должности командира здешнего дивизиона и новых порядках были далеко не главной темой в казарме галаганских вохровцев. Гораздо охотнее бойцы говорили о здешних лагерниках-блатняках, составлявших, по их определению, около третьей части всех женщин-заключенных в местном лагере. Из-за них-то и горел главным образом сыр-бор. Правда, основную массу хлопот и неприятностей лагерному начальству и конвою доставляет только небольшая часть этих женщин. Но возни и хлопот с кучкой отчаянных баб больше, чем со всеми остальными заключенными здешнего лагеря, вместе взятыми. «Ну и оторвы!» — крутили головой вохровцы, но с таким видом, что понять, возмущаются или восхищаются они поведением этих баб, было невозможно.

Тема об «оторвах» казалась неиссякаемой. Обычно в разговоры о них вступали все, кто оказывался поблизости. Правда, говорили вполголоса, озираясь по сторонам и часто давась от смеха. Прежде Файзулла и вообразить себе не мог большей части того, о чем узнавал теперь. Он счел бы все это выдумкой или по крайней мере крайним преувеличением, если бы еще кто-нибудь удивился услышанному. Но рассказы о подвигах и непристойных выпадах блатнячек воспринимали здесь как нечто самое обыкновенное и разве только более обычного смешное. И никто поведением женщин особенно не возмущался, даже те, кто в результате очередного фортеля неумных и развратных баб сам получал крепкий нагоняй, а то и обещание быть отправленным отсюда к кулички.

Почти все рядовые вохровцы и здесь были холостяками. Возможность обзавестись семьей для подавляющего большинства бойцов на Колыме оставалась чисто теоретической. Такие места, как галаганский совхоз и еще два-три таких же, на громадной территории Дальнего Востока были лишь островками среди океана здешнего «безбабья». Но бойцам ВОХР и на них было мало радости. За исключением жен главных начальников, приехавших на Колыму со своими семьями, почти все остальные здешние женщины были доставлены сюда по этапу. Многие из них уже освободились из заключения, но женитьба служащих лагерной охраны на бывшей арестантке, пусть даже бытовичке, считалась крайне нежелательной. Против этого решительно восставало и командование отрядов, и комсомольская и партийная организации дивизионов ВОХР. Сближение же бойца с женщиной, отбывшей срок по контрреволюционной статье, являлось политическим скандалом, грозившим ему исключением из партии или комсомола, отчислением со службы ВОХР и высылкой на материк. Причем одного. Женщина, права которой после отбытия срока за контрреволюцию были более чем птичьими, оставалась на Колыме. В известном смысле половой голод среди бойцов, охранников этого лагеря, был острее, чем на каком-нибудь Каньоне. Там, по крайней мере, не было соблазна.

Проблему нехватки женщин на Дальнем Востоке, в том числе и на Дальнем Севере, пытались решить направлением в необжитые края добровольцев, откликнувшихся на призыв некоей Сватогуровой, комсомолки, возглавившей очередное «движение». Однако несколькими эшелонами «невест» движение сватогуровок и ограничилось. Скорее всего прекратить его сочло за благо само правительство. Возможно, в основе такого решения лежали политические соображения, края ссылки и каторги лучше было держать изолированными от остальной страны. Известную роль играло, вероятно, и то, что для женского труда в этих краях почти не находилось применения.

Несколько тысяч женщин оказались каплей в море. Своей мрачной славой Колыма отпугивала даже самых героических, перзрелых и некрасивых «невест».

Незаконная связь вольнонаемного с лагерницей, хотя формально считалась преступлением, рассматривалась обычно только как проступок с его стороны, если вольняшка был гражданином, так сказать, второго сорта, тоже отбывшим срок в лагере. Если же он в заключении не был, то такая связь накладывала серьезное пятно на его политическую репутацию, особенно если это была связь с контричкой. Для членов

партии и комсомола она влекла за собой безусловное исключение из этих организаций. Бойцу ВОХР такая связь угрожала судом военного трибунала. В лучшем случае, если вохровское начальство с немалым риском для себя решало дело до суда не доводить, провинившегося отправляли в такую дыру, благо в Дальстрое всяких дыр было не счесть, где, походящему здешнему выражению, десять лет ни одной живой бабы не увидишь.

В результате всех уродливых искажений жизни возможности удовлетворения полового инстинкта для сытых, здоровых и почти бездельничающих вохровцев-холостяков на Галагане почти не было. Близость распущенных, отчаянно сквернословящих, в принципе более чем доступных и все же остающихся запретным плодом женщин, конечно, разжигала эти инстинкты и усиливала обычную казарменную тягу к скабресным историям. В их выдумывании тут необходимости не было, происхождения местных блатнячек чуть не ежедневно давали более чем достаточно пищи для подобных историй.

Оказалось, что здешние бойцы давно привыкли ко всяким шуточкам и выходкам своих подконвойных даже в собственный адрес. И добро бы только к скабресным. Нередко они были и по-настоящему оскорбительными. И конвоиры это не только сносили, но и сами отвечали бабам непристойными шутками, конечно, только тогда, когда поблизости не было начальства или посторонних. За сотую долю того, что бойцы прощали женщинам, каждый из них избил бы прикладом заключенного-мужчину или подал на него рапорт за нарушение в строю дисциплины. Файзулла этого понять не мог, так же как и терпимости своих новых товарищей к здешним порядкам вообще. Лагерь должен быть лагерем. В душе он был вполне согласен с намерениями нового начальства, которое именно за это так здесь невзлюбили.

И уж совершенно за пределами понимания деревенского парня из магометанской семьи была терпимость бойцов к падшим женщинам. Мужчине сносить оскорбления от какой-нибудь воровки или проститутки, твари, которая и права жить на свете не имеет?! Файзулла слушал рассказы о здешних бабах хмуро и неодобрительно. А однажды, прослушав чей-то рассказ о том, как одна из его подконвойниц под хохот остальных, раздевшись до пояса, дразнила его великолепной грудью: «Эй, гражданин боец! Слабо поцеловать, а?» — он не выдержал: «Чего слушаешь? Стрелять таких надо!»

Все перестали смеяться и устали на Гизатуллина как на дурака. Гляди, какой шустрый выискался! Здесь, если на каждый бабий выкрик стрелять будешь, патронов не напаешься! Вслух тогда никто ничего не сказал. Но после этого замечания строгого татарина разговоров при нем о бабах больше не велось. Дурак нередко оказывается еще и стукачом.

А свои люди в казарме ВОХР у нового командира здешнего дивизиона, наверно, были. Во всяком случае, оказалось, что о настроениях своего нового бойца, уже несколько дней несшего дежурство на лагерной вышке, он знает. Выслушав от Гизатуллина обычное: «Явился по вашему приказанию, товарищ младший лейтенант!» — командир дивизиона поднялся ему навстречу, подал рядовому бойцу руку и пригласил сесть. Затем он сказал, что возлагает большие надежды на вновь прибывающих бойцов, прежде всего на таких, как товарищ Гизатуллин, по части укрепления дисциплины в своем отряде и восстановления режима в здешнем лагере.

Особенно скверно обстоит дело с режимом в женской штрафной бригаде. В таких бригадах он должен быть достаточно жестким, иначе перевод в них нарушителей установленного порядка теряет всякий смысл. Но если у мужчин-штрафников некоторый порядок навести уже удалось, то в бригаде самых отъявленных здешних нарушительниц особыми достижениями покамест похвалиться нельзя. Все из-за попустительства здешних бойцов, которых приучило к этому их прежнее начальство. Они привыкли смотреть на обязанности конвоиров почти как на пустую формальность. Позволяют, например, штрафным, которые должны сидеть на урезанном хлебном пайке, получать передачи от своих дружков на поселке. Случается, что такие «не замечают» даже свиданий своих подконвойниц с мужчинами. Некоторые — тут коман-

дир понизил голос — и сами подозреваются в связях с заключенными женщинами. Таких, конечно, откомандировываются отсюда, хотя некоторых из них следовало бы, пожалуй, отдать под суд.

А вот в твердости и принципиальности товарища Гизатулина командир дивизиона уверен. Он не сомневается, что это и есть тот человек, который необходим тут для конвоирования женской штрафной бригады. В этом командира убеждает и личное впечатление от нового бойца, и его служебное дело. Принять свою бригаду ему надлежит уже завтра, на утреннем разводе. С местом, куда следует отвести штрафниц, и маршрутом до этого места Гизатулина ознакомит сегодня разводящий здешнего отряда, младший сержант.

Особых наставлений по части конвоирования женщин не будет. От конвоира штрафных требуется только особо строгое и неукоснительное соблюдение уставов и инструкций конвойной службы. Именно потому, что обучать этому такого опытного бойца, как Гизатуллин, не приходится, ему и доверяется ответственное и важное дело.

— Можете идти! — Командир поднялся и опять протянул бойцу руку.

Польщенный вниманием начальства, тот пожал эту руку, потом взял под козырек и вытянулся. В Файзулле на некоторое время проснулся прежний, почтительный к своему начальству солдат, готовый в таких случаях выкрикнуть: «Служу трудовому народу!»

Но уже разыскивая разводящего, он как-то засомневался в почетности полученного сейчас поручения и почувствовал, что предпочел бы ему любое другое. Трудно было отделаться от впечатления, что вооруженному мужчине почти зазорно охранять женщин. Такому настроению Гизатуллин пытался противопоставить все сказанное младшим лейтенантом и собственное убеждение в том, что здешних блатнячек надо как следует одернуть. Он их поставит на место, этих избалованных попустительством прежних конвоиров преступниц, забывших, что они несут здесь наказание за свои скверные дела! И притом гораздо меньшее того, которое заслужили. Гизатуллин не сомневался, что закон по отношению к ворами и прочей шпане слишком мягок.

* * *

Громче и пронзительнее голосов женщин в лагерном конде¹ был, наверно, только гвалт птичьего базара на прибрежных скалах в устье Товуя. Если в этом шуме и можно было различить иногда отдельные слова, то почти все они относились к разряду самых «последних» или весьма близких к ним.

В тесноте и толкотне небольшой камеры, две трети которой занимали сплошные трехъярусные нары, больше двух десятков женщин одевались, разыскивали свои вещи и по очереди умывались над парашей, сливая друг другу из большой кружки. Женская штрафная бригада готовилась к выходу в лагерную столовую и оттуда на развод. Уже около двух недель эта бригада в полном составе была выселена из общего барака в женской зоне и водворена в кондей.

Эта изоляция самых отчаянных здешних отказниц и потаскушек от их окружения не только на работе, но и в зоне была, наверно, самым чувствительным ударом, который нанес им новый начальник лагеря. Повесь-чайник планомерно разрушал одну за другой все преимущества галаганского сельхозлага, создавшие ему славу «эзовского рая» от Охотского моря до моря Лаптевых.

За отказ от работы и связь женщин с мужчинами накладывали, конечно, взыскания и прежние начальники. Но что это были за взыскания? Три, от силы пять суток кондея с выводом на работу. Блатнячки смеялись, что им все равно где работать, лишь бы ничего не делать. Наказанных карцером уводили в него только после отбоя, да еще разрешали захватить с собой одеяло и подушку. А что касается штрафного пайка для отказниц, то он отражался разве что на бланках котловок в лагерной бухгалтерии. Не только опытные сердеедки, имевшие многочисленных дружков и среди лагерных придур-

ков, и на поселке, и даже в отряде ВОХР, но и те, что честно вкалывали за начальничкову пайку, никогда прежде здесь не голодали. Даже когда появился этот чертов Повесь-чайник и основательно прижал заключенных по всем статьям, его реформы почти не отразились на благополучии лагерных шмар. Тогда самых активных из них выделили в особую бригаду и взяли под конвой. Возможность уединиться с кем-нибудь из богатых клисентов для них резко снизилась. Но те помнили счастливое прошлое и надеялись на лучшее будущее. Поэтому некоторое время продолжали носить своим подружкам и их товаркам гостинцы на то место в поле, где они «откатывали вручную солнце» или разгоняли по этому полю дым от костра. Повесь-чайник ответил запретом не только принимать передачи на месте работы, но и подходить посторонним на винтовочный выстрел к тому месту, где находилась штрафная бригада. Но он не мог конвоирам запретить смотреть как раз в другую сторону, когда какой-то случайный прохожий ронял невдалеке от этой бригады пакетик или узелок. Узелок непременно заваливался в кустик или под кочку, и женщины так же случайно находили его через несколько минут, чего конвойный опять не замечал. Но сами покладистых из бойцов начали переводить на другие посты, а некоторых и вовсе угонять отсюда: по-видимому, в бригаде завелись стукачи. Тех, которые их сменили, благодетельная конвоирская слепота уже почти не посещала. Бригадницы, правда, продолжали еще находить иногда под кустами свертки со съестным. Но теперь и впрямь только тогда, когда конвоир зазевался. А главное, эти свертки становились все более редкими и тощими. Бывшие клиенты из вольных почти уже потеряли надежду на поставку женской любви из лагеря в сколько-нибудь определенном будущем.

Место булок и масла в рационе лагерных красючек все больше занимали хлеб-чернушка и суп из общей тошнилочки. Да и то при условии, что кто-нибудь из придурков сумел обмануть бдительность дежурного надзирателя. Блатнячки уже не швыряли на глазах у начальства своих трехсоток в угол. Многие из них впервые за свой срок начали по-настоящему ощущать голод. Особенно после того как из общего барака штрафниц отселили в карцер. Ходить по лагерю им теперь совсем не разрешалось. Столовую для получения своего скудного рациона они посещали под конвоем надзирателя только всей бригадой и только когда там никого больше не было.

Для галаганского лагеря подобная изоляция большой группы заключенных была новостью, хотя почти всюду в других местах она являлась обычной принадлежностью режима. Для этого служили БУРы (бараки усиленного режима), находившиеся в особых зонах и особо охраняемые. Здесь БУРа не было, и это упущение сейчас наверстывалось срочным строительством двух БУРов, мужского и женского.

Штрафники теперь даже хотели, чтобы строительство поскорее закончилось. В бараках будет хоть попросторнее, чем в тесных камерах изолятора, как официально именовался лагерный карцер. Мужскую штрафную бригаду угнали, правда, на далекую лесную командировку. Женщин отправить было некуда, и после ночи, проведенной в тесноте и духоте кондея, они толкались в узком проходе между стеной и нарами, мешая друг другу и отчаянно матерясь по всякому поводу и без повода.

Женщины-уголовницы сквернословят гораздо больше, чем самые заядлые матерщинники-мужчины. Это один из способов проявления лихости и принадлежности к блатной касте. Существовали у блатных и другие внешние признаки этой принадлежности. Например, манера одеваться, своего рода почти форма. У мужчин в идеале это был костюм этакого Ваньки-ухаря, сидельца из купеческой лавки прошлых времен: высокие сапоги с гармоникой внизу голенищ, рубаха чуть не до колен, лучше всего алого или красного цвета, поверх нее жилетка без пиджака и на голове картуз с пружиной. В этом костюме делалось только одно маленькое, но обязательное дополнение: верх голенищ отворачивался наружу, как у ботфортов. Конечно, полная блатная форма была редчайшим явлением на фоне лагерной нищеты, ее заменяли обычно только отдельными элементами, выпуском нижней рубахи изпод обычной телогрейки и отворотом голенищ у лагерных бурок. Особенно усиленно старались подчеркнуть таким способом свою принадлежность к воровской хевре блатные помо-

¹ Кондей (блатн.) — карцер.

У женщин-блатнячек их манера одеваться не имела столь классического образца, как у мужчин, и носила признаки явного эклектизма. Из-под цветного, по-старушечьи повязанного платка у них выглядывала обязательная белая косынка, едва только не закрывающая бровей. Почти такими же обязательными были у них длинные штаны, иногда пошитые в форме шальвар. Поверх штанов непременно надевалась узкая и донельзя короткая юбочка.

Ругань и сквернословие среди блатных женщин сами по себе еще не служат признаком особого раздражения и дурного настроения. Но сейчас в штрафной бригаде было и то и другое. Ощутимо сказывалось голодание, эти ночи, проводимые в тесном кондее с его клопами и парашной вонью, скучное торчание в поле с раннего утра и до позднего вечера без возможности даже перекликнуться с каким-нибудь мужичонкой. Поэтому в обычно бессмысленной ругани блатнячек теперь часто слышалась и неподдельная злость, переходившая иногда не только в ссоры, но и в драки.

Штрафницы торопились. Вот-вот должен был явиться надзиратель, чтобы отвести женщин в лагерную столовую за получением начальничковой трехсотки и миски супа, в котором «крупина за крупинкой гоняется с дубиной». Теперь этими дарами лагеря они отнюдь не пренебрегали. После столовой под наблюдением того же надзирателя бригаду вели на развод и ставили сму в самый хвост. Штрафницы выходили на работу последними.

Из всей бригады сейчас не проявляли никакой суетливости только две женщины, и в остальном совершенно не похожие на всех других. Они встали и умылись раньше прочих и теперь сидели рядышком на краешке нар, старая и очень молодая. Пожилая, крестообразно сложив на коленях загрубелые руки, что-то шептала тонкими бескровными губами. Молоденькая сидела потупясь, как будто разглядывая свои огромные, совсем не по размеру ее маленьких ног, грубые лагерные башмаки.

— Эй, святые! — крикнула дородная, полуголая, густо татуированная девка с пышной грудью, которой другая сливала над парашей воду. — Как думаете, будет мне на том свете скидка за эти титки? Без греха ведь с такими все равно не проживешь?

Это была Анюта Откуси Ухо, лихая, веселая и остроумная баба. Кругом визгливо захохотали.

Старуха продолжала неслышно что-то шептать, молодая потупилась еще больше.

— Не мешайте святым молиться! — сказала маленькая и чернявая блатнячка, лицом и быстрыми, вихлястыми движениями чем-то смахивающая на обезьянку. — Может, они своего бога молят, чтобы он нам жратвы мешок и во таких мужиков послал... — Чернавка сделала непристойный жест. Смех стал еще грубее и громче.

— Гляди, Макака, вот скажу Богине, что ты святых обижаешь, она те чертей пропишет! Не посмотрит, что ты у нее шестерись... — Лицо и губы у Бомбы были пухлыми и казались надутыми, как у обиженного ребенка. Но ее глаза смотрели решительно и мрачно. Невысокая, по-мужски широкая в плечах, она и в самом деле отличалась редкой для женщины силой. А главное, Бомба обладала решимостью и незаурядной смелостью, доходившей подчас до отчаянности. Эти качества в сочетании еще с предприимчивостью сделали ее одной из главных заводил женской части галаганской хевры. За это ей прощали даже нетерпимую для законницы⁵ любовь к вохровскому солдату. Тем более что за эту любовь бывший конвоир женской штрафной бригады был очень покладистым и по отношению ко всей этой бригаде. Никто из блатных, конечно, слыхом не слыживал, видом не видал, что там было у Бомбы с ее вохровцем. Но с неделю назад его перевели на другой пост, потом с попутной баржей и вовсе отправили куда-то далеко отсюда. Для бригады это было большой бедой, так как охранников теперь меняли чуть не

каждый день, сны, видимо, были порядком напуганы, и получить гостинцы от вольняшек удавалось лишь изредка и с трудом. Бомба же переживала разлуку со своим любовником и вовсе тяжело. Как всегда, это выражалось у нее в виде повышенной агрессивности и склонности лезть в драку. Теперь вот взяла под защиту «святых», до которых, вообще говоря, ей не было дела.

Понимала это и Макака. И хотя, несмотря на свою плюгавость, всякой другой бы она ответила дерзостью, тут сделала вид, что ищет что-то под нарами: «Кто их трогает, твоих святых?» С Бомбой шутки были плохи.

Одна из «святых» была евангелисткой, другая — субботницей. В штрафную бригаду эти женщины попали за отказ от работы, хотя работниц трудолюбивее их во всем лагере не было. Дело шло об отказе работать в праздники. Одна считала грехом выходить на работу в субботу, другая — в воскресенье. И хотя в течение остальных дней недели они в три раза перекрывали недовыработку, образовавшуюся в результате их прогула, сломить религиозный фанатизм сектанток лагерное начальство считало своей политической обязанностью, как средневековые инквизиторы — упрямство еретиков.

Те отвечали героической принципиальностью, вряд ли даже связанной с подлинной убежденностью, что религиозный запрет не может быть нарушен никогда и ни при каких обстоятельствах. Позиции отказчиц, как блатнячек, так и религиозных, при всем различии их морали и психологического склада сходились на принципе «не поддадимся!». Если взглянуть на дело с точки зрения практического смысла, то его в поведении блатнячек было не больше, чем у фанатичек-сектанток. Работа в поле или на ферме, выполняя которую здешние заключенные жили в относительно человеческих условиях, вряд ли была труднее, чем целодневное сидение на том же поле под холодным дождем, на голодном пайке, с последующей ночевкой в карцере. Но смириться перед репрессиями, быть загнанными в стадо покорных рогатиков означало бы капитуляцию принципиальных бездельниц перед антихристом лагерной дисциплины. Твердость иных уголовных законников в их отказе подчиниться этой дисциплине многих из них доводила до гибели от истощения. Их вера имела своих мучеников не меньше, чем всякая другая.

— Хорошо бандерше, — вздохнула худенькая, тощая девчонка. — В бараке ночует. Начальство...

— Это ты Богиню бандершей называешь? — Вынужденная ступешаться перед Бомбой, задиристая Макака была не прочь отыграться на шуплой, испитой девахе.

— Бандерша и есть! А ты у нее шестерка!

— Я шестерка?

— А то я, что ли? Почему бригадириша со своей бригадой не ночует? Койку в бараке ей подавай...

— Бригадирю это разрешается! А Богиня только вчера осталась в лагере, да и то потому, что к лекпому нужно...

— Знаем мы, кто у нее лекпом! Митька-староста ей переписал с повторином прописывает...

— Да уж с такой драной, как ты, Митька жить не станет!

— Сама драная, шестерка!

В ответ Макака яростно накинулась на желчную бригадницу, у которой, видимо, были свои счеты с бригадиром штрафниц, носившей претенциозно звучащее прозвище Богиня. Обвинение в том, что она шестерит у бригадириши, было не только оскорбительным, но и несправедливым. Богиня и Макака являлись подругами-неразлучницами, на редкость для женщин преданными и верными друг другу, хотя одна была вертлявой маленькой уродинкой, а другая пышнотелой степенной красавицей. Их дружба была своего рода единством противоположностей, как выразился пожилой здешний контрик, бывший вузовский преподаватель.

— Вылетай в столовую! Быстро! — За открывшейся решетчатой дверью в коридор стоял дежурный по изолятору. В начавшейся толкотне сцепившихся в драке бабенок разъединили.

⁵ Законник (*блатн.*) — профессиональный уголовник, строго соблюдающий неписанные законы и традиции воровского общества.

* * *

Богиня, рослая высокогрудая красавица русского типа, полулежала на своей койке в углу, уже одетая в телогрейку и шаровары с неизменной короткой юбкой. Ее постель с целой горой подушек тоже была застлана. Койки, а не нары, правда, только в бараках бытовиков и бытовичек, являлись еще одной особенностью здешнего сельхозлагеря по сравнению с громадным большинством других колымских лагерей. Было похоже, однако, что нынешний нацлаг вскоре ликвидирует и эту роскошь как не соответствующую духу мест заключения.

Внешность бригадира самой отчаянной из здешних женских бригад совершенно не соответствовала представлению ни о должности, ни об уголовном прошлом бывшей хозяйки воровской малины и профессиональной сводни. Но именно за содержание притона, перепродажу краденого и сводничество и получила свой срок эта женщина с подчеркнутым выражением достоинства на открытом, правильном лице и с плавными, спокойными движениями. Срок был ни мал, ни велик — семь лет — и уже подходил к концу. Богине перевалило за тридцать.

Она обладала недюжинными организаторскими и дипломатическими способностями, очень пригодились ей и в лагере. Бывшая бандерша и малинница чуть не с первого дня в этом лагере возглавляла бригады самых отъявленных и распушенных блатнячек-отказниц. В обращении с ними ей пригодились прежний опыт, который еще приумножился за годы заключения. Великолепное знание повадок и нравов женщин-уголовниц помогало Тимковой почти всегда находить с ними общий язык и вскоре сделало ее незаменимой командиршей разнузданных баб.

Она всегда умела претворить особо отчаянные выходки с их стороны, а нередко даже заставляла их приносить совхозу существенную пользу, не прибегая при этом ни к каким мерам понуждения. Года два назад она вызвалась ехать со своей бригадой на сенокос. И притом не только для сгребания сена, хотя заставляла женщин работать косой в те времена не разрешалось. Тимковцы брались самостоятельно выполнить бригадный план сезона по сенокосению, если им разрешат, как и другим группам заключенных на сенокосе, жить на своем участке без охраны. После некоторых колебаний начальство согласилось на рискованный эксперимент. К немалому его удивлению, блатнячки не только не отлучались никуда с островка в дельте Товуя, на котором их поселили, но скосили и заскирдовали на нем все сено, намного перевыполнив план. Для не знавших одного важного секрета это казалось невероятным. А секрет заключался в том, что основные работы по сенокосению выполнили «женихи», то есть клиенты, право которых на любовь обуславливалось требованием скосить определенный участок луга. Организатором этого дела была, конечно, Тимкова, она и тут оставалась бандершей.

Нечего и говорить, что с приходом сюда Повесь-чайника возможность всяких компромиссов с блатнячками исчезла. Теперь единственное, что могла сделать даже Богиня, это уговорить своих бригадниц выходить в поле, а не сидеть круглые сутки в кондее. Хотя они и там почти ничего не делали, предполагалось, что, сидя возле граблей или тяпок, принципиальные тунейки исправляются трудом.

В бараке бытовичек было довольно чисто. С первого взгляда становилось ясно, что здесь живут женщины. По многочисленным украшениям на стенах и на тумбочках возле коек можно было безошибочно судить о вкусах и даже нравах этих женщин. Правда, открыток, цветных картинок из журналов и фотографий над койками почти не было. При бесчисленных этапных шмонах их почему-то отбирали даже у бытовиков. Зато было много аляповатых картин лагерных художников, выполненных на кусках фанеры от посылочных ящиков или на загрунтованной мешковине. Картины изображали плавающих лебедей, замки в горах над голубыми озерами, целующихся голубков и тому подобные сюжеты, скопированные чаще всего с дореволюционных почтовых открыток, нередко по памяти.

Но главным украшением барака была большая картина, висевшая над койкой Богини. На проклеенном полотне, сшитом по крайней мере из двух мешков, художник изобразил

чернобородого цыгана, по-турецки сидевшего на узорчатом ковре. Из-под расстегнутого богатого кафтана виднелась кумачовая рубашка цыгана и широкие синие штаны, заправленные в начищенные сапоги бутылками. Цыган держал в руке кубок и, по-видимому, произносил тост, хотя на своем ковре был совершенно одинок.

У видевшего эту картину впервые она неизменно вызывала недоумение. Почему для пира в одиночку понадобилась такая пышная сервировка? Ковер был густо заставлен блюдами с едой, кувшинами и кубками. Почему через плечо у цыгана повешена кривая запорожская сабля, создающая для посуды на ковре постоянную опасность быть опрокинутой? А главное, почему его приветственный жест обращен к морю, густо синевшему невдалеке за невысокой белой балюстрадой?

Однако все, кто жил в этом бараке, знали, что цыган на картине и не цыган вовсе, а Степан Разин. И что еще недавно лихой атаман пировал не в одиночку, а в обществе персидской княжны, которая тоже держала такой же кубок, и они этими кубками чокались. Но, на свою беду, княжна была одета только в лифчик и узенькие плавки. Поэтому Повесь-чайник приказал ее закрасить, сохранив на полотне только изображение борца против бояр-эксплуататоров. Тогда же были сняты или закрашены многочисленные прежде изображения нимф и русалок. Все они так или иначе пропагандировали запрещенную в лагере любовь. Пытались уговорить начальника согласиться на присовку княжне платья. Тот нашел, однако, что это мало меняет дело. Поза княжны с головкой, нежно склоненной на Стенькино плечо, все равно наводила бы на грешные мысли. Да и сам Стенька с его здоровенным кубком явно пропагандировал пьянство, и только его революционное прошлое спасло донского атамана от замазывания. Вскоре Повесь-чайник, конечно же за связь с женщиной, угнал в горы и написавшего картину художника. Стенька осиротел совсем уж безнадежно.

Кроме бригадирши штрафниц, двух пожилых женщин, освобожденных от работы по болезни, и дневальной, в бараке никого сейчас не было. Все остальные ушли на развод. Тимкова не торопилась выходить, потому что ее бригаду выводили последней. О появлении этой бригады на лагерном плацу Богиню обещал предупредить староста.

Он торопливо вбежал в барак, по привычке не притворив за собой двери. Плотный, с багровой физиономией мясника, но благодушный и довольно покладистый парень, Митька сидел за растрату кооперативных денег. Он любил широкую жизнь и женщин, сохранив это пристрастие и здесь. Поэтому со времени появления в лагере нового начальника его положение как лагерного старосты становилось все более неустойчивым. В последнее время Митька был почти постоянно чем-то озабочен и хмур.

— Слушай,— сказал он Богине, неторопливо поднявшейся ему навстречу.— С сегодняшнего дня к вашей бригаде приставлен постоянный конвоир. Тот, которого на днях вместо Бомбиного хахалю сюда привезли. Нацмен и, по роже видно, тот еще волк. Так ты скажи своим шмарам, чтоб не очень языки распускали, этого взять на крючок им вряд ли удастся...

— Ладно, не таких видали...— Голос у бригадирши был низкий и тягучий, под стать всей ее важной медлительности.

— И на плац скорей иди! Там две твоих драку затеали, верещат на весь лагерь...— Староста убежал, снова оставив дверь незакрытой.

* * *

Гизатуллин стоял в группе бойцов с винтовками, ожидавших выхода из лагеря своих подконвойных. По мере того как бригады выходили из ворот, конвоиры расписывались в их принятии по числу людей и шли позади бригады или несколько сбоку от нее. Формальностей, какие согласно конвойному уставу полагалось соблюдать при составлении этапов заключенных даже на самые близкие дистанции, видимо, не очень-то придерживались и теперь. Вообще развод носил тут совсем другой характер, чем на Каньоне или на любом другом прииске. Там из ворот лагеря выползала длинная, порой в добрую тысячу человек, колонна заключенных. После но-

вого пересчета уже по эту сторону ворот и чтения молитвы про то, что «шаг влево или вправо считается побегом», следовала команда двигаться. Растянувшись вдоль колонны в редкую цепочку, рядом с ней по обе ее стороны шли конвоиры. На полигоне работяги расходились по своим местам убого конвоя, а конвоиры становились на посты в оцеплении этого полигона. Кроме горнорабочих, из лагеря выходила небольшая кучка бесконвойных мазутчиков, обслуживавших местную электростанцию и гараж. Это происходило уже позже, после утреннего обхода лагеря, при котором всегда выявлялись темницы, пытавшиеся отлынивать от работы, забившись под нары, в подполье или на какой-нибудь чердак.

В сельхозлагере развод разбивался на множество отдельных, часто совсем небольших, групп заключенных, занятых на самых разных рабочих участках, прихотливо разбросанных на огромной территории совхоза: полях и фермах, лесосеках, плотницкой и бондарке, гараже и кузнице, пунктах по засолке и копчению рыбы, бойне и колбасной «фабрике». К каждой из них был теперь приставлен боец, отвечающий, по мысли нынешнего начальника лагеря, не только за сохранность своих подконвойных, но и за их поведение.

А ждать от этих людей, судя по их виду и настроению даже на разводе, следовало всякого. Если на Каньоне на разводе слышались только голоса конвоиров и надзирателей, то здесь, несмотря на окрики дежурного, заключенные разговаривали между собой, шутили и даже перекликались из бригады в бригаду.

Файзулла испытывал сейчас волнение, похожее на то, которое он уже переживал однажды, когда вот так же в первый раз ждал на Каньоне выхода из лагеря своих подконвойных. Но там это было волнение совсем другого рода. Он готовился охранять; как был уверен, опасных и коварных преступников. Это было дело, вполне достойное звания солдата и, как его уверяли, даже почетное. Здесь же, несмотря на вчерашний разговор с командиром отряда, Гизатуллина снова брало сомнение, так ли уж почетна его должность вроде бы пастуха при бабах, позорящих целый свет своей распущенностью. И не будут ли все встречные на поселке, через который он поведет сейчас свою команду, глядеть ему вслед с издевательской насмешкой: вот, мол, пошел вояка, командир б...!

Что управлять женщинами гораздо труднее, чем мужчинами. Файзулла слышал и прежде, и особенно много в последний день от местных бойцов. Но он был склонен думать, что такое положение создавали своим попустительством те, кто на него жаловался. Вряд ли оно существовало бы, если бы мужчины не потакали бабьей недисциплинированности. Что касается самого Гизатуллина, то он намерен с первого же дня взять такой тон со своими подконвойницами, чтобы те при нем и пикнуть не смели бы!

Из ворот вышла последняя из обычных бригад. Теперь за ними толпилась только кучка женщин в штанах и коротких юбках. Из-под низко нахлобученных белых платочков на бойца, одиноко стоявшего с винтовкой на ремне, смотрели любопытные и нагловатые глаза. Это и были, конечно, его подконвойные.

— Тимкова, сколько у тебя сегодня? — спросил нарядчик.

— Двадцать семь, — ответила ему низким голосом статная грудастая баба. — Одна в больнице и одна без вывода.

— Первая! — махнул рукой в сторону ворот дежурный по лагерю.

Колеблющаяся, шагающая не в лад пятерка женщин вышла из ворот и остановилась в нескольких шагах от своего конвоира.

— Вторая...

В последнем ряду оказались только две женщины, старуха и совсем молоденькая в больших, сваливающихся с ног башмаках. И только эти две не пялили на него глаз. Остальные подталкивали друг друга локтями, перешептывались, хихикали и показывали на него пальцами, как будто их новый боец был каким-то невиданным зверем. Впрочем, Файзулла давно уже знал, что всякого нерусского азиатского происхождения даже из своей среды блатные называют зверем. На это никто не обижался, скорее наоборот. В прозвище звучала известная

доля почтительности перед предполагаемой свирепостью и дикостью азиатов. Но у татарина с его обостренным чувством национального достоинства и на это была своя, предвзятая точка зрения.

— Ги-за-тул-лин... — прочел по бумажке фамилию нового здесь бойца дежурный комендант. — Отмечаю: двадцать семь... Распишись!

Большая часть штрафниц были еще совсем молодыми женщинами, хотя большинство лиц носили следы потасканности, истеричности и преждевременного увядания. Двадцать пять пар женских глаз продолжали смотреть на своего конвоира с вызывающей беззастенчивостью. Теперь некоторые из баб не только хихикали, но даже прыскали в кулак. Что они находят в нем смешного, эти стервы?

— Внимание, заключенный! — Гизатуллин отступил на несколько шагов и снял с плеча свою винтовку.

Женщины перестали хихикать и уставились на него теперь уже с удивлением. Он, кажется, хочет перед ними речь держать, этот нерусский.

— Шаг влево, шаг вправо...

Гизатуллин, конечно, не мог не заметить, что конвоирскую молитву перед этапированием заключенных на работу читать здесь не принято. Но именно поэтому он и хотел им напомнить эту забытую здесь молитву. Такое напоминание будет полезно этим зарвавшимся арестанткам, так как даст им понять, что здешние гнилые традиции их новому конвоиру не указ. Обязательным по конвойной инструкции, почти комическим по форме предупреждением он подчеркнет, что намерен неукоснительно следовать этой инструкции и не допустит с собой ни дурацких шуточек, ни панибратства. Однако боец осекся уже на первых словах грозного предупреждения.

— ...прыжок вверх, — ловко вернула какая-то блатнячка, — считаю за побег!

Остальные визгливо захохотали.

Такое отношение к словам официального конвоирского предупреждения Гизатуллин встречал впервые. На Каньоне молитву читали перед заключенными каждое утро. Даже на морозе, во время пурги, не позволявшей ни на секунду повернуться лицом против ветра. В таких случаях бойцы о внятности и членораздельности произношения стандартной формулы особенно и не заботились. Ее слова все знали на память.

Не ожидавший такой быстрой и дерзкой реакции, боец запнулся, как поп, которому во время молитвы в церкви показали кукиш. Гизатуллин был обескуражен тем сильнее, что нелепым и дураковатым тут, видимо, считали поведение не подконвойных, а конвоира. С крыльца вахты на него удивленно уставился дежурный по лагерю, а за закрытыми уже решетчатыми воротами ухмылялись лагерные старosta и нарядчик.

Чувство уходящей из-под ног почвы — серьезнейшее испытание и для людей с куда большей выдержкой, чем у Файзуллы с его болезненной чувствительностью к насмешкам. Ему стоило большого труда, набрав в легкие воздух и справившись с силами, во второй раз завести заученные слова молитвы. Но теперь голос бойца уже срывался, а его татарский акцент выступил еще резче:

— Винимание...

Большинство женщин едва не покатались со смеху, а одна, не смеявшаяся ни разу и все время мрачно смотревшая на конвоира, спросила его угрюмо презрительным тоном:

— Ты, татарин, по-русски хоть плакать-то умеешь?..

Бомба ненавидела этого татарина за то, что он находился на месте человека, которого она любила. И настроила себя по отношению к новому конвоиру так, будто он был виновником ее разлуки с этим человеком. В более сложную связь событий она не то что не могла, а просто не хотела вникать. Заведомо ложная схема устраивала ее, так как давала точное направление для ненависти, в которой сосредоточилась теперь вся недюжинная внутренняя энергия этой женщины.

Не ведая этого, Бомба попала в самое чувствительное место татарской души. Пальцы конвоира, сжимавшие винтовку, посеребрили от напряжения. На несколько секунд широкоплечая, с детским лицом и угрюмыми глазами блатнячка

и солдат, на побелевшем лице которого резко выступили монгольские скулы, молча уставились друг на друга ненавидящими взглядами. Эти взгляды были так выразительны, что притихли даже галдевшие бабы, а придурки за воротами перестали ухмыляться.

— Уводите бригаду, боец! — громко сказал дежурный комендант.

Это несколько разрядило напряжение. Опомнившись, Гизатуллин прокричал, что оружие пускается в ход без предупреждения, так и не объяснив своим подконвойным, в каких случаях и по какому поводу. И, боясь новых реплик, тут же поспешно командовал: «Шагом марш!»

Стоявшая в переднем ряду рядом с бригадиршей обезьяно-подобная чернавка выпятила колесом узенькую грудь, подтянула колено правой ноги к животу и отчетливо топнула. Задрвав подбородок к небу и повернув голову вправо, Макака «держала равнение» на конвоира, пропускавшего бригаду вперед. Женщины валили мимо него нескладной гурьбой, обидно хихикая. Прилипшие к переплету ворот придурки снова скалились во весь рот, особенно тот, с кирпично-красным лицом, что был помоложе. Дежурный прятал улыбку в выцветшие усы. То, чего Гизатуллин боялся больше всего на свете, сложное и смешное положение, стало для него свершившимся фактом.

Он брел по единственной улице поселка в пыли, поднимаемой табунком громко разговаривающих друг с другом женщин, и пытался собрать в какой-то порядок мысли, разорванные и разбросанные нестерпимым ощущением собственного позора. Но особенного порядка не получалось. Одолевали лютые мечты о мести этим негодяйкам.

Но свирепые мечты не могли зачеркнуть реальной действительности. А она заключалась в том, что эти ненавидимые бабы, над которыми, казалось, их конвоир имеет чуть ли не абсолютную власть, показали ему, что она весьма иллюзорна. И сделали это самым обидным и нахальным образом. Но только потому, что у него не было настоящего повода для проявления этой власти. Похоже, сейчас такой повод конвою будет дан.

Видимо, ожидавший женщин на обочине почти пустынной улицы молодой парень начал медленно переходить ее. Скорее всего он хотел что-то вручить или сказать арестанткам. В такой ситуации конвоир был обязан навести в своей команде порядок, действуя, если надо, силой.

— Подтянуться, прекратить разговор! — свирепо крикнул Гизатуллин, забегая вперед.

— Переходя на свист! — иронично откликнулся чей-то голос из толпы женщин. Его, как всегда, покрыл обидный смех.

И снова Файзулла до боли в пальцах сжал свою винтовку. И не только от злости. Он начинал понимать, что все его команды и приказы обречены здесь на осечку.

Воспитанный на армейской дисциплине, привыкший подчиняться сам и постоянно наблюдавший солдатскую дисциплинированность в окружающих, Гизатуллин всегда считал повиновение приказу того, кому дано право приказывать, чем-то само собою разумеющимся. И только сейчас в него начало закрадываться пугающее, хотя и не вполне еще осознанное сомнение в возможности мерить психологию женщин на мужской аршин.

Всегда и почти при всех обстоятельствах более высокая дисциплинированность мужчин в какой-то мере, возможно, определяется и врожденными биологическими факторами. Повышенным инстинктом вожака, например. Но главным образом она, по-видимому, вырабатывается воспитанием. И не только армейским. У подавляющего большинства мужчин осознанно или подсознательно, но более сильно, чем у женщин, развито чувство ответственности перед старшими по положению в обществе, перед обществом в целом, перед законом. Вероятно, это связано с большими правами, которыми обладала мужская половина человечества на протяжении многих тысячелетий. В результате у мужчин, даже не слишком благонаправленных, всегда присутствует комплекс представлений и реакций, делающих их послушными команде.

Даже на каком-нибудь Каньоне конвоир далеко не всегда смог бы физически воздействовать на своих подконвойных. Если бы те, подобно этим бабам, вздумали шуметь в строю и выкрикивать в его адрес всякие непристойности. Стрелять в колонну? Но для этого надо иметь такой повод, как нападение на конвоира скопом. А его нужно было доказать даже при тех порядках, которые существовали в лагерях основного производства. Вот остановить заключенных на дороге и держать их на морозе или под дождем конвоир имеет право. Но практически только по пути с работы, иначе это будет связано с потерей рабочего времени. А главное, надо, чтобы на дворе был мороз, пурга или ненастье, а не светило теплое солнышко, как сейчас.

Но и в такую погоду на Каньоне почти никто из лагерников никогда не вступал в строю в пререкания с конвоем, даже если тот давал для этого достаточно оснований.

В женщинах же, как бы ни возмущались по поводу такого утверждения феминистки, всегда заложена, пусть даже подсознательно, уверенность в силе своей слабости. Такая уверенность воспитывается в них и каждодневным опытом, и рядом льготных законов, и все еще бытующим в народе представлением, что с бабы спрос невелик. А главное, предъявлять к ней такой спрос, особенно по официальной линии, для мужика как-то зазорно. Поэтому-то и в старину и при советской власти видимыми застрельщиками деревенских бунтов почти всегда выступали женщины. Да и в быту всякий начавший пререкаться с горластой бабой попадает в ложное положение, даже если он совершенно прав. Ведь в основе нахальства такой бабы все та же сила слабости. Не драться же с ней!

По той же причине привыкли оставаться безнаказанными и самые наглые из лагерниц, даже если допускали в адрес конвоя, надзирателей и лагерного начальства крайне сомнительные, а то и прямо оскорбительные выходы. Рапорт или приказ по этому поводу только усугублял сложность положения оскорбленного. Поэтому все делали вид, что либо не слышали бабьих выкриков, либо принимают их за простое сотрясение воздуха.

Попустительство здешних конвоиров и прежних начальников лагеря по отношению к блатнячкам чаще всего было связано вовсе не с особой благожелательностью к ним, как думали Гизатуллин и новичок в подобных делах — его нынешний командир дивизиона.

Ценой такого попустительства покупалась видимость порядка в женских бригадах на виду у начальства и посторонних. Даже вчера при конвоире, не пытавшемся проявлять особую прыти, женщины шли по этой улице без особого шума и в относительно стройном порядке.

Разъяренный Файзулла, напоминая овчарку при стаде овец, побежал в хвост своей растянувшейся колонны и, возможно, даже пнул бы какую-нибудь из отстающих женщин прикладом. Но самой последней брела молоденькая сектантка, отстававшая явно не нарочно. Смущенная и покрасневшая, она никак не могла сладить со своими башмаками, спавшими, как только она пыталась двигаться быстрее. Занесенный приклад замер в воздухе, когда один из этих башмаков свалился совсем.

А парень, вразвалку переходивший улицу, поравнявшись с женщинами, вынул из кармана мешочек с чем-то легким, бросил его в толпу и, уже быстрее, зашагал дальше.

— Стой! — заорал Гизатуллин, щелкая затвором. — Стой!

Но тот, не оборачиваясь, продолжал идти по другой стороне улицы. Он, видимо, отлично знал, что стрелять в населенном месте боец не имеет права. Во всех этих прилагерных поселках живет бывалый народ. Оставалась, однако, возможность отыграться на женщинах.

— Колонна, стой!

Заключенные остановились.

— Что получил, давай сюда!

— А мы ничего не получали! — закричало в ответ несколько голосов, следуя обычной блатняцкой манере отрицать даже самое очевидное преступление или нарушение. Сейчас такая тактика была и в самом деле правильной. Чем бы мог конвоир в своем рапорте на нарушительниц и их сообщника доказать, что была сделана и принята незаконная передача с воли.

Бригадирша, однако, почему-то решила не применять сейчас этой тактики.

— Это табак, боец,— проворковала она своим певучим голосом.— предмет разрешенный...

— В строю принимать ничего не положено! Давай сюда табак!

Женщины возмущенно загалдели, но бригадирша приказала им замолчать и произнесла своим ровным, спокойным голосом:

— Закуривай, бабы!

Ответом был радостный вопль. По рукам пошел мешочек с махоркой, обрывки газетной бумаги, добытый кем-то огонь. Все это делалось так, как будто рядом не было позеленевшего от злости конвойного.

— Пр-р-рекатить курение! — срывающимся, петушиным голосом кричал Гизатуллин.

Но бабы как будто и не слышали, продолжая отчаянно дымить. Некоторые при этом перхали и кашляли. Вероятно, это были те, которые вообще-то не курили. Стоявшая недалеко от конвоира чернавка гримасничала, пытаясь пустить дым кольцами, и демонстративно похваливала табак:

— Эх, хороша махорочка!

— Прекратить! — С побледневшим, перекошенным лицом, держа винтовку наперевес, Гизатуллин щелкал затвором.

— Никак стрелять собираетесь, гражданин боец? — в издевательски вежливом тоне спросила Богиня, неторопливо выпуская дым через полные красивые губы.

Файзулла опомнился. Кругом стояли невесть откуда взявшиеся ребятишки. Баба, несшая воду, остановилась и опустила на землю свои ведра. Старик, обивавший дранкой домик напротив, перестал стучать и удивленно смотрел из-под руки на странное происшествие. Над тесной кучкой женщин клубился синий махорочный дым, а рядом бессильно метался взбешенный конвоир. Его ласково успокаивала рослая блатнячка:

— Не кричи, боец, еще животик надорвешь. Вот выкурим по одной и пойдем...

Привычные представления Гизатуллина о силе приказа и даже угрозы оружием рушились. Винтовка, которую он держал в руках, была сейчас не только бесполезным предметом, но даже подчеркивала его бессилие. Никогда еще Файзулла не чувствовал себя в таком дурацком и унижительном положении. Наконец бригадирша решила, видимо, что с него довольно.

— Бросай курить, пошли! — скомандовала она минуты через три.— Тебя что, не касается, Макака? — прикрикнула она на чернавку, двинувшуюся было с цигаркой в зубах.

Та потушила окурочек и сунула его в карман телогрейки.

Гизатуллин глотал пыль дороги пополам с горечью своего нового поражения. За каких-нибудь четверть часа он получил две полновесные оплеухи и почти понял, что его прежние представления о возможности держать женщин в страхе и повиновении при помощи одной только суровости и неукоснительного следования правилам конвойного устава рассыпались прахом. Конвоир при этих бабах не более чем сторож. Хуже того — автомат, которого следует бояться, только нарушив строго определенные, механические правила. Для знающих свойства этого механизма он почти безопасен, а поэтому и не может вызвать к себе ни малейшего почтения.

Жгло оскорбленное самолюбие, как от пощечины, горели щеки. Воображение под действием досады и злости опять рисовало картины мести, жестокость которых равнялась только их несбыточности.

Дорога к месту работы штрафниц петляла между зеленеющими посевами турнепса, картофеля и капусты. В четыре года из пяти эти овощи успевали здесь вызреть, а в один из них давали даже приличные урожаи. За счет, впрочем, громадной массы вложенного в землю труда, благо он считался здесь почти даровым.

Вдали за редким лесом в дымке утреннего тумана синели плавные склоны сопки. В косых лучах низкого солнца блеснули росинки на листьях кустов и полевых растений. Все это понемногу успокаивало даже свирепую монгольскую ярость

Файзуллы. Дикие планы мести постепенно заменялись более реальными.

Наскоки на этих женщин явно бесполезны. При всей своей наглости они хитры и достаточно осторожны. Блатнячки шли теперь почти смирно. Они понимали, что в поле с нерусским шутки плохи. Здесь он и в самом деле может пустить в ход приклад и даже пулю.

Мстить за свой сегодняшний позор перед вахтой и на поселке следует не взрывами ярости, от нее лучше воздерживаться, а строжайшей изоляцией этих женщин от их доброхотов с воли. Командир говорил, что, как не выполняющие плана по прополке турнепса и наполовину, они сидят на штрафном пайке. Но не слыхком от этого страдают, так как, несмотря на все запреты, умудряются получать передачи от своих бывших «женихов». Отныне ни один из этих хахалей к ним и на выстрел не подойдет! Заткнуть бабам рты не сможет, вероятно, и сам шайтан, но сделать так, чтобы, кроме крика и болтовни, для этих ртов не находилось никакой другой работы, может и должен конвоир штрафниц. Скоро их дружки забудут дорогу к месту, на котором они работают. А моду швырять узелки в толпу подконвойных на улице поселка он тоже прекратит. Для этого достаточно, чтобы дело о нарушении этапной дисциплины некоторыми из местных жителей было передано оперу. Дело не в недостатке средств для обуздания нарушительниц лагерной дисциплины, а в том, что эти средства здесь раньше почти не применялись. Самое главное в создавшейся обстановке — это держать себя в руках и действовать планомерно. Гизатуллин знал, впрочем, что сделать это ему будет очень нелегко.

За бригадой штрафниц было закреплено небольшое турнепсное поле, густо поросшее сорняками. Виды на урожай были здесь столь же безнадежными, как и расчет на трудовое прилежание блатнячек. Что с производственной точки зрения ежедневные приводы сюда штрафной бригады — дело совершенно бесполезное, понимало и производственное и лагерное начальство. Однако по формальным соображениям держать всю бригаду в карцере без вывода было нельзя. Да это большей частью было бы и слишком гуманно, а значит, и неразумно, с точки зрения лагерного начальства. Сидеть в поле под дождем и пронизывающим ветром с раннего утра и до позднего вечера куда мучительнее, чем валяться на голых нарах кондея. Таких же теплых дней, как сегодняшний, было каких-нибудь десяток за все короткое лето даже в дзешнем колымском Крыму.

Рядом с полем Файзулла еще вчера облюбовал для себя небольшой бугорок у дороги с высоким листовничным пнем. Пень был старый, но еще не настолько трухлявый, чтобы на нем нельзя было сидеть и даже стоять, когда возникает необходимость лучше видеть окружающую местность. Конвоир всегда должен предусматривать такую необходимость.

Взгромоздившись на свой пень, Гизатуллин начал было объяснять своим подконвойным, что треугольник, образованный засохшей колеей дороги у этого пня и сходящимися под тупым углом канавой и заросшей сухой протокой, — это охраняемая им зона, при нарушении границ которой оружие... Бабы только отмахнулись: знаем, мол...

Только две из бригадниц, старая и молодая, державшиеся особняком от других, сразу же взяли по тяпке из кучи, лежавшей посреди поля. Пройдя в дальний его конец, они начали прополку рядков турнепса, едва заметных среди буйного бурьяна. Остальные постелили свои ватники на кучках выполотой травы и, жмурясь от удовольствия, расположились на солнышке кто лежа, кто сидя.

— Хорошо,— томно сказала одна из блатнячек.— Святые за нас поработают, а мы полежим.

— Святым и положено вкалывать,— заметила другая.— Они ведь не за так работают. За место в своем раю стараются...

— Да какой это рай? — пренебрежительно махнула рукой третья.— У ихнего бога, как у нашего Повесь-чайника, любовь-то под запретом.

Бабы залиvisto захохотали.

— А как там, в раю,— поинтересовалась одна из женщин,— бабы и мужики в одной зоне или в разных живут?

— А про это у святых спроси,— ответила ей Макака.— Они про рай все знают.

— Говорят, тем, кто в рай попадает, срочно крылышки выдают,— мечтательно произнесла та, что интересовалась вопросом, вместе или порознь живут в раю женщины и мужчины.— Выходит, что там можно с парнем на любой чердак и без лестницы забраться...

— Так и надзиратели в раю небось с крылышками! — возразили ей.

Снова раздался хохот. А потом одна из девок объяснила, что ее соседка мечтает о крылышках не зря. В прошлом году она уединилась на чердаке со своим хахалем, а лестницу, пока они там тютюшкались, убрали. А потом их хватились на поверке, устроили целую облаву, и обоих голубчиков в кондей...

Рассказы в этом роде продолжались довольно долго. Большая их часть превосходила по своей непристойности все, что Файзулла до сих пор слышал. Здешние старослужащие ничего не преувеличивали, рассказывая о похождениях и распущенности лагерных баб. Слушая их, Файзулла недоумевал, почему возятся с такими. Он, будь его власть, быстро покончил бы со всяким ворьем и проститутками! Неприязнь Гизатуллина к уголовникам вообще сосредоточилась сейчас на кучке нагло бездельничающих баб. Особенно на двух из них — вальжной бригадирше и вон той угрюмой грубиянке с пухлыми, как у малолетней, губами. Она и сейчас мрачно и презрительно поглядывала на конвоира, лежа немного в стороне от других на куче бурьяна, выполотого «святыми». Когда их взгляды встречались, пальцы татарина снова непроизвольно сжимали винтовку. Ненависть, даже необъяснимая, вызывает ответную ненависть.

— Эй, Бомба! — крикнули ей из кучки женщины.— Ты что, решила сегодня в одиночку солнце открывать?

— Вдвоем небось веселее было...— вполголоса вернула Макака.

Остальные засмеялись, но тоже не очень громко. Бомба сердито посмотрела на них издали и отвернулась.

— Не трогайте ее, бабы,— сказала бригадирша.

Разговоры затихали, некоторые женщины начинали уже дремать.

— Работать надо! — не выдержал на своем пне Гизатуллин.

— Работа не ..., сто лет простоят! — сразу же отозвалась под общий хохот Анка Откуси Ухо.

Тема работы и отношения к ней вызвала целый град сенсаций блатняцкой философии. Было сказано, что от работы конидохнут, что законники приехали сюда не работать, а срок отбывать, а вкалывает пусть тот, у кого рога вот такие!

Обладай Файзулла хоть немного чувством юмора, он бы, вероятно, оценил хлесткость и сочность многих выражений из морального кодекса уголовников. А не будь он так прямолинеен в своих взглядах на общественную мораль и служебный долг, то не только быстро притерпелся бы, как почти все остальные бойцы, к непристойности языка блатных, но и понял бы, что для многих это больше скверная привычка и бравада, чем выражение их действительных наклонностей.

Но для Гизатуллина это было только человеческое отребье. Он все больше убеждался, что идея исправления этих людей ложна в самой своей основе. Они не заслуживают даже сколько-нибудь человеческого обращения, так как понимают только то, за неисполнение чего существует непосредственная угроза удара или выстрела.

После того как одна из блатнячек произнесла присказку, выражающую своего рода кредо откатников: «Начальник, кашки не доложь, да на работу не тревожь», возникла пауза, после которой разговор незаметно перешел на тему о еде. Женщины вспоминали, как при предыдущем здешнем начальнике они и смотреть-то на чернушку не хотели, как в тумбочке у каждой не переводился белый хлеб, масло и сахар. Тон этих воспоминаний был тоскливый. Лихие бабы как-то сразу потускнели, а из их речи почти исчезло обычное сквернословие ради сквернословия. Было очевидно, что живет им теперь довольно голодно. Файзулла отметил это со мстительным удовлетворением. Кто не хочет работать, тот не должен и есть.

Повернувшись на живот и уткнувшись лицом в сложенные руки, как это обычно делают голодные люди, большинство женщин старались, видимо, поскорее уснуть. Три или четыре из них совещались о чем-то вполголоса, искоса поглядывая на конвоира. Кажется, затевают что-то. Но пусть не надеются, что пройдет! Посовещавшись, эти тоже вытянулись на солнышке и уснули. Или сделали вид, что спят.

На другом конце поля с прилежанием, удивлявшим даже такого строгого моралиста, как Файзулла, работали сектантки, только изредка разгибаясь и присаживаясь, чтобы отдохнуть. Старухе, видимо, было совсем трудно, и подняться с кучи травы она могла только с помощью молодой. Прополотые ими рядки чернели на сплошном фоне буйно разросшихся сорняков. Чахлые листочки турнепса робко и только местами поднимались из земли, совсем уже, видно, не надеясь выжить. Усердие «святых» было явно бессмысленным. Если, конечно, смотреть на дело с точки зрения житейского рационализма, а не религиозного мученичества.

За канавой слева, служившей одновременно границей поля и конвойной зоны, раскинулся участок старой лесосеки, предназначенной для распашки. Лиственничные пни большей частью уже были вывернуты и стащены к канавам для вывозки на дрова. Уродливые лапы их длинных горизонтальных корней причудливо торчали во все стороны. Справа сквозь заросли тальника в засохшей протоке виднелось большое ухоженное поле, на котором работали заключенные рогатки. Солнце поднялось над сопками уже до своей предельной высоты здесь и плыло над ними, почти не меняя, казалась, этой высоты.

Тишина и мирная обстановка действовали усыпляюще. Но цепкость взгляда и чуткость слуха никогда не изменяли Гизатуллина на посту. Сегодня же они были особенно обострены. Он уже не сомневался, что некоторые из его подконвойных затеяли какое-то нарушение. Кое-кто из них явно только прикидывался спящим и, чуть приподняв голову от сложенных рук, смотрел в сторону канавы. Повторяя повадки опытного кота, постовой сделал вид, что смотрит в сторону протоки на другом краю поля. Но у человека есть еще боковое зрение, как, наверно, есть оно и у кота.

Файзулла заметил, что высокая трава в канаве в месте схождения с сухой протокой зашевелилась. По дну ее кто-то полз. Собака исключалась — кроме служебных, здесь других собак нет. А главное, те, которые украдкой поглядывали в сторону канавы, переводили взгляд с ее дальнего конца все ближе. Снова шевельнулась трава уже там, где канава довольно близко подходила к тому месту, где находились женщины. Затем взгляды наблюдавших за ней начали перемещаться в обратную сторону.

Вскочить на свой пень и выпрямиться на нем во весь рост было для Гизатуллина делом одной секунды. Резко защелкал затвор винтовки.

— Стой!

Из женщин первыми вскочили те, кто только прикидывался спящими. Кто и в самом деле спал, проснулся от возгласа конвоира и, приподнявшись на локтях, испуганно смотрели, как он целился во что-то, скрытое в канаве.

Нарушитель притаился на ее дне. Но его выдавала белая рубаха, резко выделявшаяся на зеленом фоне травы. Канава была недостаточно глубокой, чтобы скрыть человека и от взгляда конвоира, стоявшего на довольно высоком пне, и от его пули.

— Выходи! — Гизатуллин опять лягнул затвором.— Выходи, буду стрелять!

— Выходи, Косой! — крикнула одна из женщин.— Это зверь. Он и в самом деле застрелит!

Из канавы вылез молодой парень рабочего вида. Он был сильно смущен, но нельзя сказать, чтобы очень испуган. Возможно, впрочем, что и выражение смущения на его лице сильно преувеличивалось заметным косоглазием нарушителя.

— Становись вон там! — Гизатуллин показал дулом винтовки место в нескольких шагах от себя.— Чего канава лазил?

— Хлеба вот им принес...

— Где хлеб? Давай сюда!

Парень достал из травы на краю канавы завернутые

в тряпку буханку черного хлеба и маленький сверток дешевой карамели.

— Как фамилия? Где работаешь? Вольный, ээка?

— Рогов Петр. Возчик на сельхозе. Вольный...

— Садись. Вечером со мной на вахту пойдешь!

— Разрешите сейчас идти, гражданин боец! Вон моя лошадь с телегой за протокой стоит. Они,— парень показал в сторону столпившихся невдалеке женщин,— скажут, что Рогов я. В прошлом году освободился...

— Точно! — закричали женщины.— Рогов это. Петька Косой...

— Ничего не знаю... Садись!

— Гражданин боец,— голос бригадирши тянулся как мед,— отпустите Косого... Ведь чернушки он нам принес просто так, бедных арестанток жалеючи...

— Ага! «Гражданин боец»! Ишь как заговорила. А утром: «Не ори, животик надорвешь...»

Файзулла испытывал чувство злобного торжества, он брал реванш. Нет уж, этого бабьего угодника он отсюда так просто не отпустит! Пусть и эти бабы и их благодетели с поселка почувствуют, что он тут конвоир, а не шут гороховый, над которым можно безнаказанно потешаться...

— Садись, тебе говорю!

Почесывая кудлатую голову, Рогов сел в стороне на траву.

— Да что ты с ним разговариваешь? Это ж шурум-бурум, чурка с глазами...— Бомба старалась, видимо, вложить в эти слова столько презрения, сколько могла.— Ты с этим пнем еще поговори...

Окинув татарина презрительно-ненавидящим взглядом, она отошла к своему месту. А Файзулла с трудом сдержал почти физическое желание просить эту стерву пулей.

Рогова Гизатуллин отпустил только часа через два, когда за ним пришел высокий человек с большой окладистой бородой и предъявил удостоверение главного агронома совхоза. Но и тому пришлось долго уговаривать бойца, ссылаясь на то, что кто-то должен выпрячь лошадь и отвести ее на временную конюшню покормить. По существу дела это, конечно, ничего не меняло. Незаконная передача будет отдана на лагерную кухню, а на обоих нарушителей запрета на такие передачи, Рогова и того, оставшегося пока неизвестным, который утром снабдил женщин табаком, будет подан рапорт по начальству. Война объявлена! И счастье в этой войне почти сразу же изменило тем, кто возомнил, будто может безнаказанно проявлять свое неуважение к бойцу охраны. Вряд ли теперь появится охота позубоскалить над ним и у тех, кто наблюдал сегодняшний конфуз конвоира штрафниц!

После неудачи Косого блатнячки явно приуныли, сегодня они сидели на своей голодной пайке уже по-настоящему. Веселых разговоров они больше не вели. Между бригадницами часто вспыхивали крикливые ссоры. Шпильки в адрес «попугая с дудоргой», конечно, отпустились, но особо метких попаданий не было. Мстительный «попугай» затаил пребывание штрафниц в поле настолько долго, насколько мог, и повел свою бригаду в лагерь последней. Было даже странно, что бабы не шумели по этому поводу, не просили его снять бригаду с ее рабочего места хотя бы вовремя. В лагерь они брели понуро, без всякого шума, и даже в поселке, на улице которого было теперь полно народу, не сделали никаких выпадов.

В свою казарму Гизатуллин возвращался почти уверенный, что жесткость в отношении беспардонных баб и их покровителей, несмотря на допущенные им в первые часы ошибки, вполне себя оправдывает. И если продолжение будет таким же удачным, как сегодняшнее начало, он в несколько дней скрутит наглых блатнячек в назидание тем, кто считает, что строгость не должна быть единственным средством воздействия даже на отъявленных уголовников.

А в это время в женской камере здешнего кондея обсуждалось создавшееся положение. Нацмен оказался слишком зол и глуп, чтобы пронять его обычными средствами. Его невозможно ни уластить, ни задобрить, ни запугать враждебным отношением к нему вольных. Но одно из своих слабых мест он сегодня выявил. Это болезненная чувствительность к насмешкам, особенно связанным с неверным произношением татаринских русских слов. Все видели, что он от них аж белест с лица

и начинает дергаться, как дергунчик на ниточке. Значит, в это место и нужно бить зверя, пока он сам не запросится у своего начальства на другой пост. Была разработана общая тактика наступления, а первые атаки на самолюбие нацмена намечены уже на утро. И притом в нескольких вариантах, применительно к обстановке.

* * *

На утреннем разводе они не галдели и не зубоскалили, как вчера. Стоя уже за воротами, с любопытством поглядывали на своего конвоира, заведет ли тот свою молитву и сегодня. Если заведет, то на сей случай ему приготовлен сюрприз. Первые несколько шагов от лагеря бригада будет двигаться, вихляясь из стороны в сторону. Оказалось, однако, что у нацмена хватило ума этой молитвы больше не повторять. Сняв с ремня свою винтовку, он скомандовал: «Шагом...» — но тут сделал паузу. Перед самой бригадой через маленький плац перед воротами проходил начальник лагеря, угрюмый человек в защитной телогрейке.

— Гражданин начальник! — окликнула его бригадирша.

— Повесь на...чайник! — отозвался тот, но остановился, повернувшись к Богине в четверть оборота.

— Было б у нее на что чайник вешать, давно бы уже на приiske вкалывала,— хихикнула Откуси Ухо.

Бабы засмеялись, а на угрюмой физиономии Повесь-Чайника появилось подобие улыбки.

— Ну? — Он повернулся к бригаде уже в целых пол-оборота.

— Хотим вас просить,— сказала Макака, кривляясь и гримасничая по своему обыкновению,— нельзя ли к нам в бригаду переводчика назначить.

— Чего-чего? — не понял начальник.

— Переводчика... Наш конвоир по-русски ни бельмеса, так боимся, как бы он нас всех по недоразумению не перестрелял. Неохота в долгу у прокурора оставаться...

Некоторое время начал продолжал недоумевать. Но взглянув на Гизатуллина, понял, что блатнячки издеваются над своим конвоиром. Тот стоял бледный, с сужившимися глазами, сжимая в руках винтовку. Торжествовать победу ему, видимо, было слишком рано. Повесь-чайник ухмыльнулся в бороду, неопределенно повел плечом и ушел на вахту. В воротах скалились придурки, которых собралась тут сегодня уже целая куча. Улыбался во весь рот и дежурный комендант. И никто, видимо, не считал здесь, что негодяек за их насмешки над конвоем следует наказывать. Впрочем, как это сделать, если они и так сидели в карцере и получали штрафной паек.

Когда Файзулла смог наконец повторить, а точнее говоря, пролаять команду: «Шагом марш!» — он услышал, как Макака бляяла впереди козлиным голосом: «Внимание! Сейчас буду стрелять! Ба-бах...»

Гизатуллин ожидал от своих баб новых выходов на поселке и боялся, что может сорваться и натворить непоправимых бед. Ничего особенного, однако, не произошло, хотя было заметно, что сегодня тут ждали нового представления. На улице бегала целая стая ребятишек, рядом с которыми судачили о чем-то несколько баб с пустыми ведрами. Дед с молотком, обивавший избу дранкой, перестал стучать, как только увидел бригаду штрафниц издали, и сразу же приставил к глазам ладонь. Но женщины шли хотя и разговаривая в строю, если только можно назвать строем их беспорядочную толпу, но не выкидывая никаких особенных штук. То же было и на дороге среди полей. Гизатуллин начинал уже думать, что таким способом блатнячки предлагают ему компромиссный мир: нас не трогай, мы не тронем. Однако нет! Он на такое не согласится, сколько бы они его ни допекали. Закон, сила и справедливость были на его стороне, а на стороне преступниц только их ядовитые языки. Рано или поздно они их прикусят!

Погода, как и вчера, была хорошая. И так же, как вчера, бригада, явившись на свое поле, сразу же разделилась на две неравные части. Сектантки принялись за работу, блатнячки развалились на солнышке. Но сегодня они расположились в дальнем конце поля. И когда шли на тот конец, то рядом с кучей женщин шагала Макака с тяпкой наперевес и бляяла:

— Шаг влево, шаг вправо — пу-пу!

Сегодня блатнячки разговаривали и даже ссорились мало, старались больше спать. Видимо, сказывался голод, на который обрекала их бдительность враждебно настроенного конвоира. Целый день он зорко всматривался, часто взбираясь на свой пень, не появится ли откуда-нибудь очередной добряк. Но никого не было. Не было и стычек с подконвойницами. Только Бомба издала, когда Файзулла вглядывался из-под руки в заросли тальника за ее спиной, показала ему однажды уголок своего ватника, зажатый в руке, и крикнула издала: «Эй, татарин! Не хочешь ли свиного ушка?» С этой дразнилки в местности, откуда Гизатуллин был родом, нередко начинались свирепые драки между русскими и татарскими парнями.

Так прошел день. Конвоир и сегодня уводил свою бригаду с поля последней, снова несколько недоумевая, почему бабы почти не дерзят ему, хотя они, несомненно, были очень злы сейчас. Старухе сектантке, которая плелась позади всех, задерживая бригаду, хотя и опиралась на плечо молодой, какая-то блатнячка крикнула, что если та решила заработать себе рай честным трудом на начальничка, то пусть бы и убиралась в этот рай поскорее!

Поселковые вольняшки успели уже не только вернуться с работы, но и поесть и отдохнуть. Поэтому почти все, кто был помоложе, болтались сейчас на улице, благо вечер, как и день, был погожий. Конвоир очень боялся, как бы откуда-нибудь в толпу женщин не полетела очередная передача. Но ничего такого не произошло. К смиренно идущим посреди бабам никто не приближался. Между ними и поселковыми парнями не было даже никаких переключек, хотя почти все эти парни, недавние лагерники, были знакомыми или близкими приятелями блатнячек. Видимо, уже действовала пропесочка, которую устроил вчера вечером местный опер Рогову. На того же, что бросил в колонну заключенных мешочек с махоркой, обещал даже завести дело, как только выяснит его личность. Об этом, конечно, все тут знали.

Если тишину среди женщин можно было объяснить голодной слабостью — после пустой баланды с кусочком хлеба они с раннего утра ничего не ели, — то необычный порядок в их колонне вызывал смутные опасения. Блатнячки шли рядами по пять, как и полагалось, шагая чуть ли не в ногу. Если это подвох, то какой? Впереди слышалось пикиканье гармоники, на куче бревен в конце поселка сидела большая ватага парней. Конвоир насторожился и зашел сбоку колонны так, чтобы быть между ней и парнями на бревнах. Гармонист заиграл «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед...», ребята ухмылялись, но женщины шли без обычных кривляний и выкриков, по-прежнему соблюдая строй. Несмотря на тревожное недоумение, Файзулла был готов уже облегченно перевести дух, дальше начиналась пустынная дорога до лагеря. И вдруг тишина взорвалась гомерическим хохотом парней на бревнах. Гизатуллин окинул взглядом своих подконвойниц, но те как будто ничего особенного не вытворяли. Тогда он забежал вперед: наверно, это выхлястая чернавка строит свои рожи. И тут понял причину продолжающегося хохота поселковых. Передняя пятерка женщин шла с постными лицами, держа полы своих стеганок за уголки, что означало пресловутое «свиное ухо».

В тот же вечер Гизатуллин подал командиру дивизиона рапорт с просьбой перевести его на какой-нибудь другой пост. Пусть это будет постоянное дежурство на вышке, пусть даже пикет в тайге. Но, конвоируя ненавистных охальниц, отвечать за себя больше не может!

Будь младший лейтенант поопытнее в командирской службе, он принял бы во внимание и сбивчивую речь нерусского, и его подергивающиеся щеки и дрожащие губы. Но как и сам Файзулла недавно, он слишком верил в силу окрика и командирского приказа: тут у нас не гражданка какая-нибудь, а военнизированная охрана, товарищ Гизатуллин! Оставаться на своем посту независимо от того, нравится ли ему или нет, — первейшая обязанность бойца этой охраны! Потом командир сменил гнев на милость и перешел на примирительный тон. Пост, конечно, нелегкий, он предупреждал об этом бойца. Но более принципиального человека, чем Гизатуллин, в местном отряде нет. И если он возьмет себя в руки, не будет распускать нервы и продолжит со штрафницами правильно взятую линию, то совместными усилиями они усмирят распу-

щенных баб в назидание всем остальным лагерникам. Да и не только лагерникам...

— Можете идти!

Командир и на этот раз дружески пожал руку рядовому бойцу. Но поза и лицо Гизатуллина не выражали более никакой готовности служить трудовому народу в качестве мишени для издевательств со стороны негодных бабенок.

Разговор с командиром происходил довольно поздно, и когда Файзулла вернулся от него в казарму, здесь все уже спали. Только дневальный скучал, сидя на табуретке под часами. Гизатуллина показалось, что он посмотрел на него с ухмылкой. Никогда еще застарелый комплекс неполноценности не давал о себе знать так мучительно, как теперь.

Файзулла вообще спал плохо. Но в эту ночь его сон был особенно беспокойным. Почти все сновидения были связаны со впечатлениями прошедшего дня. Откуда-то издалека на него наплывало огромное и черное свиное ухо. Заслонив собою все небо, оно с поросычьим визгом отдалялось опять и вдруг оказывалось неподвижным ненавидящим глазом Бомбы. Глаз сменялся гримасничающей обезьяньей мордой, которая, приблизившись к самому лицу Файзуллы, склонила зубы и верещала: «Внимание! Шаг влево, шаг вправо...» Гизатуллин заснул по-настоящему только к утру и встал невыспавшийся, с ощущением непроходящего раздражения.

* * *

Погода резко изменилась. Ночью холодный, шквалистый ветер с моря нагнал низкие растрепанные облака, из которых моросил по-осеннему унылый дождь. Все промокло под этим дождем уже на разводе, а для большинства предстоял еще бесконечный рабочий день под открытым небом. Голоса людей звучали раздраженно и хрипло.

Сквозь прорывы в клочковатом тумане виднелись иногда склоны сопки на другом берегу Товуя. Вырисовывались они в такие моменты как-то особенно резко и отчетливо, словно их рассматривали в хороший бинокль. Однако оттого, что поле зрения ограничивалось какой-нибудь морщиной в склоне горы или крутым обрывом, сопки сегодня казались угрюмыми и мрачными.

Скользая и увязая в грязи размокшей дороги, штрафницы брели под дождем нахохлившись и почти молча. Только когда молодая сектантка во второй раз потеряла свои башмаки, ей посоветовали попросить у всевышнего, с которым та, конечно, «вась-вась», заменить ей ноги на другие, побольше.

Клин поля между протокой и канавой выглядел совсем неприятно. Нагроможденные на краю старой лесосеки высокие коряги, видные сквозь неплотный туман, придавали участку угрюмый вид. Вряд ли сегодня кто-нибудь на совхозных полях был доволен погодой, кроме, пожалуй, Гизатуллина, стоявшего у своего пня в потемневшем от дождя брезентовом плаще с накинутым на голову капюшоном. Непогода являлась его союзницей в войне с блатнячками. Сейчас он посмотрит, как разухабистые откатчицы солнца вручную будут откатывать его под этим дождем!

А те, кроме сектанток и Бомбы, по-прежнему державшейся в стороне от других, в отдалении от конвоира плотно обступили бригадиршу, что-то, видимо, от нее требуя. Та некоторое время не соглашалась. Но потом вышла из кучки бригадниц и неохотно направилась к конвоиру.

— Гражданин боец!

— Ну? — Гизатуллин смотрел в сторону.

— Костер надо разложить, пусть бабы обсушатся.

— Раскладывай!

— Так дров-то нет. Разрешите на порубке насобирать. Вон их там сколько!

— Не разрешаю, туман!

— А мы святых пошлем. Они не убегут...

— Не разрешаю!

Подошли еще несколько женщин:

— Разрешите, гражданин боец! Мы на краешке канавы с той стороны сушнячку наломаем, отсюда хорошо видно...

Гизатуллин молчал. Они умеют прикидываться овечками, эти бандитки, когда им прищепит хвост! Но чуть только палка за их спиной опустится, как снова принимаются за прежнее. Их

надо так проучить, чтобы они поняли, что конвойр своим подконвойным не сегодня так завтра всегда может устроить веселую жизнь и с лихвой рассчитаться с ними за все! Сегодняшняя погода еще семечки... Свойственная монгольскому типу непроницаемость выражения и плещ с капюшоном придавали Гизатуллину неумолимый вид.

— Да пошлите вы его на... — Бомба в один прыжок перескочила на другую сторону канавы. — Упрашивать его еще! Свиное ухо, шурум-бурум! — И она с треском отломилась от пня засохший корень.

Гизатуллин вскинул к плечу винтовку.

— Вернись, Бомба! Убьет! Тебе что, жить надоело? — закричали испуганные голоса.

Но та продолжала обламывать корни и бросать на эту сторону канавы.

Поступок Бомбы и в самом деле граничил с самоубийством. Нарушительницу конвойной зоны полевой мог застрелить не только безнаказанно, но и получил бы начальственную благодарности за неукоснительное выполнение инструкции по охране заключенных. Кроме того, Бомба была для него не только нарушительницей. Все видели, что татарин ненавидит ее лютой ненавистью, больше, чем всех других блатнячек, вместе взятых. Зверь чувствовал ее отношение к себе, хотя и не понимал его причины.

Сейчас она сама подставляла себя под его пулю. Стоит слегка нажать на спуск — и мечь, о которой мечтал эти два дня Гизатуллин, окажется осуществленной. Предупредительный выстрел даже необязателен. Достаточно к акту о применении оружия приложить две стреляные гильзы. И никто не станет вникать, первым или вторым выстрелом была убита отчаянная блатнячка, не раз уже бравировавшая выходками в том же роде, что и сейчас. Было очевидно, что на смертельный риск она пошла вовсе не из-за дров. В основе поведения Бомбы лежал вызов, своего рода взятие на «слабо»: что, татарин, презренный шурум-бурум, хватит у тебя низости на глазах у всех застрелить женщину, добровольно подставившую себя под конвойрскую пулю? Слабо небось прослыть собакой даже среди товарищей по службе?

Гизатуллин понимал, что отчаянная баба провоцирует его на поступок, которого он сам себе никогда не простит, несмотря на свою мстительность и ненависть к этой уголовнице. Нельзя, однако, оставить ее и безнаказанной, это было бы потаканием блатнячковой наглости. Самое приятное — заставить нарушительницу испугаться, повалиться с полчаса в грязь. Это будет лучше убийства.

— Ложись!

Упругий в сыром воздухе толчок выстрела слился с треском пули о сук, который, отчаянно ругаясь, пыталась отломить от пня Бомба. Недаром Файзулла был одним из лучших стрелков своего полка.

Несколько женщин испуганно взвизгнули, молоденькая сектантка перекрестилась. Но на Бомбу выстрел произвел действие, противоположное ожидаемому. Возможно, что удар пули о дерево почти возле самой ее руки даже испугал блатнячку, истеричную, как почти все они. Но этот испуг тут же трансформировался в еще большее усиление яростной бравады. Вряд ли Бомба уже помнила себя как следует, когда повернулась к стрелку спиной, нагнулась и подкинула вверх свою условную юбочку: вот тебе, наемный солдат! попадешь?

По понятиям Файзуллы, как и многих людей деревенской Руси, русских и нерусских, подобный жест со стороны женщины являлся позорным не для нее, а для мужчины, которому выражалась таким образом наивысшая степень презрения. Зрительницы поглупее деревянно хохотнули. Другие, видевшие лицо Гизатуллина, когда он вгонял в ствол винтовки очередной патрон, отчаянно закричали: «Падай, Бомба, ложись!»

Раздался новый выстрел. Бомба дернулась вперед всем корпусом, как от сильного пинка, и упала, ткнувшись лицом в землю. Над полем взметнулся многоголосый женский крик и через секунду оборвался. Смертельно раненная женщина приподнялась на локтях и повернула к своему врагу выпачканное грязью, искаженное болью и гневом лицо. Видимо, она что-то хотела ему крикнуть, но смогла только застонать долгим протяжным стоном. Продолжая крепко стонать, Бомба поползла на руках, волоча нижнюю половину тела, как со-

бака, которой перебили хребет. Затем голова раненой почти подвернулась под грудь, а ее руки судорожно задвигались, сгребая скрюченными пальцами мокрый мох. Еще несколько секунд конвульсивных движений — и Бомба затихла.

Уже много раз Гизатуллин убивал людей, но агонию убитого им человека наблюдал впервые. До сих пор это были дистрофики, умиравшие почти мгновенно, так как он их, собственно, только добивал. Поэтому только сейчас Файзулла ощутил главную и самую страшную особенность акта убийства — его абсолютную несправедливость. Тем более страшную, что совершенно это убийство было при позорных для убийцы обстоятельствах.

Мертвые мстили ему и прежде. После каждого очередного убийства, несмотря на его формальную оправданность, Файзулла чувствовал, как внутри него нарастает гнет беспредметной тоски, ищущей выхода в новых актах жестокости и злобы, но не находившей этого выхода. Однако ужаса перед совершенным им он никогда еще не испытывал. Теперь же, когда мстительность и злоба, владевшие им в момент выстрела, почти мгновенно исчезли, Гизатуллиным овладел именно ужас. Оцепенело и растерянно он стоял у своего пня, глядя на скорчившийся в отдалении труп убитой им женщины.

Так же оцепенело и неподвижно глядели на этот труп и подруги убитой. Было слышно, как по траве на поле и по листьям кустарника в стороне шушит мелкий дождь. С округлившимися глазами замерла на своих рядках молоденькая сектантка. И только старуха, стоявшая с ней рядом, шептала что-то над стиснутыми в кулаки и прижатými к груди руками.

Зловещая тишина продолжалась долго, может быть, более минуты. Затем ее разорвал чей-то короткий нечленораздельный вопль. Это упала и забилась в судорогах на мокром бурьяне эпилептичка Котиха, немолодая молчаливая блатнячка с угасшими глазами. Вскрик Котихи нарушил общее оцепенение. Раздались истеричные выкрики в адрес собаки-конвойра, наемного солдата, чурки с глазами, безмозглого попуца с дудоргой. Женщины смотрели уже в сторону убийцы и кричали все громче и пронзительнее. Теперь различить в их крике отдельные слова было трудно. Это был нарастающий по силе сплошной вопль возмущения и ненависти. Начиналась истерия толпы, причем толпы женской. И даже не просто женской, а состоящей почти сплошь из женщин с искаленной психикой и надорванной нервной системой, ненавидящих весь свет, озлобленных и голодных. Теперь вся их злоба и ненависть сконцентрировалась на этом проклятом дураке с винтовкой, стоящем как истукан у края поля в своем плаще с нахлобученным на глаза капюшоном. Сбившись в тесную кучку, женщины медленно двинулись на конвойра. Они шли на него растрепанные, с перекошенными от злобы лицами, на которых видны были только вытаращенные глаза и широко открытые орущие рты. Многие размахивали руками, а некоторые и таяками. Вперед всех была маленькая обезьяноподобная чернавка. Ее кофта под растянутым ватником была разорвана, обнажая жалкие груди с синими линиями неумелой татуировки. Из оскаленного перекошенного рта Макаки вылетали слова:

— Стреляй, наемный солдат! Убивай всех, попугай, свинное ухо!

С занесенной таячкой она бросилась на конвойра.

Истерия женщин передалась и Гизатуллину. Его растерянность прошла, сменившись новой волной ненависти и злобы, требовавших выхода.

Палец судорожно потянул за спуск. Струя фиолетового пламени опалила голую грудь Макаки, а пуля, пронзив ее щуплое тело, ушла в толпу женщин позади. В истерический вой ворвались крики боли и страха. Этот страх мгновенно погасил дикую вспышку гнева, и большая часть женщин бросилась бежать враспылку. Только две, смертельно раненных, остались корчиться на земле да в трех шагах от Гизатуллина над упавшей навзничь Макакой склонилась бригадирша. Богиня легко, как ребенка, подняла с земли тело подруги. Та была уже мертва. Голова на тоненькой, слабой шее откинулась назад, из оставшегося открытым рта вытекала струйка крови. Тимкова бережно положила тело мертвой чернавки на землю и выпрямилась.

Обычно спокойное, с оттенком некоторого самодоволь-

ства лицо Богини было искажено горем и гневом. Глаза смотрели на Гизатуллина ненавидяще и почти не мигая, руки рвали петли и пуговицы мокрого ватника:

— Стреляй и в меня, душегуб! Сколько с души получаешь, гад?

Боец отступил на шаг и выстрелил. Женщина схватилась руками за грудь, покачнулась и упала лицом вниз к ногам своего убийцы.

Теперь волна безудержной истерии уже подхватила Гизатуллина. Подняв глаза, он увидел на середине поля отбежавших туда и снова сбившихся в кучу, но уже пришедших в себя женщин. И не отдавая себе отчета, что делает, выстрелил в эту перепуганную толпу. Две подстреленные женщины опять забились на земле, а остальные, отчаянно крича, снова бросились бежать. Это зрелище только подстегнуло убийцу, в сознании которого плотина, заграждающая путь к бессмысленному уничтожению себе подобных, была не только прорвана, но и смыта потоком почти животной ненависти. В Гизатуллине проснулся первобытный разъяренный зверь, охваченный жадной крови и потребностью убивать.

Обезумевший боец стрелял с колена, теперь уже тщательно целясь. Его воспаленный мозг работал почти как центральное устройство убивающей машины, стрелявшей по всему живому, что попадало в поле зрения убийцы. Это устройство оценивало расстояние до цели, учитывало направление и скорость ее движения, в нужный момент отдавало руке команду освободить пружину ударника.

Вместо того чтобы залечь в канаве или скрыться в зарослях, женщины панически бежали вдоль поля. Одними из первых пули Гизатуллина настигли Анютку Откуси Ухо и молодую сектантку. Одна была несколько перегружена женскими прелестями, другая почти не могла бежать из-за свалившегося с ноги огромного башмака. Сбросить на ходу и второй башмак девочка не догадалась. Теперь они лежали почти рядом, набожная евангелистка и веселая безбожница, жрица свободной любви.

Боец стрелял, сверкая глазами сквозь щелки прищуренных век. И что-то бормотал по-татарски то со злобной радостью при удачном попадании, то с неистойвой злобой при промахе. Его руки автоматически выдергивали из подсумка на поясе обойму за обоймой, сноровисто вкладывали их в магазин винтовки, четко и быстро приводя свое оружие в готовность к очередному выстрелу.

Выстрелы, однако, становились все реже. На всем доступном взору одержимого стрелка пространстве люди были либо убиты, либо убежали или спрятались. Выискивая очередную жертву, убийца шарил глазами где-то вдалеке, когда перед ним выросла высокая прямая фигура. Это была старуха сектантка, шедшая прямо на него с предостерегающе согнутой в локте рукой. Подобные фигуры с мрачными глазами Файзулла видел на изображениях в православной церкви, в которую из любопытства забегал в детстве. По странной прихоти его память извлекла на мгновение из своей кладовой именно этот полустершийся и далекий образ, полностью затеряв представление о работяге-субботнике из бригады Тимковой. Для стреляющей машины, впрочем, это не представляло ни интереса, ни значения. Последовала мгновенная цепь команд и их четкое исполнение. Убийце показалось, что старуха свалилась как статуя, не изменив своей угрожающей позы.

— Прекрати огонь, Гизатуллин!

С соседнего поля бежал конвоир работавшей там бригады. Его подконвойные разбежались от шальных пуль сумасшедшего стрелка. Но и товарищ по отряду был для этого стрелка только мишенью. Автомат работал по-прежнему точно и четко. Поворот, прицел, выстрел. Боец выронил винтовку и упал.

За бойцом, на расстоянии нескольких шагов от него, протоку перебежали еще два человека, возчик Рогов и бородач агроном. Бородач остановился, на смелый парень продолжал нестись на Гизатуллина. Возможно, он рассчитывал отнять у него винтовку. Но тоже упал, скошенный пулей. Тогда агроном бросился в траву. Буйные сорняки на этом участке были бельмом в глазу у старого полевода. Но и они оказались недостаточно высокими, чтобы его укрыть.

Привстав, убийца отыскивал глазами новую жертву. Но

видел перед собой только трупы. Пытавшихся уползти раненых он уже добил новыми меткими выстрелами. Тела валялись не только на сорнячной плантации, как называл участок штрафной бригады покойный агроном, а и на ухоженном соседнем поле, и между пнями старой лесосеки, и даже между кустами тальника на протоке. Туман, на беду, еще поредел, а зрение у Гизатуллина было очень острым. Сквозь сетку дождя он увидел вдалеке лошадь, тащившуюся в упряжке, но без возчика. Человек, вероятно, убежал. Сумасшедший с видимой разумностью поднял на нужную высоту прорез прицельной рамки, тщательно навел на цель мушку и нажал на спусковой крючок. Сухо щелкнул боек, но выстрела не последовало, в стволе не было патрона. Тогда пальцы привычно скользнули к подсумку, но и он был пуст.

Питавшей состояние транса возможности убивать более не было. Очнувшийся от него стрелок медленно поднялся на ноги, провел ладонью по мокрому от дождя лицу и огляделся вокруг все еще дикими глазами. После выстрелов тишина в окрестностях казалась тягостным, гнетущим безмолвием. Продолжающийся дождь уже оказывал отрезвляющее действие на воспаленную голову убийцы, его капюшон был откинут, а фуражка лежала в россыпи стреляных гильз. Однако возвращающееся сознание несло с собой только нарастающий ужас перед содеянным.

Как всегда в таких случаях, мелькнула надежда, что все это только кошмарный сон. Но и вода, стекавшая с волос убийцы, и нагретый ствол его винтовки, и трупы, и даже рваный туман на дальних заплаканных сопках — все было беспощадной реальностью, как и охватившая Гизатуллина невыразимая тоска.

К ней присоединился новый прилив ярости. Но теперь это была уже ярость отчаяния. Файзулла размахнулся своей винтовкой и изо всей силы ударил ее прикладом о пень, пытаясь сломать ставшее ненавистным оружие. Пень, однако, был слишком стар, чтобы оказать сопротивление крепкому, окованному железом дереву. Тогда бессмысленный гнев Гизатуллина переключился на этот пень. Он начал крушить его прикладом, нанося удары часто и злобно, как будто куда-то торопясь. При этом высоким, бабьим голосом татарин нараспев выкрикивал нерусские слова, не то причитая, не то плача. Когда от пня остался небольшой бугорок на месте переплетавшихся корней, Файзулла остановился и в изнеможении перевел дух. Затем размахнулся снова, далеко отшвырнул от себя винтовку и упал лицом в мокрую траву, обхватив голову руками.

* * *

Стояла уже осень, не слишком долгая на охотском морском берегу, не слезливая и холодная. Несмотря на ранний еще вечер, в унылой казарме галаганской ВОХР уже горели под потолком голые лампочки. В их свете было видно, как по черным прямоугольникам стекол на незанавешенных окнах катятся снаружи струи дождя, пробираясь между серыми пятнами мокрого снега.

Выстроившись по команде «смирно», бойцы дивизиона хмуро слушали чтение приказа командования Вооруженной охраны Дальстроя и выписку из приговора военного трибунала войск НКВД.

Бывший боец ВОХР Гизатуллин Файзулла Садыкович за преднамеренное убийство товарищей по отряду, двоих вольнонаемных работников галаганского совхоза и ранение шальной пулей еще одного вольнонаемного, преступления, совершенные при отягчающих вину обстоятельствах, приговоривался к высшей мере наказания — расстрелу. В приказе по ВОХР сообщалось, что кассационная жалоба осужденного военной коллегией Верховного суда отклонена и приговор приведен в исполнение.

Невнятное отражение расстрела Гизатуллиным целой бригады заключенных-женщин еще можно было уловить в формуле приговора. Он был одним из отягчающих обстоятельств его преступления. В приказе же по Вооруженной охране убийство вохровцем своих подконвойных не нашло даже такого отражения.

1965.

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ



СТРАШНЫЙ СУД

встреча с поэтом

Поэтическое творчество Евгения Шварца до сих пор остается некой загадкой. Давний и устойчивый интерес к его драматургии на поэзию не распространяется. Сам писатель также не придавал своим стихам сколько-нибудь серьезного значения и даже как бы стеснялся признаться, что пишет их. В его дневнике читаем: «Странно сказать — но до сих пор мне надо сделать усилие, чтобы признаться, что пишу стихи». Запись относится к концу 40-х годов, а в начале 20-х и в 30-е годы шуточные стихи Шварца пользовались немалой кулуарной известностью. Герой его ранних шуточных стихов некий князь Звенигородский был фигурой нарицательной, стихи о нем знали наизусть:

Звенигородский был красивый.
Однажды он гулял в саду
И ел невызревшие сливы.
Вдруг слышит: быть тебе в аду!..

В конце 20-х годов в Ленинграде организовалась группа ОБЭРИУ (Объединение реального искусства), ее манифест был опубликован в 1928 году. Близкие друзья Шварца Николай Олейников и Николай Заболоцкий стали членами этой группы. Шварц непосредственно в группу не входил, но безусловно испытывал влияние ее эстетических принципов. Достаточно сказать, что известно несколько стихотворений, написанных Шварцем в соавторстве с Олейниковым.

Поднимается в гору
Крошечный филистимлянин
В сандалиях,
Парусиновых брючках,
Рубашка без воротничка,
Через плечо — пиджачок,
А в карманах пиджачка газеты
И журнал «Новое время».
Щурится крошка через очки
Рассеянно и высокомерно
На бабочек, на траву,
На березу, на встречных
И никого не замечает.
Мыслит,
Щупая небритые щечки.
Обсуждает он судьбы народов?
Создает общую теорию поля?
Вспоминает расписание поездов?
Все равно — рассеянный,
Высокомерный взгляд его
При небритых щечках,
Подростковых брючках
Порождает во встречных
Глубокий гнев.
А рядом жена,
Волоокая, с негритянскими,
Дыбом стоящими волосами,
Кричит нескромно: «Аня! Саня!»
У всех народностей
Дети отстают по пути
От моря до дачи:
У финнов, эстонцев,
Латышей, ойротов,—
Но никто не орет
Столь бесстыдно:
«Аня! Саня!»

Объединяла их также и работа в детских журналах «Еж» и «Чиж».

Поэма «Страшный Суд» (мы не располагаем ее точной датировкой) написана безусловно под влиянием поэтики обэриутов. В ее образах нетрудно заметить отражение языковых парадоксов Хлебникова, которого обэриуты называли своим учителем. Насекомые из поэмы — постоянные герои стихотворений Олейникова. Наконец, диалог на Страшном Суде стилистически очень напоминает «Случаи» Даниила Хармса.

В поэме использован еще один прием, распространенный в поэзии обэриутов,— стилистическая какофония. Слово-монстр, разрушающее стиль, в поэме Шварца не кажется комичным, как это было у обэриутов, но подчеркивает духовный хаос, овладевший героями.

Сказочный флер, характерный для стилистики пьес Шварца, в поэме меняет свою функцию, создает ощущение не сказочное, но ужасно-мистическое. Причем невыкупленное мясо и близость бездны ада в этой мистической атмосфере — величины равные, так сказать, взаимодополняющие.

«Страшный Суд» открывает новый аспект творчества оригинальнейшего художника. Читателю еще раз предоставляется случай оценить его необъяснимый дар предвиденья.

Юрий АРПИШКИН.

Саня, с длинной шейкой,
Кудрявый, хрупкий,
Уставил печальные очи свои
На жука с бронзовыми крылышками.
Аня, стриженная,
Квадратная,
Подобная акушерке,
Перегородила путь жуку
Листиком,
Чтобы убрать с шоссе неосторожного.
«Аня, Саня! Скорее! Вам пора пить кефир!»
С горы спускается
Клавдия Гавриловна
По отцу Петрова,
По мужу — Сидорова,
Мать пятерых ребят,
Вдова троих мужей,
Работающая маляром
В стройремонтконторе.
Кассир звонил из банка,
Что зарплаты сегодня не привезет.
И вот — хлеб не куплен
Или, как некий пленник,— не выкуплен.
Так говорит Клавдия Гавриловна.
Хлеб — не выкуплен.
Мясо — не выкуплено.
Жиры — не выкуплены.
Выкуплена только картошка,
Не молодая, но старая,
Проросшая, прошлогодняя.
Пять кило древней картошки
Глядят сквозь петли авоськи.

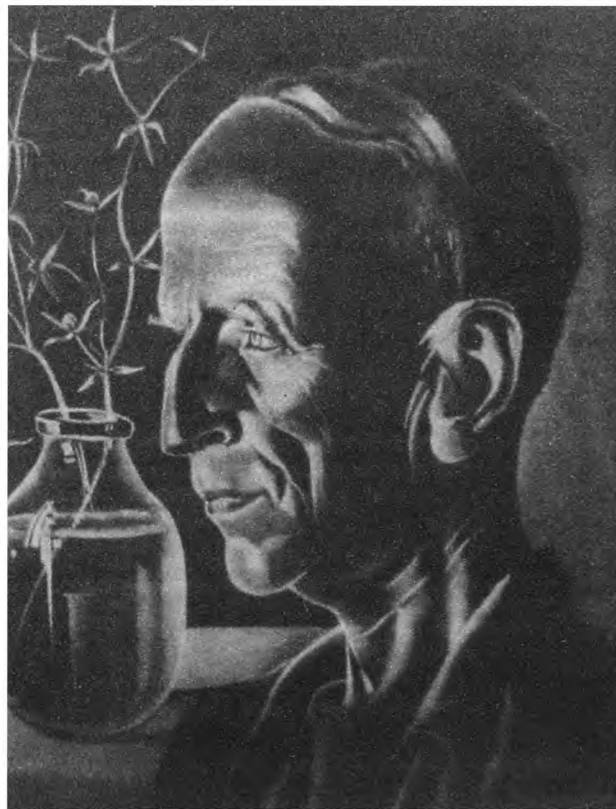
Встретив филистимлян,
Света не взвидела
Клавдия Гавриловна.

Мрак овладел ее душой.
 Она взглянула на них,
 Сынов божиих,
 Пасынков человеческих,
 И не было любви в ее зоре.
 А когда она шла мимо Сани и Ани,
 Худенький мальчик услышал тихую брань,
 Но он не поверил своим ушам.
 Саня веровал:
 Женщины так не ругаются.

И только в очереди
 На Страшном Суде,
 Стоя как современники рядышком,
 Они узнали друг друга
 И подружились.

Рай возвышался справа,
 И Клавдия Гавриловна клялась,
 Что кто-то уже въехал туда —
 Дымки вились над райскими кущами.

Ад зиял слева
 С колючей проволокой
 Вокруг ржавых огородов,
 С будками, где на стенах
 Белели кости и черепа
 И слова «не трогать смертельно»,
 С лужами,
 Со стенами без крыш,
 С оконными рамами без стекол,
 С машинами без колес,
 С уличными часами без стрелок.
 Ибо времени не было.



Е. Л. Шварц. Портрет работы Н. П. Акимова



Е. Л. Шварц. Середина 40-х годов

Словно ветер по траве,
 Пронесся по очереди слух:
 «В рай пускают только детей!»
 — Не плачьте, Клавдия Гавриловна! —
 Сказал маленький филистимлянин, улыбаясь.—
 Они будут посылать нам оттуда посылки!

Словно вихрь по океану,
 Промчался по очереди слух:
 «Ад только для ответственных!»
 — Не радуйтесь, Клавдия Гавриловна! —
 Сказал маленький филистимлянин, улыбаясь.—
 Кто знает, может быть, и мы с вами
 За что-нибудь отвечаем!

— Нет, вы просто богатырь,
 Семен Семенович,—
 Воскликнула Клавдия Гавриловна,—
 Шутите на Страшном Суде!



записная книжка



РОМАН СО СВЕЧОЙ

СЕРГЕЙ
КАЛАШНИКОВ

Оглядываясь ныне на бледную немочь этих фресок, на этот странный, чудовищный миг, могу объяснить свое тогдашнее поведение только механическим действием безвоздушного пространства, присущего снам, в котором вращается поврежденный ум...

В. Набоков.





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Это была какая-то захватывающая сумасшедшая игра, как опасный спорт, скоростной спуск на лыжах или прыжок с парашютом; она переходила улицу навстречу мне по лужам в темных нитяных чулках, я спросил, как пройти на такую-то площадь (мне в самом деле туда было надо), и вдруг мы оказались очень близко, я видел только ее белый, до восковой прозрачности тонкий нос в крупных веснушках, она показывала рукой за угол дома и все спрашивала, понимаю ли я, понимаю ли я, клонясь ко мне все ближе, сама, видимо, уже ничего не понимая

2

открылось в двенадцать лет, когда мужчина в автобусе впервые полбжил горячую ладонь на ее худенькое бедро и легонько так пошевелил пальцами, а она вся обмерла, не зная, что об этом думать и как поступить, стыдясь сбросить руку взрослого бородатого дяди, и вдруг, когда все-таки попыталась из-под нее вывернуться, почувствовала сладкий ток, который исходил от его пальцев и проникал через легкую ткань юбочки

3

что не позволит разрешить разорванность пространства и времени. Например: в одном из домов города С. я совершаю на глазах большого числа людей преступление, выхожу за дверь и сразу оказываюсь в городе Н. за три года до этого. Они, живя в своем будущем времени в другом городе, начинают ловить преступника, то есть меня, а я продолжаю безмятежно пользоваться свободой. Итак, должен ли я сам мучиться тем, что где-то в стороннем будущем я совершил преступление?

4

Во время горения тела стремятся друг к другу, сплавляются: если ткнуть горячей сигаретой в спичку, то спичка словно прирастает к кончику сигареты, начинает действовать какая-то центростремительная сила наибольшей отдачи, общей жертвенной ответственности за тепло... Но если горение внезапно прекратится, все распадается, теряя холодный пепел.

5

Ты при расставаниях бываешь тихая, а я буйный. Мне не хватает терпения, мудрости, иронии, сиречь безразличия. Мне все кажется, что все решается именно теперь. Что спасением будет не поехать и вернуться к тебе или, наоборот, вскочить в уходящий с тобой вагон, что одним безумием можно поправить для нас эту навсегда испортившуюся жизнь.

6

После всего тот поезд, который несет в темноте свои непонятные тяжело грохочущие очертания...

поезд, который неумолимо, вопреки личным болям и невозможностям, несется в темноте, в каждом на своем пути вызывая последнюю смертную решимость железной бессмысленностью...

своею железной бессмысленностью...

Кто это выдумал, Боже?

7

Жить под музыку наедине с оплавающей свечкой. Куском парафина заткнуть промоину в крае свечи, в которую яростно, вместе с шумным напором звуков, ринулась струйка...

8

Очень ясно и болезненно ощущается, когда женщина перестает жить для тебя каждым своим движением

9

как, раз за разом, выплескивается за окном все обильнее и яростнее содержимое чьего-то желудка с гортанным звуком, и не предвидится этому конца.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Киносон. Синий рыцарь. Медленный тяжелый меч рассекает преграды.

Медленный сон. Кинорыцарь. Синий тяжелый меч рассекает преграды.

Синий сон. Медленный рыцарь

2

никогда не мог решить такой, например, задачи: станет ли светлее в комнате оттого, что свеча отразится сразу в нескольких зеркалах.

3

Почему никто из благовоспитателей вовремя не сообщил нам, что главное назначение мужчины, живущего на свете, — любить женщин?

4

Что всякая ускользнувшая женщина — не просто не осуществившаяся возможность, но уникальная не осуществившаяся возможность? Другой такой никогда уже не будет. Будут похожие, в них я стану искать и не находить эту. Сколько их промелькнуло — столько на сердце печали, столько горечи в душе. И оттого мы все обречены скитаться, и чем дальше, тем меньше надежды.

5

Будет обман, суррогат чего-то другого, чего до самозабвения, до одури хочется и о чем не можешь не думать, садясь ночью в поезд и высматривая в полутьме пяточки, колени, лифчики всех тех, что улеглись под простынями в купе или растянулись вдоль прохода на боковых полках...

6

И вот я узнал, что большинство людей существуют в мертвом или (в лучшем случае) полумертвом состоянии. И это относится даже не к политическому, нравственному, эстетическому их сознанию («Вся Россия — мертвые души!»), а, если хотите, к состоянию биологическому. Так называемые поэты только тем и отличаются от так называемой толпы, что представляют собой живых или воскресающих особей. Вся поэзия посвящена более или менее откровенному призыву к жизни. Мертвая толпа тоскует по жизни и завидует тем, кто сумел в нее войти. Все стороны социального престижа, к которому тянутся люди, упираются в пресловутое воскресение. Подвижность, красота, любовь, физическое и умственное развитие, уважение к себе, достойное общество — все это настолько престижно, насколько жизненно. И вот словно невидимый цензор (а в России часто видимый, назначенный на должность) стоит между поэтами и толпой, между теми, кто прорвался в жизнь и зовет в нее других, и теми, кто боится шевельнуться во мраке могилы, словно им есть что терять, словно земля, обрушившись, может еще сильнее придавить грудь мертвеца.

Тому, кто живет, всегда чего-то не хватает, всегда мало, и он временами вполне искренно начинает верить счастью мертвецов, удовольствовавшихся бесчувственным покоем, и из нравственных соображений перестает тревожить чужие могилы, сам между тем продолжая жить.

7

Если многие верили в одно и то же, а потом все, кроме тебя, этому изменили, — есть ли смысл верить?



Если многим раздали шарики-крестики и наказали бегать как святыню, и ты поверил, что это святыня, а потом узнал, что другие потихоньку от тебя распродали эти самые шарики-крестики, — осталась ли святость, сохранилась ли она вне тебя или, может, существует как чувство в тебе одном? Как быть, если человек остается один против всех наедине со своей совестью? Быть может, такая позиция уже не поддается моральной оценке и такое противостояние не имеет ничего общего со справедливостью?

8

Прыщавые плодят прыщавых, узколобые — узколобых, и терзают других, и сами мучаются, и считают это своим главным делом — плодиться!

9

И еще: каждый — потенциальный фашист.

10

Ведь все дело в наложенных с самого начала ограничениях. Ведь дети, как и большинство взрослых, невменяемы, и если он несется тебе навстречу, пиная железную консервную банку, и попадает этой самой банкой тебе в лицо, это просто значит, что ему с самого начала не мешали бегать, не учили осматриваться и никто из тех, в кого он попадал раньше (если тебе не повезло и ты не оказался первым), не высек его.

11

Мы живем мириадами обид, наносимых нам. С утра вспоминаем тот или иной случай, ту или другую сволочную рожу, и руки наши начинают трястись, голова мутится, хочется немедленно затянуть вокруг чьей-то шеи петлю, взять в руки пулемет, швырнуть с самолета бомбу, чтобы только никогда больше, никогда...

12

Ух, как я в детстве ненавидел! Ненавидел до того, что женщины в очереди за хлебом, вставшие во второй раз (давали по буханке в одни руки), оборачивались ко



Рисунки Линде Бишоф и Вероники Вагнер перепечатаны из журнала «Конструктив» (Берлин)

мне и начинали передо мной, десятилетним, оправдываться. Я ненавидел всех, кто нарушает закон, не задумываясь, откуда пришел к нам этот закон и чего он стоит.

13

Вам хочется, чтобы человек имел «убеждения» и шел за них на плаху. А вы, осудив и отправив его туда, могли бы потом за него порадоваться, а то и поклоняться ему. Когда же он, поумнев со времен Христа, отказывается от «убеждений» и выскальзывает из рук палача, вас это раздражает.

14

Откуда у вас точные понятия о том, что «можно» и чего «нельзя», если пока еще никто по вашим законам не прожил?

15

Весь человеческий мир податлив, как масло, он продается. Чистота, непримиримость, строгость — только стадии роста...

16

В капле лимонного сока на столе погиб муравей. Это было похоже на гофмановские фантазии о заточенном в стекле. Он словно обходил каплю изнутри как заколдованный, не в силах выбраться на эту сторону. А потом свернулся в комочек и, шевеля усами, начал потихоньку растворяться...

А мы-то с вами не знали, в какое страшное время живем.

17

И так же, как сигареты или спички срастаются, пока горят, капелька нагоревшего фитиля кажется яркой и налитой, окруженная со всех сторон ровным пламенем свечи, но стоит лишь пламени отклониться под легчайшим дуновением, как обнаженный фитиль тускнеет, блекнет и рассыпается на воздухе пеплом.

18

Неполное отчаяние рождает преступность, полное — святость.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Коты, у которых нет календаря, в декабрьскую оттепель бегают за кошками, а те не даются. Чувствуют, что впереди еще январь да февраль — куда им деваться в такую стужу с маленькими-то детьми?

2

А если представить себе, что вагон метро — это такая большая карета, двери перед тобой закрылись, и посмотри, что за куколочки-красавицы, склонив опущенные мехами головки, остались уютно беседовать там, за стеклом, их быстро унес поезд, ты к ним не поспел, но тебе подадут сейчас другую карету...

3

Женщины, почуявшие мгновенную возможность внимания и любви, милы и увлекательны, как ласковые дети. Женщины, от которых отвернулись, выражают усталость и пошлый опыт на разом подурневшем лице.

4

Вот одна: губы — как два кусочка сушеной змеи, сложенные вместе.

5

А вот другая: дева с длинным носом, от которой пахнет старым комодом.

6

Отталкивает всяческая определенность, характерность, запоминаемость женских черт — это противоречит бесконечности женской природы, ставит преграду поиску и надежде. Облик женщины должен быть мягок и неуловим, как сон

7

так же как при разрезании листа бумаги мы предпочтем тупой нож острому, потому что острый режет криво.

8

Когда же начинается разговор, они отказываются от себя и от всего, что в них происходит на самом деле. Ибо слова убивают демонизм любви, снимают напряжение тайных сил.

9

Юбку надо вначале аккуратно сложить, не то помнешь и перепачкаешь спермой. Все равно в жизни придется время от времени спускать трусики и отдаваться, и когда попривыкнешь к этой мысли, когда станешь делать это более или менее регулярно, тогда поймешь, что мрак желания проходит, а мятая и грязная юбка остается.

10

Кинематографически я бы выразил это так: ясно мелькает лицо девушки с полукрытым влажным ртом, а следом — затемнение, потный мрак, только слышится «пуф-а-пуф-а-пуф-а» — снова лицо уже другой, незнакомой девушки где-нибудь в окне трамвая или на солнечном лугу, и опять в темноте «пуф-а-пуф-а-пуф-а-а-аа...» — и опять чья-то ясная дневная улыбка и — «пуф-пуф-пуф-аааааааа...» звон в ушах...

11

А вот что написал бы про все про это уважаемый мною прозаик Публий Иванович Назон: «Притыкиваясь вплотную, положил нечистую волосатую руку ей на бедро, дыша в ухо коньячными настойками. Девка была, видать, настроена соответственно, не скинула руки, наоборот, бедром вильнула согласно и так выпялилась, чтобы легче было залазить к ней в самую сердцевину, в место женского срама и вселенской боли. Ни стыда, ни совести не знали молодые люди, елозившие друг по дружке на виду у всего атриума...»

12

Теперь давайте глянем с высоты нашего опрошения на жизнь древних. Они могли долго жить с одной женщиной, и женщина эта умирала вместе с ними?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Если сказать человеку: «Негодяй!» — он скорее всего просто не заметит или утрется. А вот если сказать: «Простите, но вы все-таки негодяй», он уже никогда не простит. Оскорбляя глупого (каковых большинство), не следует подсказывать ему, что вы его оскорбляете. Не простит! На всех судилищах вспомнит. Потому что узнал вашу слабость.

Итак, не мнитесь. Не пользуйтесь уступительными предложениями и сослагательным наклонением. Слова — серьезная вещь. Говорите коротко, не вступая в пререкания и объяснения.

— Упразднить!

— Видите ли, мне кажется, вы слишком категоричны...

— Упразднить, к чертовой матери!

И все. Вас начнут уважать и бояться.

2

Важный элемент романной интриги: герою что-то (чаще всего карьера) идет прямо в руки, а он либо по незнанию, либо из принципа раздумывает и готов отказаться; читатель горячится и желает заорать недотепа в самое ухо, чтобы тот хватал свое счастье... Читатель, конечно, знает больше героя. Читатель жаден, алчен, у него, как правило, меньше принципов, своим горьким опытом он научен главному: надо хватать все что можно и карабкаться изо всех сил вверх. Поэтому так горько и жалостливо, словно к собственным детям, относится читатель к героям-неудачникам.

3

Основное отличие людей X от людей Y — невозможность удовлетвориться конечным, даже если они и желают достичь этого конечного. В самом желании у людей X уже присутствует обреченность — они как бы догадываются, что осуществление желания лишь взвалит на них добавочное бремя, не разрешающее основных проблем. Оттого желают они слабо и достигают в практической жизни немногого.

4

Жизнь очень короткая. Она коротка именно тем, что всегда кажется вся еще впереди, и даже накануне смерти то, что осталось позади, было пройдено, — ничто. Жизнь коротка, а человек жаден и жалостлив к себе, он может снести лишь внезапную смерть.

5

Почему музыка требует обязательно многократного (по меньшей мере повторного) прослушивания? Для того ли, чтобы привыкнуть к ней, насильно втягивая себя в мир искусственных образов? Но возвращаются не к пустому месту, а к тому, что встревожило, всколыхнуло воображение, не отпечатавшись еще в памяти четко сформулированной фразой. Это можно сравнить с чтением книги, к некоторым мыслям которой невольно возвращаешься, чтобы лучше их понять. Временем чтения мы управляем по своему усмотрению, сама книга существует вне нашего личного времени, музыка же (если говорить не о нотной записи, а о звучащей музыке) разворачивается во времени самостоятельно, диктуя нам строго определенный ритм. Не всегда человек за этим ритмом попевает, не всегда готов к неожиданному, парадоксальному смыслу очередной фразы, которая, в свою очередь, уже сменяется новой... Желание ухватить что-то явно значительное, что постоянно ускользает, поселяет тревогу и растерянность. Близкое к этому чувство бывает иногда в театре или во время просмотра фильма, когда пытаешься постичь смысл стремительно летящих в небытие картин и слов. Может быть, музыку надо слушать, как читают книгу, прерывая ее и возвращаясь к отдельным частям. Технические возможности для этого есть. Может быть, просто нерационально слушать много раз подряд целую симфонию ради фрагмента, длящегося полминуты, как нелепы (на первый взгляд) было бы многократное прочтение толстого романа ради того, чтобы еще и еще раз понаслаждаться одной сценой. Но ни этой сцены, ни кульминационного взрыва звуков для нас просто не существовало бы, если бы не было длительного приготовления к ним...

6

Больше ценишь и мучительнее помнишь не тех женщин, с которыми был близок, и не тех, которых любил, и не тех, с которыми прожил годы, — дороже всех женщин, нечаянно ответившие нам на взгляд, прикосновение, ласку, пусть даже это случилось мимоходом в толпе и они тотчас потерялись для нас навсегда. Может быть, дорого именно обоюдное сумасшествие,

свободное существование вдвоем в разном опустевшем мире.

7

Никакого другого, более продолжительного времени не будет, все должно свершиться в этом чудовищно сохшемся времени.

8

*Надо во что-то уйти.
Сумрачны, странны движенья.
Мальчик, в сумятице ты
Фрейд-марксистского бденья...*

Это я сочинил. Передо мной в электричке сидел мальчик. Мальчик как мальчик, немного пухловат, толстые пальцы, под ногтями грязь. Спокойный. Учится классе в восьмом.

И вот мальчик вытащил учебник. И вдруг все в нем завертелось. Начал усиленно шмыгать носом, тереть

его своими толстыми пальцами, чмокать губами, скрести ногтями голову. О, как трудно дается ученье! А я сочинил стихи.

И еще подумал, что, когда на моей голове вылезут последние волосы, я уже ни от чего не буду, наверное, так волноваться, как этот мальчик.

9

Не думали ли вы вот о чем. Человек в раннем возрасте складывается по местности. В нем, в душе его образуется столько снов, столько таинственных гнездышек, сколько их вокруг. Дерево, лужа, чердак, дорога в поле, надломленная ветка, глубокий лесной овраг с ручьем на дне. Отнять у человека это — значит, разрушить его душу, разбить ее на куски и попытаться затем склеить из них вместилище совсем другой формы. Не во всяком возрасте это возможно. Сны побудут, а потом уйдут совсем.



ТПО «СТРАННИК» предлагает вашему вниманию следующие книги:

Странник, выпуск 1, с илл. В номере: пьеса Е. Замятина «**История одного города**», публикуется впервые, работа Л. Шестова «**Что такое русский большевизм?**», статья А. Янова, интервью с лауреатом Нобелевской премии И. Бродским, современная проза и другие материалы. 96 с. — 4 р. 00 к.

Необходимое руководство для агентов чрезвычайных комиссий. (Репринтное воспроизведение подлинной инструкции 1921 г.) 53 с. — 3 р. 50 к.

Дуэль и честь в истинном освещении. Кодекс чести русского офицера начала века. (Репринтное воспроизведение издания 1902 г.) 64 с. — 2 р. 20 к.

Тайны карточной игры и разоблачение шулерских приемов. Описание правил более чем 40 карточных игр, многие из которых незаслуженно забыты. 125 с. — 6 р. 92 к.

Б. Стокер. **Вампир (граф Дракула).** Классический образец «вампирической» литературы. Послесловие, комментарий В. Цымбурского, приложение: «**Сказание о Дракуле-воеводе**». 365 с. — 25 р.

Донатъен Альфонс Франсуа маркиз де Сад. **Жюстина, или Несчастья добродетели.** С илл. Порок и добродетель в пустыне атеистической морали — вот герои этого романа, давно ставшего классическим.

Книги высылаются наложенным платежом.

Заявки принимаются по адресу: 127427, Москва, а/я 31.

ИГОРЬ ГОЛОМШТОК

ТОТАЛИТАРНОЕ искусство

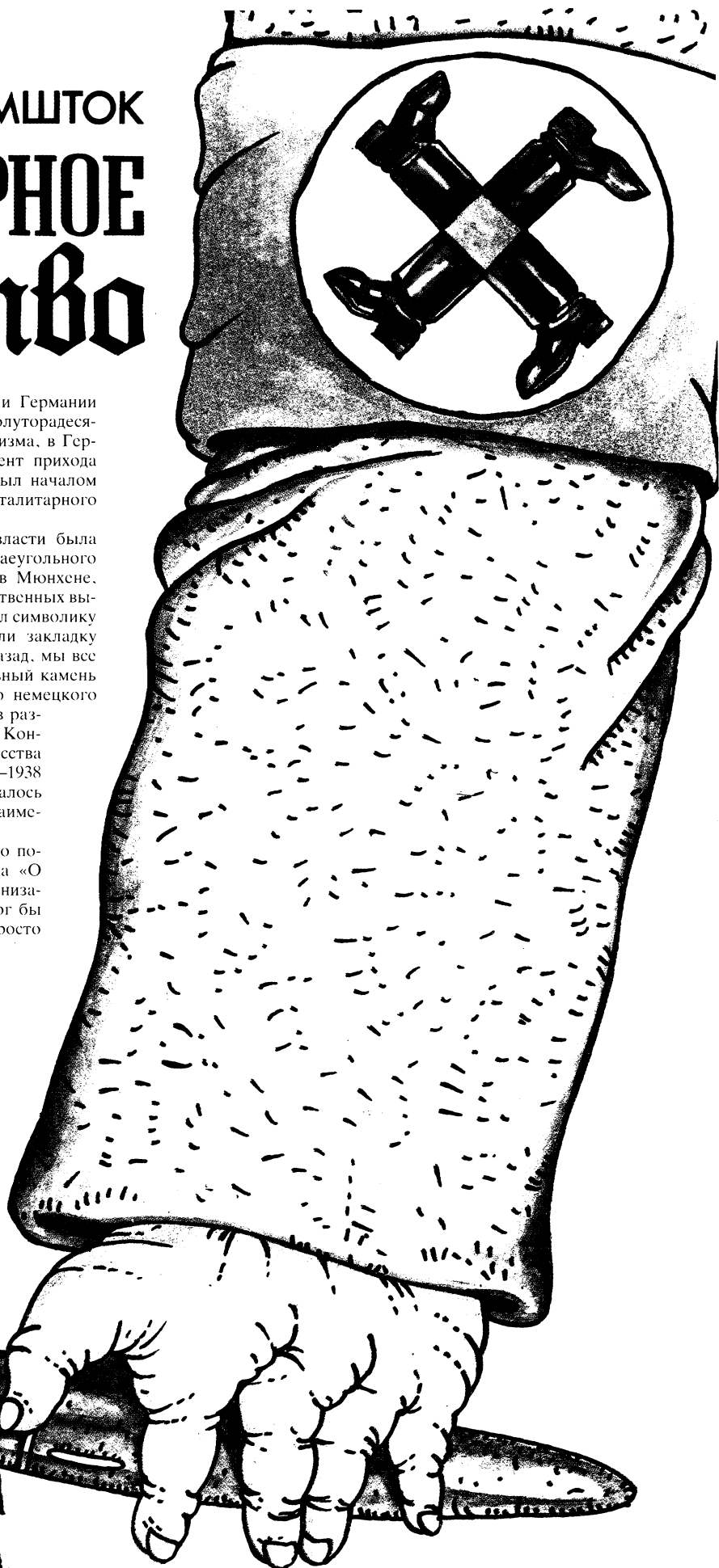
«Битва за искусство»¹ закончилась в России и Германии одновременно. В СССР она была завершением полуторадесятилетней истории культурной политики большевизма, в Германии конец ей был положен, по сути, в момент прихода к власти нацизма. Но и там и здесь ее конец был началом нового и окончательного этапа в развитии тоталитарного искусства.

Первым жестом Гитлера после прихода к власти была торжественная закладка в 1933 году им лично краеугольного камня в фундамент Дома немецкого искусства в Мюнхене, ставшего главным центром официальных художественных выставок третьего рейха. Позже Гитлер так объяснял символику этого жеста: «Когда мы торжественно отмечали закладку краеугольного камня в это здание четыре года назад, мы все сознавали, что закладываем не только краеугольный камень нового дома, но и фундамент нового и истинно немецкого искусства. Мы осуществляли поворотный пункт в развитии всей немецкой культурной деятельности». Контуры этого «нового и истинно немецкого» искусства Гитлер обрисовал в ряде своих выступлений 1933—1938 годов, развив в них то, что в зародыше содержалось в его «Майн кампф» и что получило здесь веское наименование «принципов фюрера».

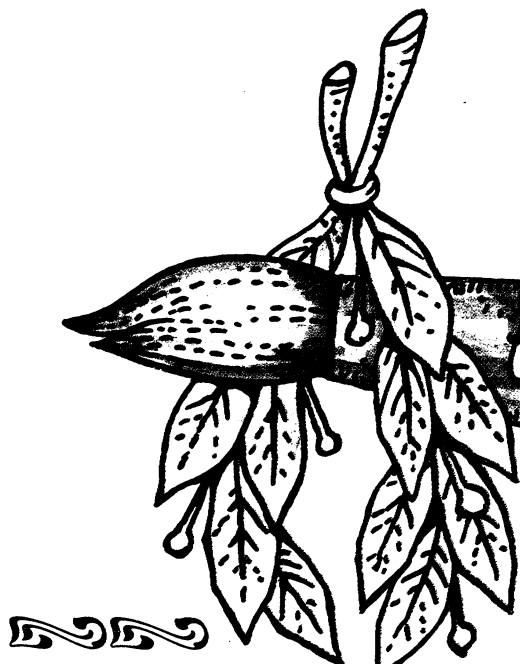
В СССР конец «битве за искусство» положило постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». В тексте этого постановления, который мог бы уместиться на страничке из школьной тетрадки, просто

Главы из книги «Тоталитарное искусство»

¹ Имеются в виду процессы в художественной жизни обеих стран конца 20-х годов, когда Лига борьбы за немецкую культуру (основанная А. Розенбергом в 1929 году), с одной стороны, и Ассоциация художников революционной России с ее ответвлениями в Германии — с другой, вели борьбу за создание реалистического, народного, идеологического искусства и объявили непримиримую войну модернизму.



Статья иллюстрируется работами, созданными в СССР и в нацистской Германии



говорилось, что наличие в советской литературе различных группировок стало тормозом ее развития, в силу чего все они подлежат ликвидации и на их месте учреждается единый Союз советских писателей. Третий пункт постановления лаконично предписывал «провести аналогичное изменение по линии других видов искусства». В официальной историографии это постановление еще недавно выдавалось как «поворотный пункт» в развитии всей советской художественной культуры. В художественную жизнь этих стран вошли и целиком определили ее три специфических феномена, которые еще Ханна Арендт определила как главные признаки тоталитаризма: идеология, организация и террор.

1. ИДЕОЛОГИЯ: СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И «ПРИНЦИПЫ ФЮРЕРА»

Социалистическое искусство — новый, высший этап на пути развития художественной деятельности человечества. Мы стоим на пороге нового Возрождения.

«Искусство», 1937, № 6.

Немецкая архитектура, скульптура, живопись, драма и прочее документально свидетельствуют о созидательном периоде в искусстве, который стремительностью и богатством мало с чем может быть сравним во всей истории человечества.

Гитлер, 1938.

Ни один политический деятель в европейской истории столько не говорил об искусстве, сколько Гитлер, и хотя, по замечанию В. Набокова, «его высказывания по этому вопросу были столь же интересны, как храп в соседней комнате», тем не менее, скомпонованные так или иначе в теоретические трактаты нацистских идеологов, они составили то, что получило в Германии наименование «принципов фюрера» и обрело характер непреложных законов, управляющих развитием искусства третьего рейха.

Уже 23 марта 1933 года из речи Гитлера в рейхстаге немцы узнали о готовящихся радикальных пертурбациях в культурной жизни Германии. «Одновременно с политическими чистками нашей общественной жизни,— заявил Гитлер,— правительство рейха предпримет тщательные меры по моральному очищению всего тела нации. Вся образовательная система, театры, кино, литература, пресса, радио — все будет использовано как средство для осуществления этих целей и будет расцениваться в соответствии с ними». 11 сентября 1935 года в своей речи на съезде партии в Нюрнберге фюрер определил функцию и роль искусства в жизни нации. Искусство не мода, не бессмысленное чередование на поверхности исторического процесса сиюминутных «измов», оно «не есть выражение какой бы то ни было тенденции капитализма, напротив... оно выражает душу (народа) и общественные идеалы». Поэтому «ни одна эпоха не может считать себя свободной от долга поддерживать искусство», особенно во времена «потери народом веры в свое величие и в свое будущее». В такие моменты задача искусства — «вновь поднять эту веру, указывая на внутренние бессмертные народные ценности, которые не в состоянии разрушить никакой политической или экономической упадок».

Эти положения Гитлер развернул в своем выступлении 18 июля 1937 года. Случай был самый подходящий: в этот день фюрер открывал только что отстроенный Дом немецкого искусства в Мюнхене. Пафос его речи был сосредоточен на величии новой эпохи, создаваемой национал-социализмом, и на долге художника отражать ее высочайшие достижения: «Не искусство создает новую эпоху, скорее вся жизнь народа формирует себя по-новому и требует нового выражения. Ясно, что все разговоры о новом искусстве в Германии, которые велись на протяжении последнего десятилетия, выдавали непонимание новой германской эры. Создателями этой эры являются не писатели, а борцы, то есть те, кто на самом деле формирует и ведет за собой народы и, следовательно, творит историю... Не функция искусства уходить от развития народа,

наоборот, его единственной функцией может быть выражение этого живого развития». Таким образом, фюрер здесь не только выдвигал концепцию искусства «как формы отражения действительности», но и прямо указывал на те ее формирующие силы, которые, будучи наиболее яркими проявлениями этой действительности, должны быть и главными объектами ее отражения в искусстве: лидеры, борцы, творцы истории должны были занять место в центре официоза тоталитарной художественной культуры. Подлинный художник, указывал фюрер, должен сделать свое искусство орудием борьбы за будущее и поставить его на службу народу. «Художник творит не для художника. Он создает для народа и он убедится в этом, когда народ будет призван судить об его искусстве... Искусство, которое не может рассчитывать на самую задушевную, самую непосредственную поддержку широких народных масс, искусство, которое может положиться на поддержку только немногих, для нас неприемлемо. Такое искусство стремится только запутать здоровые народные инстинкты, лишить народ уверенности в себе, вместо того чтобы достойно укреплять их. Художник не может стоять в стороне от своего народа». Такое «стоящее в стороне» искусство Гитлер назвал заговором бездарности и посредственности против лучших произведений эпохи. Те же, кто утверждает обратное, есть «культурные геростраты и преступники», коим надлежит «закончить свои дни в тюрьме или в сумасшедшем доме». «Время таких художников прошло... и пусть никто не говорит об „угрозе свободе творчества“». Здесь Гитлер имел в виду всех современных художников, которые отступают от правдивого отражения действительности, изображая «поля голубыми, небо зеленым, а облака серно-желтыми». И фюрер предлагал радикальные меры для борьбы с такими нездоровыми явлениями: «Есть только два возможных объяснения. Может быть, эти так называемые художники действительно видят вещи таким образом и верят, что изображают их правильно. Тогда мы должны просто решить, является ли их неправильное видение случайной неудачей или врожденной болезнью. В первом случае можно только пожалеть этих дефективных, второй же случай относится к сфере компетенции Министерства внутренних дел, которое должно принять меры, чтобы оградить последующие поколения от подобных страшных визуальных дефектов. Другое объяснение заключается в том, что эти «художники» сами не верят в реальность того, что они изображают, но делают это, стремясь внести хаос в общество. В таком случае они попадают под действие уголовного кодекса».

Осуществить всю грандиозность поставленных эпохой задач художник может только при помощи партии и государства и только под их непосредственным руководством. Гитлер неоднократно подчеркивал необходимость прямого вмешательства в культурные дела посредством, с одной стороны, широких ассигнований в поддержку сторонников искусства национал-социализма, а с другой — применением карательных мер к его противникам. Историческое обоснование такого вмешательства Гитлер дал в своей речи на открытии Третьей выставки немецкого искусства в июле 1939 года: «Во времена, когда господствующие политические и религиозные идеи развиваются постепенно, художественная продукция естественным путем занимает все более значительное место на службе у господствующих идей. Но в периоды стремительного революционного развития такое соединение должно быть направляемо и руководимо сверху. Те, кто в области политики или мировоззрения ответствен за воспитание людей, должны стремиться направлять художественные силы народа — даже под опасностью самого жестокого вмешательства — в русло их общих мировоззренческих требований и тенденций». Гитлер не только выдвигал принцип партийного руководства искусством, который давно уже осуществлялся в Советском Союзе; он определял и цель такого руководства, которую ставил «выше культуры, выше религии и даже выше политики», — создание нового человека. Национал-социализм, по словам фюрера, затрачивает колоссальные усилия, чтобы создать новых людей и сделать их «сильнее и прекраснее». «И от этой силы, и от этой красоты исходит новое чувство жизни. В этом отношении человечество никогда еще так не приближалось к классическому миру, как сегодня».

В отличие от немцев советский народ о существовании социалистического реализма и его принципах узнавал не не-

посредственно из уст своего вождя. Эти принципы вызревали где-то в верхах советского партийного аппарата, доводились до сведения избранной части творческой интеллигенции на закрытых встречах, собраниях, инструктажах, а затем рассчитанными дозами спускались в печать. Впервые термин «социалистический реализм» появился 25 мая 1932 года на страницах «Литературной газеты», а несколько месяцев спустя принципы его были предложены в качестве основополагающих для всего советского искусства на таинственной встрече Сталина с советскими писателями на квартире у Горького, состоявшейся 26 октября 1932 года. Встреча эта тоже (как и аналогичные перформансы Гитлера) была окружена атмосферой мрачной символики во вкусе ее главного организатора.

Сам Сталин не высказывался публично по вопросам культуры и искусства. Тем не менее именно он стоял тогда за кулисами новой культурной политики и был, очевидно, главным автором сценария, по которому последовательно и планомерно внедрялись в жизнь принципы соцреализма. Известно, например, что на одном из закрытых совещаний по этому вопросу Сталин раз 10—15 брал слово, отставив термин «соцреализм» в применении к основному методу советского искусства, который его оппоненты хотели определить как диалектико-материалистический. Считалось, что за всеми поворотными идеями и пертурбациями в области культуры стоят его гениальная прозорливость и железная воля. Ему приписывались (и сам он приписывал себе) даже идеи, высказанные задолго до него и часто людьми, которых он сам уничтожал как идеологических врагов. Так, знаменитое «сталинское» определение писателя-соцреалиста как «инженера человеческих душ» представляло собой не что иное, как перефразировку

идеи авангардистов о «художнике-психоинженере», сформулированную погибшим в сталинских концлагерях С. Третьяковым. Таким образом, с момента рождения социалистический реализм был так же прочно связан с именем Сталина, как «принципы фюрера» с Гитлером.

Родившись почти одновременно, оба эти термина поначалу были лишены стилистической определенности. Ясно было одно: каждый из этих принципов был руководящим, единственным, общеобязательным, тот или другой должен был в конечном итоге определить характер искусства в своей стране. Ясно было и то, что это будет искусство «нового типа», что оно воодушевит массы на строительство нового общества и в своих достижениях превзойдет все созданное человечеством. Постепенно эти абстракции обрастали плотью и обретали конкретное содержание.

Если в Германии в этот решающий период объектом культурной политики нацизма в первую очередь оказалось изобразительное искусство, то в СССР главный удар был направлен на литературу. Дело тут, очевидно, не в личных пристрастиях неудавшегося художника Гитлера, несостоявшегося архитектора Розенберга или Сталина, писавшего в ранней юности стихи на грузинском языке; скорее здесь проявила себя общая закономерность развития тоталитарной революции. На первом ее этапе особое значение приобретает прямое воздействие на массы, и тут живопись, скульптура и графика обладают определенным преимуществом перед литературой в качестве средств наглядной агитации и пропаганды. С этого начинал Ленин, сделавший в 1918 году свой план монументальной пропаганды стержнем советской культурной политики. Но к 30-м годам изобразительное искусство в СССР было уже во





многом приспособлено к нуждам режима: «правдивое изображение» советской действительности стало творческим кредо большинства советских художников еще до соцреализма. Теперь под эту модель надлежало подвести и всю советскую литературу. Поэтому неудивительно, что именно съезд писателей (а не художников или архитекторов) стал той трибуной, с которой и был провозглашен универсальный метод всей советской культуры.

Первый Всесоюзный съезд советских писателей, проходивший в Москве с 17 по 31 августа 1934 года, был срежиссирован по образцу, ставшему обязательным для всех последующих съездов и других мероприятий такого рода. Помимо ждановской формулировки, на нем были высказаны, по сути, все основополагающие идеи, составившие плоть и кровь доктрины социалистического реализма. Поэтому стоит подробнее остановиться на его работе.

В тоталитарной основе этого съезда лежали культ вождя и его единодушное одобрение. Все выдвигавшиеся на нем обширные резолюции, списки будущих руководителей литературы, повестки дня принимались единогласно всеми участниками съезда: за всю его работу ни один из 600 делегатов не только не выступил против чего бы то ни было, но даже не воздержался от голосования. Провозглашенные на нем прин-

ципы соцреализма, призванные, по определению главных его ораторов, коренным образом изменить характер всей советской, а в исторической перспективе и мировой культуры, оказались полностью вне обсуждения: все это было уже утверждено и подписано, и инженерам человеческих душ предоставлялось право лишь поднимать руки и развешивать в своих выступлениях «мудрые указания» Сталина, Жданова и Горького.

Съезд довел до небывалых еще масштабов культ Сталина. Все основные ораторы приписывали ему роль архитектора и кормчего во всех областях советской жизни, в том числе в литературе и искусстве. На первом же заседании съезда от



имени всех его участников было послано приветствие Сталину, которое содержало в себе самую квинтэссенцию тоталитарной эстетики: «Наше оружие — слово. Это оружие мы включаем в арсенал борьбы рабочего класса. Мы хотим создавать искусство, которое воспитывало бы строителей социализма, вселяло бодрость и уверенность в сердца миллионов, служило им радостью и превращало их в подлинных наследников всей мировой культуры». И которое заканчивалось следующими словами: «Да здравствует класс, вас родивший, и партия, воспитавшая вас для счастья трудящихся всего мира!» Верноподданнические чувства достигли здесь такого накала, что даже класс и партия стали обретать свое значение лишь постольку, поскольку они родили и воспитали Сталина.

Горький, открывший съезд, а потом, после Жданова, выступивший с развернутым докладом, начал свою речь на самой высокой ноте, возведя себя и съезд не более ни менее как на пьедестал судей человеческих с позиций абсолютной истины: «Мы выступаем как судьи мира, обреченного на гибель, и как люди, утверждающие подлинный гуманизм, гуманизм революционного пролетариата, гуманизм силы, призванной историей освободить весь мир трудящихся». Облеченные в судейские мантии, Горький и Жданов выносили современной художественной культуре приговор не менее суровый, чем делали это тогда же Гитлер и Розенберг. Жданов определил состояние буржуазной литературы (подразумевая под этим все тот же модернизм) как «упадок и разложение». Горький обрушился на русских модернистов — своих старых, еще дореволюционных, противников: «Время от 1907 до 1917 года было временем полного своеволия безответственной мысли, полной «свободы творчества» литераторов русских. Свобода эта выразилась в пропаганде всех консервативных идей западной буржуазии... В общем десятилетие 1907—1917 вполне заслуживает имени самого позорного и бесстыдного десятилетия истории русской интеллигенции». Последней фразой, ставшей отправной точкой для всех последующих советских исторических оценок, Горький перечеркивал, по сути, и серебряный век русской поэзии, и первый взлет русского художественного авангарда, а самое главное — тот дух свободы, поисков и новаторства во всех областях творчества, каким был овеян этот период как, быть может, никакой другой в русской истории.





Характерно, что Гитлер не только клеймил современную западную культуру в терминах, схожих со ждановскими, но и относил начало ее упадка к тому же «позорному десятилетию», что и Горький: «Это потрясающе видеть, каким высочайшим был наш художественный уровень к 1910 году. Но с тех пор — увь! — наша деградация стала возрастать. В области живописи, к примеру, достаточно вспомнить удручающую мазню, которой эти люди от имени искусства обманывали немецкий народ... Что касается содержания этой мазни, то эти люди утверждали, что понять его непросто, что для этого надо проникнуться их глубиной и значением, самому погрузиться в образы — и другие идиотизмы того же порядка. В 1905—1906 годах, когда я поступил в Венскую академию, эти плоские фразы уже употреблялись — подsunуть публике бесчисленную мазню под видом художественных экспериментов».

По сути, съезд сформулировал художественную идеологию, которая в одинаковой степени была применима как к социалистическому реализму, так и «принципам фюрера». Предполагалось, что эта идеология заключала в себе последнюю, и окончательную, истину и выступала как «воплощение исторического разума, основная победоносная, движущая сила всемирной истории» (по словам Н. Бухарина). Стоя на этой «вышке всего мира» (Бухарин), ее представители объявляли о своем историческом праве судить человечество и выносить ему приговор. «Судья мира» провозглашал себя не только основоположник соцреализма М. Горький. Один из основоположников литературы национал-социализма, Герман Бруте, вторил ему в унисон: «В нашу воинственную эпоху немец достигает наивысшей славы, когда выступает как обвинитель мира и бичует его безумие, его несправедливость, его фундаментально преступные основы».

Культуре этого преступного, обреченного на гибель мира Жданов и Горький, а за ними и выступавшие на съезде Н. Бухарин, К. Радек и крупные советские писатели, поэты, драматурги противопоставили новую, социалистическую культуру, обрисовав контуры ее творческого метода, то есть соцреализма. Рационально организованная в соответствии с объек-



Derol ihr, meine Jüngen, ihr seid die lebenden Baranen Deutschlands, ihr seid das lebende Deutschland der Zukunft.

тивными законами исторического развития, такая культура должна была стать культурой «нового типа» и «высшего этапа», с высоты которой вся предшествующая художественная деятельность человечества может рассматриваться лишь как ее предыстория. Поэтому она должна быть окрашена оптимизмом, выражающим радость сталинской эпохи, поэтому каждый писатель и художник в своем творчестве должен руководствоваться чувством любви к народу, родине, партии, Сталину и духом ненависти к их врагам. Это сочетание любви-ненависти Горький назвал подлинным, новым, социалистическим гуманизмом.

Отсюда логически вытекал и главный принцип тоталитарной художественной идеологии — принцип партийности искусства, который требовал, чтобы художник смотрел на действительность глазами партии и изображал реальность не в ее плоской эмпирии, а в идеале ее «живого» (по Гитлеру) или «революционного» (по Жданову) развития по направлению к великой цели. «Наша советская литература, — говорил на съезде Жданов, — не боится обвинений в тенденциозности. Да, советская литература тенденциозна, ибо нет и не может быть в эпоху классовой борьбы литературы не классовой, не тенденциозной, якобы аполитичной». «Мы необъективны, мы — немцы, — выдвигал тот же принцип, только в расовой упаковке, первый нацистский министр культуры Баварии Ганс Шемм.

Осуществление этих принципов неизбежно приведет к высочайшему расцвету культуры, к ее подлинному ренессансу, а пока обе рождающиеся в муках идеологии представлялись сами себе островками надежды и бастионами прогресса в захлестывающем их море маразма и разложения. В такой ситуации было правомерно требовать от художников напряжения всех сил и безжалостно карать несогласных. Ибо великая цель, которую они ставили перед собой, оправдывала все средства для ее достижения. Она заключалась в создании не только нового общества, но и его строителя и обитателя, чьи психология, идеология, этика, эстетика формировались бы по законам единственно правильного научного учения: концепция Нового Человека в качестве сверхзадачи зримо или нез-

римо присутствует в сердцевине любой тоталитарной культуры. В обществе нового типа литература, в частности, по словам писателя Л. Леонова, «перестает быть только беллетристикой. Она становится одним из самых важных орудий в деле ваияния нового человека». Эта формулировка варьировалась на съезде в выступлениях десятков ораторов. Чтобы осуществить эти задачи, писатель и художник должны жить жизнью своего народа, они должны принимать активное участие в строительстве нового общества и отображать на простом, понятном широком народным массам языке их труды и подвиги под руководством лидеров, борцов и тех, кто творит историю. По высказанному на съезде единодушному мнению советских писателей (в приветствии Сталину), оно должно «стать верным и метким оружием в руках рабочего класса и у нас и за рубежом»; по словам главы художественного образования в нацистской Германии Роберта Беттхера, его функция — «быть социальным цементом», «средством в классовой борьбе», для чего «должен быть ликвидирован разрыв...

Frauen!

*Wichtiges Zeichen eines Lebens
Wichtiges Zeichen eines Fortschritts*



Redet die müde Frau

Adolf Hitler!

между художником и народом: художник должен стать слугой народа».

Яркой иллюстрацией родства двух художественных идеологий может служить ряд выступлений самих участников Первого съезда советских писателей из наиболее осведомленных, которые, клеймя национал-социалистическое искусство, описывали его, созная это или нет, в терминах социалистического реализма. Только то, что в одном контексте должно было сиять, как золото, в другом было черно, как деготь:

«Культу сверхчеловека, который развивается в Германии... мы противопоставим образ подлинного пролетарского вождя — простого, спокойного вождя-человека. Это можно сделать хорошо, это нужно сделать. Слепо подчиняющейся фанатической массе в фашистских книгах противопоставим сознательно идущую массу. Мы найдем соотношение: вождь



ЭТО — ПО КОММУНИСТИЧЕСКИ!



**СТАЛ
ПЕРЕДОВЫМ.**

**ИДИ
ПОМОГАЙ
ОТСТАЮЩИМ**

== ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ, ==



Если не хотите возврата к старому миру, идите в ряды

и масса. Если литература обратится к этой теме, то она сделает огромный скачок вверх» (Вс. Вишневский); «Для всех, сомневающих в гениальности вождя и мудрости их политики, для всех, кого не обманывают магические превращения цифр германской статистики... нет места на фашистском Парнасе. Туда допускаются только избранные варвары со свастикой на рукаве. Они призваны возвестить миру новые идеи, новое искусство» (В. Киршон).

Подробный разбор художественной идеологии фашизма сделал в своем докладе на съезде Карл Радек. Крупный деятель Коминтерна, он до прихода Гитлера к власти жил главным образом в Германии, налаживая подпольные связи. С советской стороны Радек с 1919 года был главным сторонником идеи национал-большевизма, то есть сторонником сближения с нацизмом для совместной борьбы с западной демократией и мировым империализмом; по мнению некоторых исследователей, именно он проложил путь к союзу Сталина с Гитлером в 1939 году. Один из разделов его доклада на съезде назывался «Фашизм и литература». Радек прекрасно знал методы культурной политики фашизма, которые он изложил в следующих словах: «Фашисты в лице своих теоретиков и вождя искусства говорят: нет литературы, стоящей вне борьбы. Или вы идете с нами, или против нас. Если идете с нами, то творите с точки зрения нашего мировоззрения, а если не идете с нами, то ваше место в концлагере... фашисты требуют от писателя: „Ты нарисуй нам такую картину, которая покажет, как при фашизме все люди идут вперед, растут и блаженствуют“».

Трудно сказать, что здесь имел в виду Радек. Ведь он просто перефразировал, приписав фашизму, расхожий советский лозунг «кто не с нами, тот против нас», под знаком которого и проходил весь Первый съезд советских писателей. «С кем вы, мастера культуры?» и «Если враг не сдается, его уничтожают» — это заголовки двух основополагающих статей Горького, в которых пролетарский писатель обосновывал тогда закономерность новой советской культурной политики. Но Радек в своей речи пошел дальше, прямо процитировав Геббельса: «Было бы наивно думать, что революция пощадит искусство и что оно сможет вести своего рода существование спящей красавицы где-то рядом с эпохой или на ее задворках... в тот момент, когда политика становится народной драмой, в которой рушатся целые миры, художник не может сказать — это меня не касается. Это его очень и очень касается.



И раз он пропустит момент, чтобы занять своим искусством определенную позицию по отношению к новым принципам, то он не должен удивляться, если жизнь прошумит мимо него».

Подобные слова Геббельс произносил 15 ноября 1933 года в зале Берлинской филармонии в день торжественного открытия Имперской палаты литературы, объединившей всех немецких писателей, принявших нацистский режим. С другой стороны, на московском съезде были утверждены устав и списки руководителей уже созданного Союза советских писателей. Горький, закрывая съезд, призывал советских писателей «немедленно приступить к практической работе — организации всесоюзной литературы как целого». Одновременно аналогичные творческие союзы были учреждены в Германии и Советском Союзе и в других видах искусства.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ: МЕГАМАШИНА ТОТАЛИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ

Организация — это форма посредничества между теорией и практикой.

Георг Лукач.

Организация играет решающую роль в жизни народа... Только организация, когда она правильно учреждена и построена, может сократить и упростить путь к успеху (конечно, в некоторых случаях она и есть единственный путь к успеху).

И. Геббельс.

В условиях советского социалистического строя искусство впервые, за всю его многовековую историю, стало объектом государственного строительства и государственной политики.

А. И. Назаров, Председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР.

Было бы неверно обвинять тоталитаризм в варварском пренебрежении культурой, как это делают часто, пользуясь крылатой фразой, которую приписывают то Розенбергу, то Герингу, то Гимmlеру: «Когда я слышу слово «культура».



я хватаюсь за пистолет». Наоборот, ни в каких демократических странах сфера культуры не привлекает к себе такого пристального внимания государства и не оценивается им столь высоко. Об искусстве здесь писали и говорили главы правительств и вожди партий, маршалы и шефы тайных полиций. Мартин Борман называл культуру самым важным и значительным инструментом партии. Лаврентий Берия говорил о ней как о «мощном средстве воспитания масс в духе коммунизма, в духе советского патриотизма и интернационализма». «Искусство есть единственный бессмертный результат челове-

ческого труда» и «Ни один народ не живет дольше чем памятники его культуры» — эти изречения фюрера были начертаны на стенах Дома немецкого искусства в Мюнхене. И естественно, что, придавая такое значение культурным делам, тоталитарное государство не жалест сил и средств на организацию их «как целого».

Если авангардисты, начиная с футуризма, были склонны машину рассматривать в качестве некоего эстетического эталона жизни, то тоталитаризм саму жизнь и культуру стремился построить по принципу мегамашины с пультом управления



в руках вождя. Ибо только через организацию культуры можно было идеологизировать ее и тем самым целиком подчинить задачам политической борьбы. К этому стремился уже Ленин, когда в 1921 году настаивал на коренной реорганизации Наркомпроса. Созданная им организационная система послужила прототипом, однако в ней неоставало основного элемента — блока, который делал бы управляемым сам индивидуальный творческий процесс художника. Создание творческих союзов в СССР и Германии завершило этот процесс.

Через полтора месяца после прихода к власти Гитлер декретом от 13 марта 1933 года учреждает имперское Министерство народного просвещения и пропаганды во главе с Геббельсом. Сфера его компетенции определялась следующим образом: «Имперский министр народного просвещения и пропаганды несет ответственность за всю область духовного воздействия на нацию путем пропаганды в пользу государства, культурной и экономической пропаганды ради просвещения народа внутри страны и за рубежом; следовательно, он ответствен за управление всеми учреждениями, служащими этим целям». Сам Геббельс через «Волькише Beobachter» (10.5.33) сразу же объявил о том, что задачей его министерства является «привести Германию в состояние духовной мобилизации» и что оно «выполняет те же функции в области духовного, что Военное министерство в области вооружения».

Для осуществления этих целей декретом от 22 сентября того же года под юрисдикцией министерства Геббельса учреждается Имперская палата культуры (Kulturkammer), которая в свою очередь подразделялась на семь специализированных палат: музыки, театра, литературы, прессы, радио, кино и изобразительных искусств. В уставе последней перечислялись профессии, носители которых становились ее членами: архитекторы, дизайнеры интерьеров и садов, скульпторы, живописцы, графики, коммерческие граверы, мастера прикладного искусства, кописты, реставраторы, владельцы художественных галерей, издатели литературы по искусству и т. д. Здесь же говорилось, что все ранее существовавшие объединения данных профессий «ликвидируются без исключения и каждый их член обязан стать членом Имперской палаты без оговорок». Президентом Палаты изобразительных искусств назначается художник-реалист Адольф Циглер — «непревзойденный» мастер натюрмортов, обнаженного тела и, по оценке его шефа Геббельса, «человек настолько скучный, что буквально вгоняет меня в сон». Вся эта централизованная машина культуры была в Германии отстроена и пущена в ход в поразительно короткие сроки. К началу 1936 года Палата изобразительных искусств уже насчитывала 42 тысячи членов. Центр ее находился в Берлине, и она имела 32 отделения в разных городах рейха.

Нацистская революция не стремилась разрушить те механизмы, которые приводили в действие художественную жизнь еще в период Веймарской республики. Проще было приспособить их к новым целям. Так, Палата изобразительных искусств возникла на базе уже существовавшей Картели изобразительных искусств. Палата прессы — на базе Общества немецких журналистов, литературы — на базе Ассоциации немецких писателей и т. д. Следовало только заправить эти механизмы новым идеологическим горючим и сменить обслуживающий персонал. Это и стало первой задачей в области культурной политики пришедшего к власти нацизма. С одной стороны, из художественной жизни по специально составленным спискам выбрасываются негодные режиму люди — в первую очередь евреи и модернисты. С другой стороны, первый нацистский министр внутренних дел В. Фрик сразу же учреждает внутри своего министерства институт своего рода идеологических контролеров, которые, как и в Советской России в 20-х годах, именуются здесь комиссарами по делам искусств (Kunstkommissare). Навербованные главным образом из участников розенберговской Лиги борьбы за немецкую культуру, они назначаются на руководящие посты и в подведомственных им учреждениях неусыпно следят за проведением в жизнь «принципов фюрера».

В отличие от нацистской большевистская революция разрушила царские культурные институты. Но и создававшиеся в 20-х годах новые, «революционные» формы в области творческой деятельности, образования, науки, организации, упра-

вления и т. д. вскоре переставали отвечать требованиям постоянно меняющейся свой курс советской культурной политики. Существованию последних из них положило конец постановление ЦК 1932 года. И когда время выдвинуло задачу строительства невиданной по масштабам организации, строить пришлось на месте не только пустом, но неоднократно вспаханном, перекопанном и загроможденном обломками прежних культурных форм; советским руководителям пришлось по кирпичику собирать и реставрировать то, что ими же было разрушено. Все это не способствовало темпам строительства.

Создание творческих союзов началось здесь сразу же после постановления о ликвидации художественных группировок. Уже через два месяца (25 июня 1932 года) было объявлено о создании Московского областного союза советских художников; аналогичные организации постепенно возникают и в других городах страны. Сначала Союз советских художников представлял собой лишь конгломерат формально мало связанных между собой республиканских, областных и городских творческих организаций. Только в конце 30-х годов создается его Организационный комитет, ставший централизованным органом управления. Председателем Союза с 1938 года назначается художник-реалист Александр Герасимов — мастер портрета, натюрморта и обнаженного тела.

Формально и Имперская палата изобразительных искусств и Союз советских художников были организованы как профессиональные или творческие союзы, однако в действительности они имели мало общего с такого рода союзами, существовавшими и существующими в нетоталитарных странах. Так, в принятом в 1934 году уставе Союза советских писателей, ставшем образцом и моделью для всех других творческих союзов в СССР (художников, архитекторов, композиторов, журналистов), прямо говорилось, что Союз объединяет в себе писателей, «стоящих на позициях советской власти, желающих активно участвовать своим творчеством в классовой борьбе пролетариата и в социалистическом строительстве», а его целью и задачей является «активное участие советских писателей своим художественным творчеством в социалистическом строительстве, защита интересов рабочего класса и укрепление Советского Союза путем правдивого изображения истории классовой борьбы пролетариата, классовой борьбы и строительства социализма в нашей стране, путем воспитания широких трудящихся масс в социалистическом духе». В уставе Имперской палаты в качестве ее цели выдвигалось — «способствовать развитию немецкой культуры в духе ответственности за народ и государство». В контексте тоталитарной идеологии «дух ответственности за народ» и «воспитание трудящихся в духе...» можно вполне считать за синонимы. Политика и культура сплелись здесь в один неразрывный клубок.

Наиболее зловещей чертой этих тоталитарных союзов стала их всеобщая обязательность: только став членом одного из них, художник обретал право на профессиональную деятельность. В уставе Имперской палаты культуры указывалось, что любой человек, работающий в области культуры, «независимо от того, член он этой организации или нет, подпадает под юрисдикцию той или иной специализированной палаты» (§ 28), а в § 29 говорилось, что «суды и административные власти должны оказывать юридическую и административную поддержку Имперской палате культуры и отдельным ее палатам». Нацистское законодательство предусматривало прямое запрещение профессиональной деятельности для определенных групп художников (прежде всего тех же модернистов и евреев), и комиссары от искусства вместе с чинами полиции следили за соблюдением этого запрета, проверяя время от времени состояние кистей и палитр у запрещенных мастеров. В Советском Союзе не было необходимости идти столь далеко по пути юридических предписаний. В условиях тотальной монополии все необходимые для профессиональной деятельности художника материалы и инструменты оказались в руках государства и могли распределяться только внутри Союза советских художников и только между его членами: краски, холсты, бумага, гипс, бронза, мрамор, не говоря уж о литографских станках, которые, как и все средства массового тиражирования, были поставлены здесь на строгий государственный учет. Приобрести в открытой продаже большую часть этого художественного ассортимента было абсолютно

невозможно, а остальное — чрезвычайно трудно. Кроме того, в обществе, живущем под лозунгом «кто не работает, тот не ест», всякий, кто не является членом творческого союза и не занят на государственной службе, формально подпадает под положение о тунеядстве, по которому может быть судим и выслан в самые отдаленные районы страны.

Министр народного образования и пропаганды лично начал руководство Палаты культуры и ее отдельных специализированных палат. Оно в свою очередь, согласно уставу, принимало членов и могло отвергнуть того или иного кандидата на основании «его ненадежности и несоответствия выполняемой им профессии» (§ 10). Следуя «принципам фюрера», которые теперь охватывали всю область культуры, руководство могло решать, кого следует принять, отвергнуть или исключить... Таким образом, правительство получило в свои руки готовый инструмент для исключения всякого, кто был политически или философски ненадежен или непригоден. В каждом случае такое исключение было равносильно отлучению на вечные времена от профессиональной деятельности. Последнее целиком относилось и к практике Союза советских художников.

Хотя формально его руководство избиралось путем открытого голосования, на самом деле объектом голосования были не конкретные люди, а списки, составленные и утвержденные в высших партийно-государственных инстанциях. Сомневаться в правомерности таких списков, особенно в сталинские годы, было столь же возможно, сколь и подвергать сомнению правильность самой партийной политики, и практически все они всегда принимались единогласно. «Избранное» таким образом руководство решало, кого принять в члены Союза, кого отвергнуть и кого исключить. При этом, как и в Германии, под «соответствием профессии» кандидата понималась в первую очередь его политическая надежность.

Вступая в такие союзы, мастера культуры ставили себя на службу государству не в фигуральном, а в самом прямом и непосредственном смысле этого слова. Их единственным средством существования и стимулом работы стали государственные заказы. Обычно они связывались с важными политическими событиями: юбилеями, памяtnыми датами, великими достижениями в области народного хозяйства или победами на фронтах войны. Из созданных на заданные темы работ устраивались тематические выставки, которые затем развезли по разным городам этих стран. Лучшие произведения отбирались из них на главные — ежегодные выставки, представлявшие собой «смотр» наивысших художественных достижений страны». В СССР это были Всесоюзные художественные выставки, устраивавшиеся сначала в залах Третьяковской галереи, а потом вследствие их все увеличивающегося масштаба — в огромном здании Манежа в Москве; в Германии — Большие выставки немецкого искусства в Мюнхене. Те и другие представляли собой гигантские фильтры для просеивания всей художественной продукции, создававшейся в этих странах, и отбора из нее образцов, наиболее соответствовавших духу «принципов фюрера» или соцреализма.

Однако и догма социалистического реализма и «принципы фюрера» не держали в себе прямых рецептов того, как надо ее штамповать и какой она должна быть. Здесь идеологи тоталитаризма вели свои суда к цели, не вдаваясь в философское теоретизирование, а следуя компасу своей политической (расовой или классово-интуитивной, практического опыта и голой эмпирии). Теория тут лишь шла за практикой и обосновывалась ею, ибо, по точному определению Оруэлла, «тоталитарное государство управляет мыслями, но не закрепляет их. Оно устанавливает неопровержимые догмы и меняет их со дня на день»².

Эталоны тоталитарного искусства оттачиваются в ходе работы мегамашины культуры, в которой творческие союзы представляют собой лишь одну из ее тесно взаимосвязанных

² Д. Оруэлл сказал это в передаче по Би-би-си за три дня до начала войны между Россией и Германией, 19 июня 1941 года, и подкрепил свою мысль воистину пророческим примером: «Вот пример откровенный и грубый: любой немец до сентября 1939 года должен был относиться к русскому большевизму с ужасом и отвращением — с сентября 1939 года он должен проявлять к нему симпатию и восхищение. Если Германия и Россия вступят в войну друг с другом, мы будем присутствовать при столь же внезапном повороте на 180 градусов».

частей. В СССР и Германии такая мегамашина была отстроена к середине 30-х годов.

17 июля 1937 года в Мюнхене в только что построенном Доме немецкого искусства в присутствии Гитлера, правительства и дипломатического корпуса была с помпой открыта первая Большая выставка немецкого искусства. Практика таких выставок стала ежегодной и продолжалась до 1943 года. Отбор экспонатов для первых из них производился лично Гитлером, и на каждом каталоге красовался его титул — «патрон (Schirmherr) Дома немецкого искусства». Принципы своего отбора фюрер однажды откровенно изложил так: «Я неуклонно придерживаюсь следующего принципа: если какой-нибудь доморощенный художник подсовывает на рассмотрение для мюнхенской выставки дрянь, то он либо обманщик — и его следует посадить в тюрьму, либо он сумасшедший — и в таком случае его место в сумасшедшем доме, или он дегенерат — и тогда его надо посадить в концлагерь для перевоспитания и исправления посредством честного труда».

Но оказалось на первых порах, что отобрать для «смотров высших достижений» даже тысячу-полторы произведений — дело отнюдь не простое. По словам Генриха Хоффмана, личного фотографа Гитлера, назначенного ответственным за организацию мюнхенских выставок с соответствующим титулом «профессора искусств», на первую Большую немецкую выставку было представлено 8 тысяч работ. 12 профессоров просеивали эту массу, и все же Гитлер остался недоволен результатами окончательного отбора. Он даже собирался отменить выставку этого года и только под влиянием уговоров Хоффмана изменил свое решение. Очевидно, на четвертом году нацизма в арсенале немецкого искусства не оказалось достойных образцов; их надо было создать с помощью отстраиваемой мегамашины культуры. С этой целью в нее вводятся еще один блок.

Для поощрения высочайших из них в Германии в 1937 году учреждаются Государственные премии, а в России в 1940-м — Сталинские премии (после смерти Сталина переименованные в Ленинские). В присуждении Государственных премий последнее слово оставалось за Гитлером. Списки сталинских лауреатов составлялись государственной комиссией Комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров (впоследствии вошедшего в состав Министерства культуры СССР), согласовывались с соответствующим отделом ЦК ВКП(б) — КПСС и, конечно, апробировались самим Сталиным. Избранным и утвержденным вручался золотой значок лауреата Сталинской премии первой степени и 100 тысяч рублей или серебряные значки и соответственно меньшие суммы денег для второй и третьей степеней. В сложной иерархии тоталитарной элиты эти лауреаты заняли место хранителей священных принципов соцреализма или национал-социалистического искусства. Позже, уже после войны, в СССР к этой иерархии прибавился еще более высокий слой — действительные члены и члены-корреспонденты Академии художеств СССР.

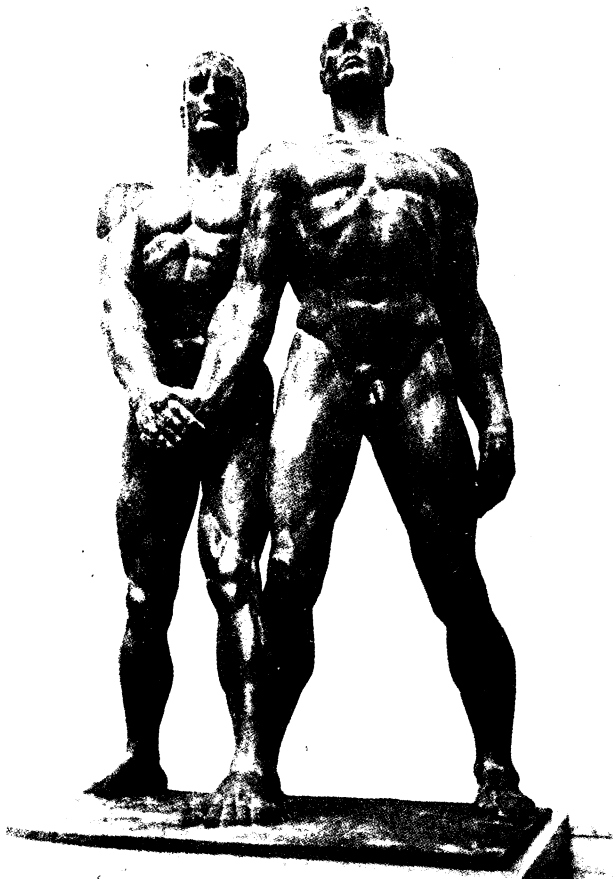
В Германии помимо премий, званий и наград существовала еще одна важная форма создания высшего эшелона нацистской художественной элиты. В 1944 году, накануне военной катастрофы, Геббельс утвердил список наиболее выдающихся деятелей культуры, освобождаемых от службы в армии и от работы в военной промышленности. Назывался он «Список А», или «Список бессмертных». Из художников в него были включены создатели главных нацистских монументов и портретов Гитлера Арно Брекер, Йозеф Торак и Фриц Климш, авторы наиболее известных тематических картин Герман Градл, Артур Кампф, Герман Гисслер, Леонард Галл, ответственный за гитлеровский «план монументальной пропаганды» профессор Вильгельм Крейс и Пауль Шульце-Наумбург. Из старых знаменитостей звания «бессмертного» удостоился только Георг Кольбе, который после нескольких лет гонений восстановил свое имя портретами фашистских лидеров (в частности, генерала Франко). Существовал еще и более расширенный «Список В» — «божественных талантов», который включал в себя несколько сот имен нацистских писателей, художников, артистов, музыкантов и т. д. Естественно, что эти «бессмертные» и «божественные таланты» пользовались привилегиями не только освобождения от мобилизации.

С появлением этих академиков и лауреатов, по сути, от-



пала необходимость каких-либо теоретических разработок, формулировок, определений природы и стиля социалистического реализма или национал-социалистического искусства: их эстетическими эталонами стало то, что производилось всеми этими носителями высших государственных титулов и наград.

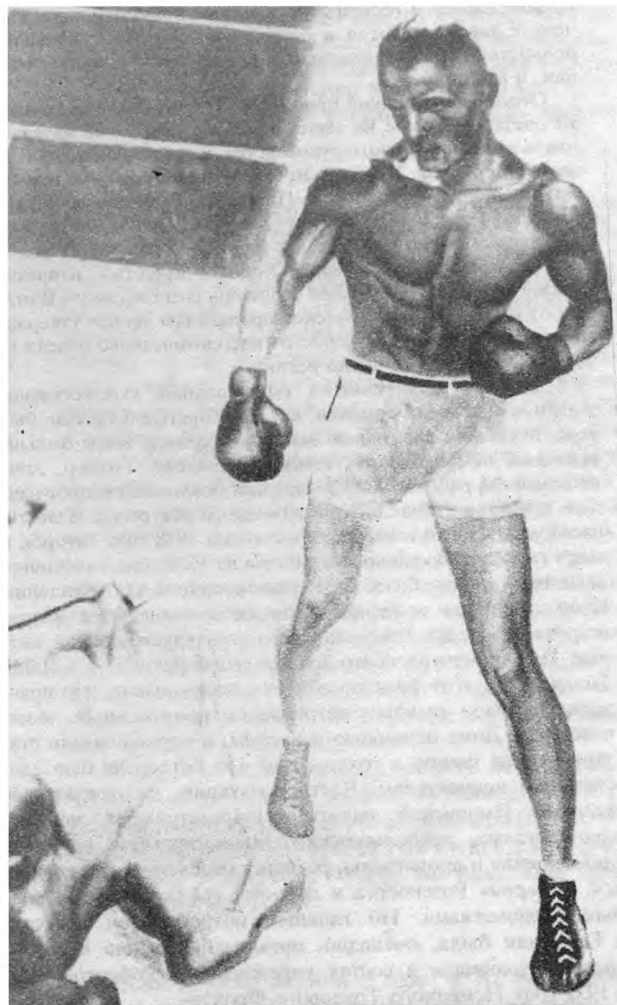
Учитывая такую ситуацию, Геббельс предписанием от 27 ноября 1936 года вообще отменил всякую художественную критику в Германии, а вместе с ней и какие бы то ни было обсуждения и дискуссии по вопросам нацистского искусства: «Поскольку этот год не внес улучшений в художественную критику, я запрещаю раз и навсегда продолжающуюся и сегодня художественную критику в ее прежней форме. Отныне художественный репортаж займет место художественной критики, которая возмнила себя судьей искусства — абсолютно извращенная концепция «критики», ведущая свое начало от времен еврейского засилья в области искусства. Критик теперь заменяется художественным редактором. Художественный репортаж не должен касаться ценностей, он должен ограничиваться описанием. Такой репортаж должен дать возмож-



ность публике самой выносить суждения, должен стимулировать формирование общественного мнения о художественных достижениях, руководствуясь собственной позицией и чувствами».

А «Фолькише беобахтер» (главный печатный орган нацизма) уточняла эти положения Геббельса: «Единственный возможный стандарт суждения о произведении искусства в национал-социалистическом государстве есть национал-социалистическая концепция культуры. Только партия и государство имеет право определять стандарты согласно национал-социалистической концепции культуры» (29.11.36); «В будущем рецензировать произведения искусства будут только те, кто отдается этому роду деятельности чистосердечно и в соответствии с национал-социалистическим мировоззрением» (28.11.36). В Советском Союзе проблема художественной критики (как и многие аналогичные проблемы) решалась путем не столько широковещательных заявлений, сколько административных мер. Вскоре после постановления ЦК от 23 апреля 1932 года здесь были ликвидированы все периодические издания по искусству, связанные с теми или иными группировками, и на их месте с 1933 года начал публиковаться единый журнал «Искусство», орган Союза советских художников, выходящий и по сей день. Естественно, что критика в нем была доверена только людям, отдававшимся этому делу чистосердечно и в соответствии с марксистско-ленинско-сталинским мировоззрением.

Люди, занятые в этой профессии, то есть критики, искусствоведы, историки искусства, там и здесь объединялись в творческие союзы: в СССР они входили (и входят) в секцию критики Союза советских художников, в Германии — в 7-й департамент Палаты изобразительных искусств, который назывался «Художественные публикации, продажи и аукционы». Критика, таким образом, стала частью тоталитарной машины, охватившей целиком всю область культуры.



Хотя критика в Советском Союзе не была отменена в законодательном порядке, положение советского критика мало чем отличалось от положения его немецкого коллеги. Произведения соцреализма, удостоившиеся высших премий и наград, по существу, оказывались вне сферы ее компетенции: можно было только описывать изображенные в них события и персонажи, находя все новые достоинства в их идейном содержании и художественном языке. Всякие же негативные оценки по их поводу полностью исключались.

Тоталитарная машина, вобравшая в себя художников, лишила их свободы выбора, но открыла перед ними широкое поле деятельности, она направила их творчество по узкому руслу политизированного искусства, но щедро вознаграждала тех, кто верно следовал по указанному пути. Так, придворный скульптор Гитлера Арно Брекер в 1938 году заработал на государственных заказах больше, чем Геббельс за три года, а актер Эмиль Янингс на одном из послевоенных процессов нацистских преступников предъявил суду подписанные с ним контракты и, обратившись к судье, спросил: «Позвольте задать вам вопрос: а вы бы отказались от такой суммы?» Поэтому Геббельс, выступая в 1937 году на объединенном ежегодном конгрессе Имперской палаты культуры и организации «Сила через радость», имел некоторые основания заявить: «Германский художник стоит на твердой жизненной почве. Искусство, выработанное из узкого, изолированного круга, снова оказалось в гуще народных масс и отсюда оказывает мощное влияние на всю нацию. Естественно, что политическое руководство вмешивается в художественную жизнь... прямо и ежесекундно. Но это происходит таким образом, что служит только на пользу немецкому художнику: через субсидии, заказы на работы и художественный патронаж, что сегодня по щедрости не имеет равных во всем мире... Германия идет вперед всех стран не только в области искусства, но и в той заботе, которая дождем изливается на художников... Немецкий художник сегодня чувствует себя более свободным и менее ограниченным, чем когда бы то ни было. С радостью он служит народу и государству, которые принимают его и его дело с такой теплотой и пониманием. Национал-социализм полностью завоевал немецких художников. Они принадлежат нам, а мы им».

Отстаивая немецкий приоритет, Геббельс преувеличивал: в Советском Союзе на адептов соцреализма тоже изливался дождь забот партийного руководства, и его лауреаты А. Герасимов, Меркуров, Томский, Вучетич зарабатывали не меньше, чем их немецкие коллеги. «Положение деятеля советского искусства в социалистическом обществе, возможности, которыми располагают творческие союзы в нашей стране, не имеют себе равных в мире. Хорошо известно, например, какой мощной материальной базой они располагают». В отличие от многих клише советской пропаганды данное утверждение, идущее непосредственно от идеологического отдела ЦК КПСС, несет в себе зерно истины.

Главными событиями в официальной художественной жизни нацистской Германии, как и в Советской России, были тематические и ежегодные выставки, прежде всего Большие выставки немецкого искусства в Мюнхене. Гитлер, лично отбиравший работы, был и главным покупателем произведений, представленных в Доме немецкого искусства. Известно, например, что с мюнхенской выставки 1938 года (второй по счету) им было куплено 144 работы из 1158, здесь экспонировавшихся, то есть более 13% общего количества. Купленные вещи хранились в здании Имперской канцелярии фюрера и предназначались для гигантского культурного центра, который Гитлер мечтал построить на своей родине — в Линце. Только один этот факт позволяет сделать вывод, что правительство было главным покупателем произведений, выставляемых в Доме немецкого искусства, и устанавливало стандарты на их форму и содержание. Но Гитлер не был единственным покупателем. Часть продукции, изготавливаемой членами Имперской палаты изобразительных искусств, приобреталась геббельсовским Министерством народного просвещения и пропаганды, разными отделами «идеологической империи» Розенберга и прочими гражданскими и военными ведомствами. Но главным потребителем искусства в Германии была, очевидно, организация «Сила через радость», входившая в состав учрежденного Робертом Леем в 1933 году Немецкого Трудового Фронта.

На «Силу через радость» была возложена обязанность организации досуга трудящихся, в первую очередь пролетариата, путем вовлечения людей в официальную культурную деятельность нацизма. По своим пропагандистским и идеологическим целям она во многом дублировала Министерство народного просвещения и пропаганды, и споры между Геббельсом и Леем о разграничении сфер компетенции этих организаций продолжались в течение ряда лет (так, в 20-х годах дублировали друг друга Наркомпрос, Главполитпросвет, ПУР и некоторые другие блоки отстранявшейся и еще несовершенной машины). Вдохновленные теориями советского авангарда, в частности пролеткульта, деятели ее несли искусство в массы, а вместе с ним и через него — «великие» идеи национал-социализма, призванные сформировать новый «дух нации». «Сила через радость» занималась устройством разного рода культурных мероприятий: художественных конкурсов под разными девизами вроде «искусство и народ составляют одно целое», лекций, концертов, рабочей самодеятельности и т. д. В области изобразительных искусств ее главной функцией было устройство передвижных выставок национал-социалистического искусства, которые направлялись в разные города и чаще всего развертывали свои экспозиции в помещениях заводов и фабрик. Первая такая передвижная выставка открылась в Брауншвейге уже через два месяца после установления нового режима — в апреле 1933 года. В этом «Сила через радость» тоже следовала за практикой советского искусства: в послереволюционной России с аналогичными целями передвижные выставки начали устраиваться АХРРом с 1922 года.

Эффект деятельности этой организации был, очевидно, весьма значительным. По словам Г. Лёманн-Хаупта, «абсолютная истина, что перед войной каждый в нацистской Германии был последовательно вовлекаем в одну из форм официально поддерживаемой художественной активности». Если это так, то такая тотальная вовлеченность в сферу официальной культуры была идеалом и для советской культурной машины, впрочем, никогда не достигнутом. Здесь не было таких централизованных организаций, как Имперская палата культуры и «Сила через радость». Разные сферы культуры распределялись между различными творческими союзами, комитетами Совета народных комиссаров (позднее отделами Министерства культуры СССР), а также республиканскими и местными административными организациями. В частности, передвижными выставками советского искусства занималась организация под названием Дирекция художественных выставок и панорам, входившая в состав сначала Комитета по делам искусств при СНК, а потом (вплоть до настоящего времени) в Министерство культуры СССР. Она осуществляла эту задачу с меньшим размахом, чем «Сила через радость», по всей территории Советского Союза — от Черного моря до Белого и от Карпат до Дальнего Востока.

При этих внешних различиях обе тоталитарные структуры были построены по четко пирамидальному принципу и сценарированы «духом партии», подобным, по выражению Луначарского, «библейскому Духу Господню».

В Германии деятельность организаций Геббельса, Лея и Розенберга контролировалась непосредственно фюрером, в Советском Союзе три основных блока его мегамашины культуры — Союз советских художников, Министерство культуры и Академия художеств СССР — увенчивались соответствующим отделом при секретариате ЦК ВКП(б) — КПСС, который действовал в тесном контакте с вождем. В кабинеты фюрера или вождя сходились в конечном итоге все нити управления культурой, здесь принимались кардинальные для нее решения — общеобязательные и не подлежащие последующему обсуждению, здесь формулировались принципы соцреализма и «принципы фюрера» и утверждались меры для их проведения в жизнь.

Меры эти диктовались одной и той же «исторической необходимостью»: чтобы открыть дорогу новому искусству, следовало прополоть всю ниву культуры от сорняков «модернизма», от всего того, что на языке тоталитаризма получало название маразма и разложения, искусства «загнивающего» и «дегенеративного», «культурбольшевизма» или «фашистского охвостья». Поэтому рука об руку с интенсивным процессом культурного строительства и там и здесь идет и достигает кульминации не менее интенсивный процесс культурного террора.

ОЛЬГА ЧУЙКОВА
ДОЧЬ НАЧАЛЬНИКА



на пепелище

Посвящая родителям.

Ночью меня разбудили. На столе горела керосиновая лампа. Мама поднесла меня к папе, сидящему у стола, посадила к нему на колени. Помню странное ощущение физической неловкости. Теперь понимаю, в чем было дело: папа вернулся с фронта без ноги, еще не носил протеза. На столе лежат непонятные вещи, меня угощают, но я испугана, скована, смотрю и молчу...

Я не помню военного голода (была слишком мала), помню только отдельные эпизоды, с ним связанные. Вот я стою у стула, передо мной стакан молока с крошечным в него хлебом. Коровы не было, молоко выдавали на меня в детской консультации. Напротив столпились старшие: Зоя, Володя, Вера, — и каждый просит: «Дай ложечку!» А может, Вера не просила, она была сознательная, была моей няней — старше на пять лет! И я даю ложечки, но в какой-то момент замечают, что в стакане сильно убавило, и жадность охватывает меня. Начинаю отправлять ложечки в свой рот, испуганно глядя на сестер и брата.

Вечер. Мы сидим вокруг стола, на нем — сковорода с овсом. Мы, дети, едим, мама читает нам книжку.

В доме появились конфеты — круглая карамель без обертки. Все во дворе: мама, Вера, Володя, Зоя, я. Пилим дрова. Квартира закрыта на ключ. Я знаю, где он лежит, знаю еще, где лежат конфеты. Проскальзываю в коридор, открываю ключом дверь, достаю конфеты, беру одну в рот. Быстро прожевываю, выхожу во двор. Через некоторое время какая-то сила снова тянет меня в дом, снова съедаю конфетку... То ли от меня пахло конфетами, то ли кому-то показались подозрительными мои хождения, но однажды я была поймана с поличным. В кухню вошли в тот момент, когда я сунула конфету в рот. Побежала в спальню, полезла под кровать, добралась до папиного велосипеда

Фото из семейного альбома



и там застряла. Надо мной стояли и стыдили меня, а я жевала, жевала, жевала. Именно это жевание больше всего распяло моих преследователей. Долго после этого жизнь мне была не мила.

Папа говорил нам: «Вот кончится война — на улицах колбаса будет валяться». Я не знала, что такое колбаса, но старшие знали и после дня Победы часто смотрели на дорогу: не валяется ли?..

Мы жили на Коммунистической улице, на первом этаже двухэтажного деревянного дома. В нем размещались четыре семьи: рядом с нами тетя Капа, наверху Ивановы и Тихомировы. Детей в доме было много: четверо нас, четверо Ивановых, двое Тихомировых...

Я играла с Зоей и нашими ровесницами Женей и Ниной. Мы часто ссорились. Как-то в дальнем углу двора я и Зоя построили из щепочек дом, двор, огород, и Нина совсем рядом возвела свои постройки. Вот подходит Володя, начинает задирать нас, случайно наступает ногой на Нинин огород. На рев дочки выбегает из дома тетя Маша. Володи и след простыл, мы с Зоей стоим возле своих построек испуганные, но и бросить их не решаемся. Да и не виноваты мы ни в чем, разве только в том, что Володины сестры... Но тете Маше некогда выяснять степень нашей виновности. На ходу замечает следы преступления и топчет большими ногами наши постройки.

Была еще игра у старших детей: обманывать. Под забором со двора просовывали ниточку, вели ее, замаскировав травой и землей, до дощатого тротуара и там над большой щелью между досками привязывали к ней вещь: старый кошелек, набитый мусором, или брошку, или бумажный рубль. Прохожий нагибался, и в это время кто-нибудь из ребят во дворе, следивший за ним в щелку, дергал за ниточку. Вещичка проваливалась под тротуар, проползала по канавке и оказывалась в руках владельца... Любимым занятием детей было сидеть на заборе и смотреть на улицу — ждали, когда появится прохожий. А прохожих было мало. Когда замечали человека вдаль — всех с забора моментально сдувало.

Однажды рабочий с топором, на глазах у которого провалился под доски «кошелек с деньгами», стал, недолго думая, разворачивать тротуар. Потом, раздосадованный, кое-как уложил доски на место... Были и такие хитрецы, которые, не нагибаясь, наступали на вещичку ногой и завладевали ею...

Странное дело: то, что казалось интересным в одном месте, в другом никак не пошло. После переезда в новую квартиру на Горочной улице я попыталась со своей подружкой Таней организовать там такую же игру — ничего не получилось! Прохожие не обращали внимания на наши вещи. Да и мама, узнав про наше развлечение, запретила его: в доме жили только две семьи начальников, стыдно их детям обманывать людей...

У нас появилась живность: поросенок Васька и корова Ракетка. С Ракеткой связан такой случай. Мы все берегли и лелеяли нашу кормилицу. Однажды я увидела из окна коридора: тетя Маша бьет Ракетку палкой. Не могу сказать точно, в самом ли деле она ее била или только замахивалась, отгоняя, но я прибежала к маме на кухню с криком: «Марья бьет нашу корову!» Конечно, мама бросилась во двор.

Я сидела на полу между окнами, под зеркалом, когда в комнату вошли мама и тетя Маша. Тетя Маша грозно спросила:

— Скажи, Леля, била я корову?

И я сказала:

— Била.

Не помню, что еще говорила тетя Маша, но позже, вспоминая этот случай, все в семье называли меня

храброй. Может быть, гораздо больше смелости требовалось для ответа «не била»?..

Весной 1945 года родился Федя. Мне было четыре с половиной, Вера — исполнилось десять лет. Помню, Вера сидит на стуле, я прислонилась к ее коленкам, она гладит меня по голове и ласково говорит:

— Ну все, теперь ты не самая маленькая, кончилась твоя хорошая жизнь.

Впервые я увидела нашу новую квартиру еще до переезда (ходили смотреть ее вместе с Верой), этот день запомнился обилием необычных волнующих впе-

вали Веру или Зою с улицы.) Мама открывает окно, женщина еще пуще расхваливает свой товар. Мама говорит ей, что нет денег, а она возмущается:

— В таком доме живете, да денег нет!

...Мама будит нас рано. Поеживаясь, мы спешим на площадь к торговым рядам. Хлебные карточки отменили, появилась возможность либо купить много хлеба, либо остаться вовсе без него. Если подняться пораньше и втроем-вчетвером пробыть несколько часов в очереди, то дома на столе будут теплые, душистые черные буханки.

Очередь вытянулась вдоль рядов на дощатом на-



чатлений. Красивый дом, пустынный двор за калиткой, наполовину выложенный булыжником, широкая, светлая, хрупкая лестница на второй этаж... Не верилось, что мы будем жить в квартире с такой огромной прихожей, со стеклянной дверью в «зале» (так называли мы большую комнату с пятью окнами). Боязно было ступать на блестящий крашеный пол...

На первом этаже жили Петровы: Дарья, Павлыч (так мы звали главу семьи, который был одновременно главой города — председателем горсовета) и их дети Лена, Саня, Вова и Таня. Таня, моя ровесница, обладала исключительной практической сметкой. Стоило в растворе калитки появиться цыганам, как она сейчас же бросалась запирает дверь своей квартиры, потом дверь хлеба и все успевала сделать, пока мы еще глядели на них, открыв рот от испуга. Скольких трудов стоило убедить цыган, что нет у нас в доме для них ни яичка, ни хлеба! Еще бы: жить в таком доме и даже хлеба не иметь...

Вспоминаю по этому поводу еще одну картинку. Под окнами стоит женщина и громко предлагает какие-то вещи. (В нашем городе было не принято заходить в дом, кричали под окнами; даже одноклассницы вызы-

стие. Люди стоят и сидят прямо на досках. Мы тоже вначале стоим, потом приседаем на корточки. Не можем согреться. Проходит час, два. Вот все задвигались, зашевелились: появилась продавщица и открывает магазин. Первые в очереди получили возможность войти в тепло, встать у прилавка, а мы продвигаемся чуть ближе к заветной двери. Ждать становится веселее. Но хлеба еще нет, его привезут из пекарни в фургоне. Передние спрашивают продавщицу, когда будет хлеб. Кто-нибудь из тех, кто стоит недалеко от нас, бегают до магазина и обратно, передает слова продавщицы. Некоторые ждут за углом появления фургона. Кто-то кричит: «Везут!» — и бежит к своему месту в очереди. Очередь сжимается, люди начинают давить друг на друга... Напрасно волновались: ошибка. Лошадь появилась, да без фургона. Однако теперь народ не расслабляется, стоит плотно. Должны же привезти! А вдруг не привезут? И начинаются рассказы о том, как тогда-то и тогда-то так же вот ждали, а не привезли...

На сей раз повезло. Сразу несколько человек прибегают с радостной вестью. Им уже не встать на свои места, а подходят и другие, отлучавшиеся по разным

надобностям... Образуется второй ряд. Это опасно: в решительный момент, при входе в магазин, кто-нибудь может сказать: «А ты здесь не стояла!» Поэтому мы никогда не выходим из очереди и с чувством превосходства поглядываем на стоящих сбоку, которые при малейшем движении пытаются протиснуться на свое место.

Хлеб сгружают долго, и теперь нас охватывает новое волнение: достанется ли?

Домой возвращаемся счастливые, а мама жалеет: намерзлись! Хлеб она делит на равные порции, которые для пушей справедливости разыгрываются. Каждому выдается сразу вся порция. Так надежнее и удобнее: никто не будет бегать за мамой и кланчить кусочек...

Не знаю, как у других, а у меня хлеб до обеда не сохранился: съедала по крошечкам.

Принимается решение отдать меня в детский сад.

Смешно вспомнить, насколько плохо я представляла жизнь «организованных» детей. Вот я впервые в группе. Кому-то из девочек поручили меня занимать. Мы увлеклись в углу игрушками, а остальные затеяли хоровод. Это вызвало у меня недоумение, даже страх. Как быть? Если хоровод — обязательная процедура, то я, не участвуя в нем, нарушаю порядок.

Общественная жизнь не так-то проста и легка, это я усвоила за первым же обедом. За столиком нас было четверо. Одна из соседок капризничала, плохо ела. Когда воспитательница и девочки сделали ей замечание, решила и я вставить свое слово:

— Все уже поели, а она даже суп не съела!

Сказала и испугалась: все соседки, включая воспитательницу, злорадно уставились на меня. Долго не понимала, что случилось, а они меня мучили: ахали, обещали доложить воспитательнице... В конце концов оказалось, что надо говорить «кушать», а не «есть». Я этого не знала.

Хвалили меня часто: лучше всех писала палочки в тетради, была самой тихой и послушной. Когда появилась в группе новая дорогая кукла, только мне разрешили поиграть с нею, то есть подержать ее на коленях во время занятий (воспитательница читала нам книгу). Все завидовали мне, а я испытывала одно неудобство и стеснение. Но во время утренников цветы начальству вручали более бойкие, хорошо одетые дети.

Детский сад был в те годы чем-то вроде санатория. Детей можно было там подкормить. Конечно, он выполнял и главную свою функцию: освобождал матерей. Если ребенок не являлся в сад, его родные могли в тот день прийти туда за обедом. Маме стоило большого труда уговорить кого-нибудь из старших сходить за ним, но зато, когда обед приносили, понемногу доставалось всем. Естественно, сама я в этом случае не ела — получаю такой обед ежедневно!

Река была, можно сказать, в двух шагах от нашего дома. Здесь мы полоскали с мамой белье, собирали камешки и ракушки. В обычные весны вода поднималась до края высокого берега, затопляя низины. Иногда наш дом вместе с несколькими другими оказывался как бы на острове: затопляло и улицу...

В тот год я спала одна в большой комнате и проснулась ночью от шума. Окно было открыто, с улицы раздавались крики, а потом донеслось отчетливое: «Караул! Помогите!» Папа переговаривался с кем-то в окно, потом подошел к телефону и долго кричал в трубку. Я поняла, что случилась беда, но ни спросить у мамы причину, ни встать и подойти к окну не решалась. Когда папа бывал сердит или занят нервным

делом, я предпочитала не напоминать о себе. Но меня охватил ужас. Не раз бывало в детстве, что душа наполнялась жутью, мраком, жизнь казалась страшным сном. Так было и на этот раз. Где-то, чудилось, гибли люди, да и нас готова была поглотить темная сила...

Утром все оказалось необычным, интересным и даже веселым. Наш дом стоял высоко, даже крыльцо осталось сухим. Пострадали домики на набережной — ночью там спасали людей и скотину. На работу папу увезла лодка...

Учительница Ольга Ивановна часто гладила меня во время уроков по голове, восхищаясь тем, как красиво я пишу, но никакого проявления самостоятельности с моей стороны не терпела.

Во втором классе объявили среди учениц конкурс на лучшего чтеца и декламатора. Ольга Ивановна сама подбирала тексты, мне же захотелось рассказать стихотворение Квитко. Оно было про девочку, которая пела на лугу песню про бойца-героя:

*Увидел он, увидел он,
Что враг стены идет,
И закричал: «Товарищи!
За Родину, вперед!»*

Бойца ранили, в госпитале «сестра, как голубь белая, слезами залилась, сестра, как голубь белая, лечить его взялась...». Стихотворение длинное, выигрышное для декламации. Учительница долго придирчиво его изучала, но поводов для возражения не нашла и скрепя сердце разрешила готовить. Холодно похвалила, когда я заняла на конкурсе первое место, и долго возмущалась тем, что не получила премии другая девочка, читавшая что-то по ее рекомендации.

В четвертом классе, когда снова проходил такой конкурс, Ольга Ивановна заставляла меня прочесть наизусть отрывок из газетного очерка: про огни новостроек, про ударный труд... Видимо, наибольшее значение она придавала содержанию. Когда же я наотрез отказалась, учительница обрушила на меня свой гнев: говорила, что наконец-то ей открылся мой характер, что я вторично «показываю себя», что она во мне ошибалась... По стеснительности своей я не могла объяснить ей, почему не хочу декламировать газетный отрывок. Да и допустимо разве, чтобы ученица объясняла учительнице, чего та не понимает?

Ходить в поле за коровой — нелегкая обязанность, которую обычно выполнял Володя. И коровы его слушались. Но бывали дни, когда Володя почему-либо не мог отправиться в поле, и тогда между остальными возникли споры: кто пойдет? Я это дело не любила, потому что хитрая и умная Лысенка (первую, Ракетку, мы поменяли на Думку, Думку — на Субботку, и вот наконец Лысенка) знала, что я ее боюсь, и издевалась надо мной.

Я выходила в поле, где хозяева разбирали коров. По дороге старалась найти прут побольше и попрочней. Первой задачей было найти Лысенку, а это для меня оказывалось нелегко (я долго не подозревала, что у меня близорукость). Приходилось подходить к каждой черной корове совсем близко. Другие хозяйки удивлялись, что я так плохо знаю свою корову, и подсказывали мне, в какой она стороне.

Узнаю Лысенку, но и она меня узнает. Косит глазом, отворачивается, щиплет и щиплет траву, делая вид, что ей до меня нет никакого дела. Я говорю: «Лысенка, домой!» Никакой реакции. Подхожу к ней со стороны хвоста, машу прутом. Наконец ударяю, а она как будто этого и ждала: вскидывает голову, резко

поворачивается ко мне, делает характерное движение — поддеть на рога. Я отекаю. Начинается сражение. От злости теперь пытаюсь ударить корову как можно больней. Упрямство и стыд заставляют бороться до конца. Но Лысенка тоже упряма, она не дает мне насладиться победой. Дождавшись, когда поле опустеет, а я бессильно сижу в сторонке, она, независимо оглядываясь, то и дело склоняясь к траве, делает первые шаги по направлению к дому. Тут мне нужна выдержка: если я решу, что «дело в шляпе», и нетерпеливо подгоню ее — начнется все сначала. Лысенке нужно прийти домой по своей охоте...

На уроке физкультуры в пятом классе учитель показывал нам, как надо правильно прыгать в высоту (до этого мы прыгали как придется). Я внимательно следила за ним, чтобы не ошибиться, когда подойдет моя очередь. И вот, волнуясь, разбегаюсь, отталкиваюсь как положено, заносю ногу... Я так боялась ошибиться, что перестаралась и приземлилась на скрещенные ноги. Раздался отчетливый хруст. Боли в это мгновение не было, только хруст, который услышали все в зале. Упала и почувствовала стыд, хотела подняться, но преподаватель сам бросился ко мне. И он, и подошедшая классная руководительница очень перепугались — в основном оттого, что несчастный случай произошел именно со мной, дочкой начальника. Вдвоем перенесли

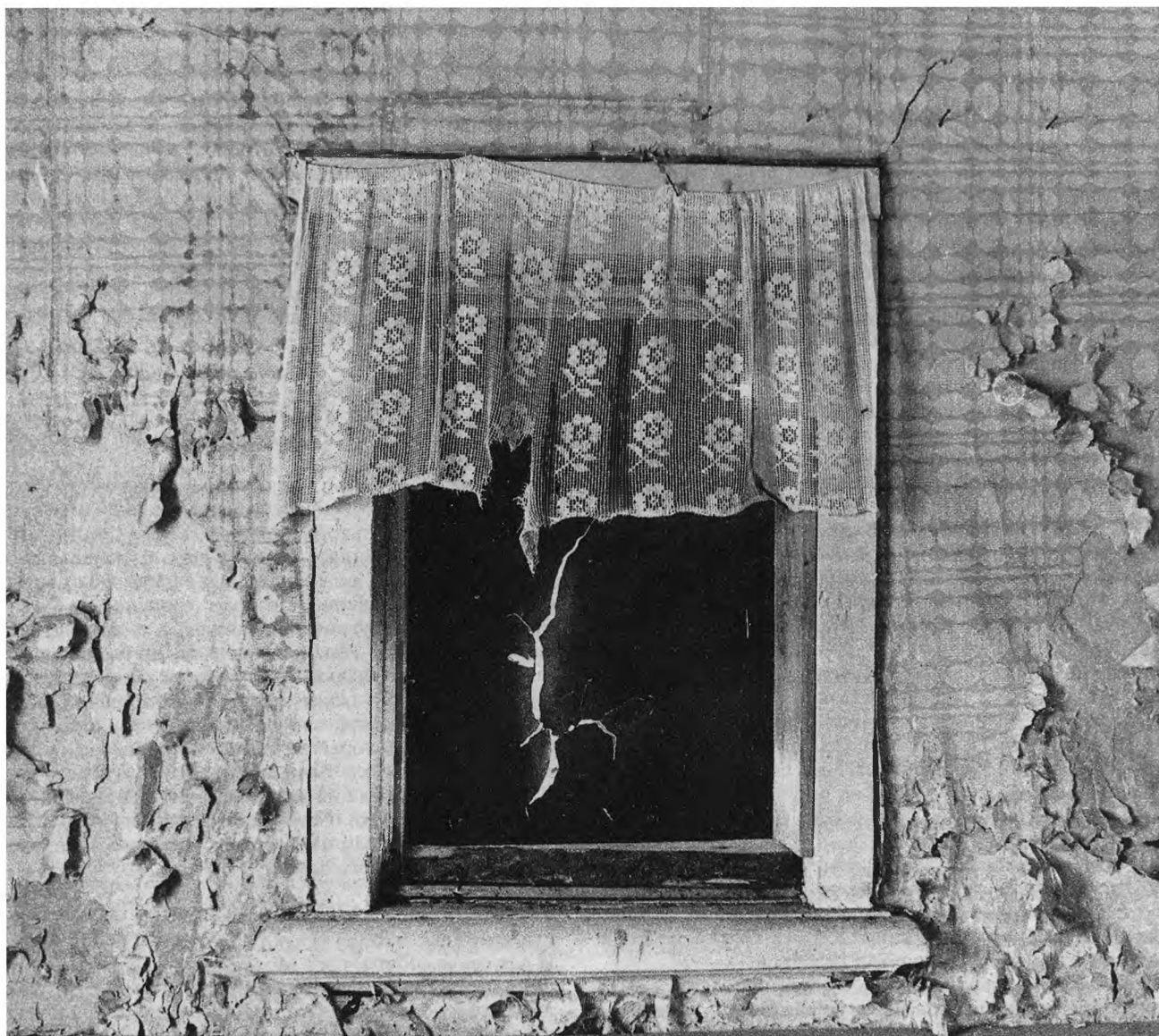
меня в учительскую, положили на диван. Учитель физики, худой и высокий, ко всеобщему удивлению, посивший зимой не валенки, а ботинки, сказал, что надо приложить к ноге что-нибудь холодное, и поставил на впухшее место стакан с водой. Директор звонила в больницу и папе.

Исполкомовская машина увезла меня в больницу. Тут-то я и испытала настоящую боль, когда хирург Зоя Михайловна, решительная и энергичная, принялась выправлять ногу и класть ее в гипс. Я стояла и хваталась за маму, сидевшую рядом, а Зоя Михайловна, дочь которой Инга училась со мной в одном классе, говорила:

— Я так и обмерла, когда мне сказали, что случилось несчастье, подумала — что-нибудь с Ингой. Так сердце и упало...

Она говорила это так, будто никакого несчастья не произошло.

Случилось это весной перед экзаменами. Мысль, что я не буду их сдавать, не приносила мне никакой радости. Одноклассники же восприняли этот факт иначе. Когда Инга сообщила, что меня переведут в шестой класс без экзаменов, в ее голосе послышалась зависть. Пришла классная руководительница, поздравила с переводом и с похвальной грамотой. Для меня во всем этом было лишь неудобство: казалось, будто все без конца напоминают мне о сделанных побряках...



Темные силы несчастий таились всюду. Они угрожали нам из ящичка репродуктора голосом Левитана, заковывали душу в броню страха при болезни малышей или пропаже коровы, могли в самый радостный момент обрушиться чем-то непредвиденным и ужасным. В глухие осенние и зимние вечера жутко завывало в трубах: казалось, порывы ветра могут снести крышу. В такие вечера старшие по очереди дежурили допоздна, сидя при свете лампы за книгой. Чуткая к настроениям и тревогам других, я не умела радоваться сегодняшнему светлому дню в ожидании грядущих напастей...

Это началось в предрассветных сумерках одного из последних зимних дней. Я проснулась. В комнате были мама и папа, из репродуктора раздавался траурный голос. Вот оно. Сжавшись в комок под одеялом, я не сразу поняла, в каком виде и с какой стороны пришло несчастье.

Заболел Сталин. В глубине души никто не верил, что может наступить выздоровление. Ежедневные траурные бюллетени о состоянии его здоровья не оставляли на это надежды. Весь народ был в трауре. В один из этих дней я и Вера шли в баню по дороге, проложенной санями вдоль реки, очертания которой едва просматривались под снежным покровом. Навстречу попала бабушка Дружинина (ее сын, погибший на войне, был в довоенные годы папиным сослуживцем). Бабушка плакала и спрашивала Веру:

— Как же мы теперь будем жить, если он не поправится?

Вера горячо успокаивала ее:

— Обязательно поправится! Лучшие врачи с ним. Обязательно вылечат!

Взрослые разговаривали с серьезной Верой как с равной, прислушивались к ее мнению.

Пришло известие о смерти. В тот день в классе все сидели притихшие, задумчивые, а если у кого-то вырывался громкий звук или смех, это казалось святотатством. Но к середине дня жизнь потекла обычным порядком, и я про себя возмущалась: «Как они могут!...»

Дома старшие были всерьез озабочены: кто заменит Сталина, как поведут себя внешние враги? Скорбь и страх перед будущим сливались вместе. А я сочинила стихи:

*Этот день ничем не отличался
От мартовских весенних дней,
Но в этот день наш вождь скончался —
Сталин, друг, учитель дорогой...*

К нам в класс пришла новенькая, Валя. Круглолицая, в темном платье из атласного шелка, с живыми умными глазами, она производила приятное впечатление. Сразу попросила посадить ее со мной: оказывалась, ее мама, агроном, была знакома с моим папой.

Скоро Валя стала приглашать меня к себе домой. В чужих людях я обычно отказывалась от угощения. Валя не могла понять, что мне действительно не хочется у нее есть, и старалась что-нибудь в меня впихнуть. Обычно она хозяйничала дома сама. Для меня это было странно — мы ничего не трогали на кухне без маминого разрешения... Однажды Валя долго заставляла меня съесть кусок селедки. У себя дома я съела бы его, наверное, с удовольствием, а здесь не могла. Бойкая девочка не отвязывалась, и тогда я сунула селедку в карман своей курточки. По дороге домой, конечно, выбросила, но запах! Карман куртки, носовой платок, руки — все пропахло селедкой.

А потом у девочек в классе стали пропадать вещи: записные книжки, красивые карандаши... Учительница, щадя воришку, устраивала различные экспери-

менты. Мы входили по одному в пустой класс: кто взял вещь, мог положить ее на место и остаться неузнанным. Ничто не помогало. После очередной пропажи учительнице пришлось устроить обыск. Воришкой оказалась Валя.

Года три, наверное, спустя, когда я возвращалась одна из школы, меня нагнали одноклассницы, среди которых была и Валя.

— Ага, иди с нами не хочешь! — внезапно закричала она. — Как же, благородная, дочка начальника! Куда нам до нее, темным!..

То, что меня одевают хуже других девочек, я воспринимала как неизбежность, но страдала от этого не меньше.

У мамы было три дочери, в первую очередь она одевала старшую. Зое тоже перепали иногда новые вещи. А мне доставались обноски.

В детском саду праздник — новогодняя елка. Девочки пришли наряженные. Я тоже выпросила наряд: Зоино коричневое шерстяное платье. Мне оно было велико. Наверное, мама не советовала его надевать, но как прийти на праздник в будничной одежде? И вот я бегаю за подружками, поддерживая платье...

Если мне и шилась новая вещь, то обязательно на вырост. От этого она теряла свою прелесть, а когда становилась впору, то уже никого не интересовала. В школу я ходила в Зоиную пальто, которое к Зое перешло от Веры и было настолько старо, что починить его не было уже никакой возможности. В те же годы донашивала Верину-Зоину шубку, лохматившуюся от выдранных кусков...

Мама переживала из-за нашей одежды, тратила на нее большую часть папиной зарплаты, остального хватало только на хлеб. Часто перед зарплатой ходили занимать пятерку или десятку. Питались так: утром картошка в мундире и к ней зимой соленая капуста, а летом — зеленый лук; в обед постные суп или щи с хлебом; вечером молоко. Зимой по воскресеньям изредка покупали на рынке мясо, его хватало на один день. Если бы я рассказала кому в то время, как мы питаемся, никто бы не поверил. Слышала, как девочки в школе говорили про одну бедную семью:

— Мы приходим к ним, а они картошку в мундире едят...

«Ну и что! — хотелось возразить мне. — А у нас все время картошка в мундире!» Но было почему-то стыдно...

Конечно, в городе жило немало настоящей бедноты, мы же чувствовали себя бедными лишь в сравнении с детьми из интеллигентных семей, с которыми больше всего общались. Как-то мне с учительницей пришлось ходить по домам, проверять подготовку к урокам слабых учениц. По узкой тропинке, проваливаясь в темноте в сугроб, перешли реку, долго плутали, ища нужный дом. Наконец открыли дверь, в тесных сенях нашарили следующую и тотчас наткнулись на самодельное сооружение вроде детского манежа, где ползали два грязных, худосочных, с большими головами близнеца, которых не держали тонкие ножки (как потом оказалось, им было по полтора года). Бедность и теснота произвели на меня тогда тяжелое впечатление. Не говорю уже о той ужасной нищете, про которую рассказывал нам папа, возвращаясь из командировок по дальним колхозам...

Папа давно обещал привезти мне из Москвы пупса — пластмассовую куклу. Обещал и не привозил. И вот снова собирается в Москву и говорит: «Ну в этот раз привезу пупса обязательно!» Мы с Зоей переглянулись и рассмеялись: обе уже учились в старших классах, говорить о куклах было поздно.

В.Г. КОРОЛЕНКО

ПИСЬМА К А.Г. ГОРНФЕЛЬДУ
1918-1921



На известной фотографии редакции журнала «Русское богатство» рядом с В. Г. Короленко сидит Аркадий Георгиевич Горнфельд (1867-1941), литературовед и литературный критик.

В 1924 году ленинградским книгоиздательством «Сеятель» были изданы «Письма В. Г. Короленко к А. Г. Горнфельду», написанные на протяжении семнадцати лет их сотрудничества и дружбы. Нас теперь интересуют прежде всего письма Короленко периода первых лет советской власти, но они в публикации 1924 года приведены не полностью — часть из них напечатана в купюрах, причем не обозначены, часть вообще из книги изъята. Мы публикуем их по автографам, хранящимся в фонде А. Г. Горнфельда в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ, ф.155, оп.1, ед. хр. 342а), с указанием страниц.

«Две купюры в письме от 19 января 1918 г., с.149. Первая после слов: Вообще — здоровье мое — швах.»

Мы теперь под «большевиками». Кажется, я писал, как они тут решают социальный вопрос: лучшее средство для этого оказывается кутузка. Теперь они двинулись на Киев. Уходя, Муравьев¹ обещал, если потерпит неудачу, — разрушить всю Полтаву, «перебить стариков и детей». Чисто какое-то мрачное сумасшествие или...чорт его знает, — может просто кривляние.

«В следующем абзаце после слов: Какая польза была бы от убийства Ленина?»

Впрочем, кажется, и покушение на сего самодержца — по-видимому, проблематично.

«Купюра в письме от 20 мая/2 июня 1920 г., с.182. После слов: ...издания Пантелеева.»

У нас обостряется «петлюровский вопрос» и уже были расстрелы, — ненужные, лишние, что тоже не ахти способствует сердечной деятельности. Ко мне по старой памяти прибегают родственники, и не всегда приходится утешать их. Несколько дней назад пришлось сообщить двум девушкам, о брате которых мы эти все дни хлопотали (и не без большой надежды), что их брат в эту ночь неожиданно для меня расстрелян. Вообще времена пришли жестокие. А придут петлюровцы, — начнется то же с другой стороны. Видел я уже и это. Эх, если бы уже взглянуть на это, как на прошлое. Но я уже мирюсь с мыслью, что мне это не придется, и испытываю, «между» прочим, огорчение неудовлетворенного любопытства.

«Купюра в письме от 16 июля н.с. 1920 г., с.186. После слов: ...многих своих знакомых.»

Работа несколько приостановилась: приходится много отдавать времени на доказательство той простой истины, что нельзя людей расстреливать без суда, а что следственные комиссии, хотя бы и чрезвычайные, нигде еще судом не считались. На это уходит много не скажу умственной работы, но нервов и настроения.

Письма Ваши, должно быть, застревают у перлюстраторов. Уверен, что Вы ничего, подлежащего задержке, не писали, но... перлюстраторы во все времена одинаково проницательны.

«Неопубликованное письмо от 1 сентября 1920 г.»

Дорогой Аркадий Георгиевич.

Вчера получил Ваше письмо от 25-го июля, из коего с прискорбием узнал, что Вы писали мне много писем, и я их не получил. В числе прочих прелестей теперь

господствует и перлюстрация, так что, может, еще и получу. Я, например, недавно получил письма от С. Д. Протопопова², писанные в апреле, после того, как уже приходили от августа. Может быть, и Ваши придут после внимательного рассмотрения.

Да, скучно писателю без печати, — я вас понимаю. Я уже писал как-то Раковскому³, что при нынешней свободе печатного слова приходится писать в таком жанре, с которым я до сих пор знаком не был: приходится писать докладные записки по начальству. Что станешь делать, когда порой от этого зависит жизнь людей. Хуже всего то, что сии докладные записки по большей части остаются без результата, но порой все-таки нет-нет да и порадует удача. Недели три-четыре назад вернулась свободной девочка, почти ребенок, которая была уже нашей Ч. К. приговорена к расстрелу, а вчера ко мне явились радостные освобожденные из тюрьмы миргородчане, которым предстоял суд по поводу прошлогоднего заговора, по которому состоялась «незаконная» амнистия, объявленная уездной Ч. К. Не знаю, насколько правы эти миргородцы, приписывая этот результат моему заступничеству, но я действительно посылал протесты и местным властям, и в Харьков. Такие удачи далеко не часты. По большей части мои протесты против бессудных казней остаются втуне, и я напрасно стараюсь доказать, что суд коллегии Ч. К. — это все равно, как если бы при царской власти «коллегия» при жандармском управлении имела право не только ссылать в Сибирь, но и казнить смертью.

Нахожу еще некоторое утешение в ряде докладных записок в виде писем к А. В. Луначарскому⁴. Послал уже 4 письма, будет еще два. В них я высказал свои взгляды на все происходящее. Я, как и Вы, не жду толку ни от внешнего вмешательства, ни от генералов. Всякий народ заслуживает (кто это сказал?) того правительства, которое имеет⁵. Россия рядом разносторонних ошибок, а порой и преступлений заслужила своего «коммунистического правительства», и теперь вопрос в том, чтобы она не ринулась в безоглядную слепую реакцию. Ей нужно много напряжения и добросовестности, чтобы очнуться от нынешнего угара, сознать свои ошибки и исправить их. От утопического коммунизма перейти к разумному социализму, — такова задача. Посильна ли она, покажет будущее, может быть недалеко.

Не знаю, дойдет ли к Вам это письмо, но — пускаю наудачу. Хочется действительно поговорить по душе с друзьями. Как только получите, — известите. У нас в Полтаве и в Харькове арестуются меньшевики. Это теперь единственная довольно разумная оппозиция, показывающая, что жизнь и мысль еще не окончательно атрофированы.

Крепко Вас обнимаю. Я узнал, «между» прочим, что наши посылки были кем-то расхищены еще в пути и что люди, их везшие, сочли себя за это ответственными и потому на свой счет постарались насколько могли восполнить эту потерю. Наши шлют Вам привет.

Ваш Вл. Короленко.

1 сент. «ября» 1920 (н/с).

«Две купюры в письме от 18 декабря 1920 г., с.192 и 193. Первая после слов: ...родилась преждевременно.»

Напишите мне, пожалуйста, что это у Вас за пайки и кто их получает. Одни литературные: «эминенции», или также заурядные литературные работники, люди

с именами, или также корреспонденты, обозреватели и т. д. У нас это тоже заводится, но — здесь это как-то выходит иначе. У вас, в столицах, вся «черная работа», вроде расстрелов и т. п., — скрыта под разнообразными и многообразными формами. У нас все более на виду и выходит почти так, что почти одни руки расстреливают и те же руки кормят литературу. А это не совсем приятно...

«Вторая купюра на с.193 после слов:...теперь думаю.»

Кроме того — я, кажется, Вам не писал об этом, — я написал прошлой осенью еще одну работу, — «Земли, земли», которую отдал харьковскому «Центросоюзу». Увы, — эта работа встретила цензурные препятствия, и ей, по-видимому, не суждено увидеть света. Тон моей жизни, очевидно, будет выдержан до конца: писатель при всяких условиях нецензурный.

«Неопубликованное письмо от 10/23 января 1921г.»

Дорогой Аркадий Георгиевич.

Получил Ваше письмо от 6-го янв^аря. Благодарю Вас за сведения о пайках. Они мне нужны были затем, чтобы судить, насколько уместна будет моя просьба к Горькому относительного пайка для С. Д. Протопопова. Он много работал в провинциальной главном образом литературе, а теперь читает лекции морякам. Был когда-то состоятельным человеком, теперь вынужден при тяжелых условиях зарабатывать на хлеб, и то довольно скудный. Не думаю, что моя просьба к Горькому неуместна?

С моими письмами к Луначарскому произошла некоторая задержка. Больше месяца его не было в Москве. Теперь мне пишут, что все письма давно доставлены. Мне Луначарский говорил в Полтаве, что постарается их напечатать (даже в более положительной форме). Но я сомневался и сомневаюсь (а пожалуй, и не сомневаюсь). Я о них не особенно высокого мнения. Я плохой экономист, и некоторые места писем имеют только бытовой публицистический характер. Многое гораздо лучше сказано, например, у Дана или Мартова. Но я прямо говорю о бытовой стороне происходящего, о бессудных смертных казнях и о тому подобных вещах, в которых и Луначарский брал порой фальшивые ноты. Наше знакомство началось (в Полтаве, — раньше я с ним знаком не был) с моего ходатайства за нескольких человек, которые уже оказались расстрелянными... Я очень нервничал. Уверен, что он пытался сделать что мог, но Ч. К. делает эти дела быстро.

У нас погода тоже теплая. Вместо крещенских морозов стоят оттепели, сменяющиеся легкими морозцами. Я каждый день прогуливаюсь в «деми-сезоне», без ваты, и это мне, конечно, легче. Холода я по-прежнему не боюсь, а нагружать на себя слишком тяжелые вещи — мне теперь трудно.

Наши Вам кланяются и желают всего хорошего. От Александра Мефодиевича⁶ я одновременно с Вашим получил письмо. Он извещает, что Литературный фонд (без моей просьбы) определил мне крупное пособие, нечто вроде пенсии. Но пока мне она еще не нужна, о чем я и пишу фонду. До сих пор я получал средства от продажи моих сочинений «Задругой» и «Книгоиздательством Писателей». Положим, теперь они уже реквизируются государством, и я не знаю даже, выйдет ли в свет 3-ий и 4-ый том (уже написанные и даже мною прокорректированные). Теперь работаю над пятым томом⁷, который должен закончить период моей ссылки (Якутская область). Удастся ли издать эти части, — неизвестно. А я очень ими дорожу.

Не помню, писал ли я Вам, что одна моя книжка потерпела крушение «по независящим обстоятельствам». Это нечто вроде продолжения «голодного года». Называется она «Земли, земли!». Я ее писал прошлой осенью. Центросоюз хотел издать ее, и я даже получил аванс в 75 тыс^яч. Сначала потребовали сокращений (несколько заключительных глав), а потом харьковский комиздат решил, что проще будет запретить все.

Ну, я по обыкновению заболтался. Еще раз обнимаю Вас, дорогой Аркадий Георгиевич, и — кончаю. Ваш Вл. Короленко.

10/23 янв^аря 1921.

Мне кажется, Вы по отношению к бедной Марии Валентиновне немного не правы. Я не разделяю ее точки зрения, что видно уже из моего письма о Протопопове. Но, пожалуй, Ваш сарказм незаслужен. Она думает иначе и искренность свою доказывает все-таки лишением себя некоторых житейских благ.

«Неопубликованное письмо от 2 марта 1921 г.»

Дорогой Аркадий Георгиевич.

Что-то давно от Вас нет вестей. Здоровы ли? От Пешехоновых⁸ печальное известие: сын их погиб. Его убило осколком бомбы, и жена его пишет, что она его сама похоронила. Так что сомнений нет. А ведь это единственный сын.

Посылаю Вам некролог Потанина⁹, присланный мне из Томска одним из моих корреспондентов. Ну, да старику было уже 85 лет. Нельзя сказать, что это преждевременная кончина, особенно по нынешним временам. Известия о Венедикте Александровиче¹⁰ неважные. Его обещали выпустить, но теперь об этом уже нет речи. Дело пересмотрели и приговорили — на пять лет концентрационного лагеря. Пока он в Бутырках, но когда мне писали об этом, то собирались переводить куда-то. Старались близкие люди оттянуть этот перевод: в Бутырках условия сравнительно сносные. Здоровье его не плохо. Ну, и пять лет концентрационного лагеря вещь проблематическая. Могут свестись на несколько месяцев.

У нас дела в Полтавщине неважные. По-прежнему восстания и по-прежнему остановка железных дорог. А вот сейчас получил письмо от Белоконогова¹¹. Сообщив о горе Алексея Васильевича, он прибавляет, со слов доктора, человека, по-видимому, достоверного, весть о гибели во время крушения на железной дороге Гусева-Оренбургского¹². Доктор этот передает ему, что Гусев-Оренбургский уехал в Крым как раз с тем поездом, который столкнулся под Александровском с другим и оба превратились в щепки. С тех пор доктор, хороший знакомый Гусева-Оренбургского, ни от него, ни от его жены не получает писем, а должен бы получить. Конечно, это еще нельзя считать окончательно установленным, но печальная вероятность довольно большая. Значит, кроме остановок и медленности движения, предстоят временами и еще разные прелести. В прежние времена о такой катастрофе уже кричали бы все газеты. А теперь мы узнаем о таких вещах только случайно. «Гусев-Оренбургский... Да разве вы не слышали? Обращен в щепки вместе с женой». И только...

Желаю Вам всего хорошего. Как всегда, Авдотья Семёновна просит передать Вам ее привет, а также моя дочь Софья. Получили ли Вы то мое письмо, в котором я немного возражал Вам против Вашего, на



В. Г. Короленко с семьей

мой взгляд, слишком сурового отзыва о Марии Валентиновне?

Не забывайте меня. Так приятно получить вести от близкого по духу человека.

Ваш Вл. Короленко.

2 марта 1921 г.

«Неопубликованное письмо от 17 марта 1921 г.»

17 марта 1921 г. н.с.

Дорогой Аркадий Георгиевич.

Долго от Вас нет известий, и нас с Авд^{от}ьей Семеновной и с другими Вашими знакомыми из нашей семьи это начинает беспокоить. Тем более, что от вас, с «петербургского фронта», в наших газетах идут тревожные слухи. Уже довольно давно печатались известия о восстании моряков в Кронштадте, а приезжие из Москвы говорят, что волнения начались чуть не с августа. Сначала Троцкий говорил очень грозно и назначал короткие сроки, угрожая смести весь Кронштадт. Теперь этот грозный тон очевидно смягчился, а в речи Ленина проскользнула нота, что Кронштадтское восстание указывает на наше серьезное внутреннее положение. У нас ходят самые нелепые слухи. Говорят, будто восстание идет под монархическим знаменем, будто к нему примкнули Гучков, Чернов (!) и другие смешанные элементы, что оно очень серьезно и в качестве кандидата в монархи выставляет Дмитрия Павловича, организатора убийства Распутина¹³. Из этого Вы видите, до каких нелепостей доходят наши слухи и до какой степени мы не имеем понятия о действительном положении вещей. Тем более основа-

ний для беспокойства. Самое меньшее, что можно предположить, это — что в ваших местах идет волнение. Поэтому очень жду письма. Хоть бы узнать, что Вы живы, здоровы и до весны дожили благополучно.

Вчера из Москвы я получил письмо. В нем меня извещают, что С. П. Мельгунов¹⁴ освобожден из Бутырок, где сидел вместе с Вен^{едик}том Александровичем (по делу «тактического центра»). Пишут, что есть надежда на скорое освобождение и Вен^{едик}та Александровича. Вообще, кажется, начинается некоторое «смягчение режима». У нас, кажется, тоже прекратились казни. Впрочем, слухи об этом тоже разные. В официальной газете списков расстрелянных нет уже давно (недели 3, а то и около месяца).

Если получите это письмо, — тотчас же напишите, и непременно заказным. Я вам писал о гибели во время столкновения поездов Гусева-Оренбургского с женой. Это пока еще тоже слух, но слух довольно достоверный. Жаль. Фигура была своеобразная... Я недавно прочитал еще книжку его рассказов. Часто невыдержанно, но местами есть и талант, и бытовой колорит. Во всяком случае, в нем было более настоящего колоритного, чем у нашего русско-богатского писателя из духовного быта.

Итак, — жду от Вас заказного письма, главным образом о себе. Не перегружайте его политическими новостями. Перлюстрация идет не хуже, чем это было в старину, и я нахожу порой явно вскрытые конверты. У меня на этот счет «глаз набит». А порой даже заказные пропадают. Недавно я послал Тютчеву¹⁵ заказную бандероль. Это была биография И. Л. Линева, старого



Къ 60-лѣтїю В. Г. Короленко. В. Г. Короленко въ кругу сотрудниковъ „Русскаго Богатства“. П. Г. Горький

сильного, еще моего времени. Гютчев предполагает, не смешали ли его с каким-нибудь современным Линевым, которого, быть может, разыскивают...

Я Вам пишу уже третье (кажется) письмо, на которое не получаю ответа. А затем желаю Вам здоровья и благополучия (этого мы Вам желаем все), а себе желаю получить от Вас письмо.

Всего хорошего

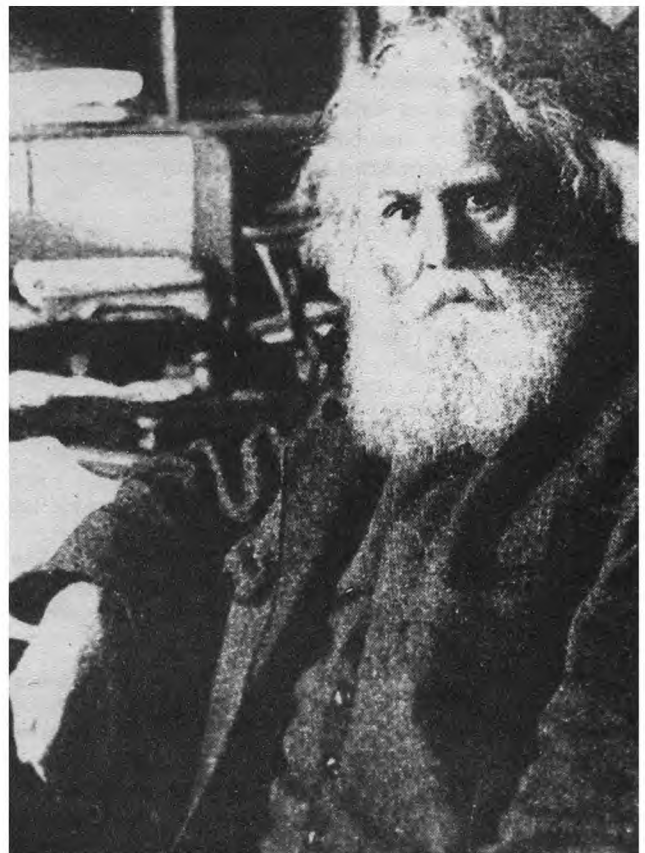
Ваш Вл. Короленко.

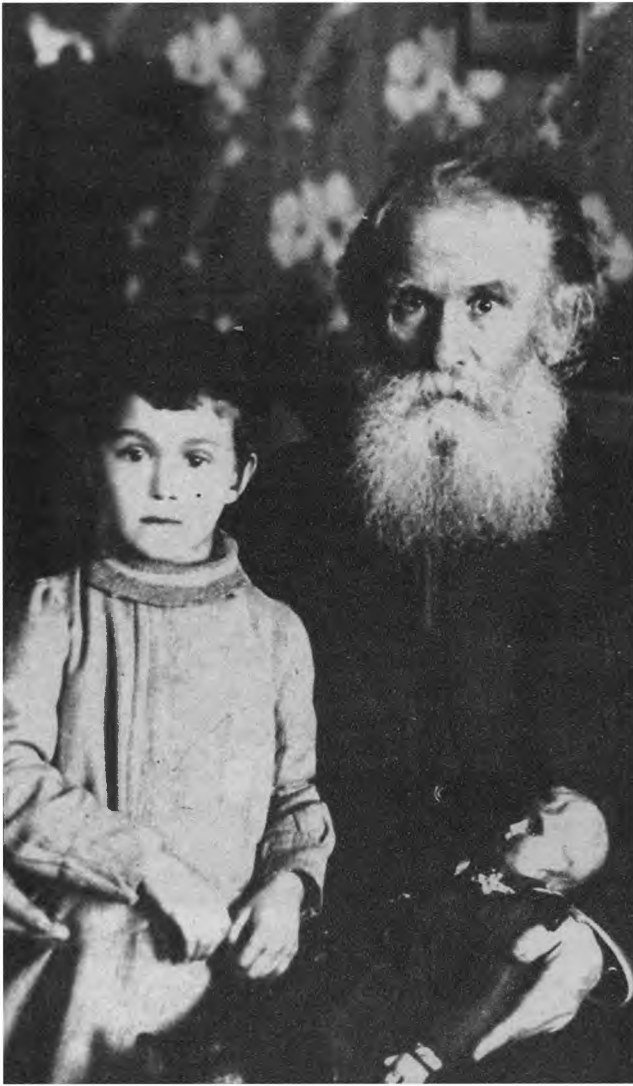
Последнее мое заказное письмо было послано 17 февраля».

«Неопубликованное письмо от 27 апреля 1921 г. На с. 197—198 напечатана только приписка к этому письму.»

Дорогой Аркадий Георгиевич.

На этот раз я несколько запоздал (обыкновенно отвечаю тотчас по получении Ваших писем). Причина запоздания огромное семейное горе: у меня умер зять¹⁶: заразился в тюрьме сыпным тифом. Сердце у него было слабое, не выдержало, и умер у меня на квартире. Сделано было все, что можно было сделать. Он был меньшевик. Много было товарищей врачей. Уход был самый лучший. Из тюрьмы тотчас же отпустили. Ничего не помогло. Он был человек в городе очень популярный. В Полтаве давно не видали таких похорон; несмотря на то, что это было «неблагонадежно», все рабочие организации приняли в похоронах участие. Но это утешение плохое: все-таки дорогого человека нет. Мы все очень его любили. Не говоря о моей Наташе, для всех нас это большой удар. Для меня к этому присоединяется еще то, что он был моим





В. Г. Короленко с внучкой. 1921

помощником в работе: снял с меня огромную долю «заступничества», а это для меня очень важно. Да и много помогал мне даже в литературной работе. Можно сказать, что этим мы все сильно пришиблены.

Я очень был привязан к этому человеку. Ну, это одна из бессмыслиц теперешнего порядка. Бессмыслица жестокая и кровавая.

Думаю я о том, что Вы мне написали о своем положении. Разумеется, надо что-нибудь сделать. Но что? Не написать ли Горькому? Но, кажется, его сейчас нет в Петрограде. Приходит мне в голову, — не написать ли Калинин. Это человек, кажется, порядочный, и я уже к нему обращался не без успеха. Напишу, но, может быть, Вы придумаете еще что-нибудь?

Перечитал я присланную мне Кауфманом¹⁷ газету, хотя и разрозненную. Все-таки она дает много, хотя, к сожалению, номеров нет и половины. Во всяком случае, хоть отдохнешь на литературных впечатлениях. Прошу Кауфмана, если это возможно, присылать мне и дальнейшие номера.

Я Вам уже писал, что у меня были Пешехоновы (даже писал вместе с ним). С Редьком тоже переписываюсь. Они из Литературного фонда прислали мне крупное вспомоществование. Так как я не так нуждаюсь, то я это отклонил. Идет речь (Редько сам предложил это) о передаче этой помощи Татьяне Александровне Богданович¹⁸, которая, как вам известно, живет теперь в Полтаве (мы часто видимся). Она тоже нечто возражает, находя, что, может быть, многие нуждаются более, чем она. Теперь об этом между ними идет переписка.

На днях я послал в «Задругу» значительную часть «Современника». Закончил 4-ю часть. Начал 5-ю. Это уже последняя часть ссыльного периода. Теперь пойдет возвращение, нижегородский период и литература. Не знаю, удастся ли довести «историю» до нынешних дней.

Ну, вот довольно печальное письмо. Был я сильно пришиблен, да и теперь не вполне оправился. Ну, да кому теперь живется весело, вольготно на Руси?

Все шлем Вам привет, в том числе и Авдотья Семеновна и Татьяна Александровна. Будьте здоровы и по возможности сыты. По получении этого письма отвечайте по возможности скоро.

Ваш Вл. Короленко.

27 апреля 1921 г.

¹ Муравьев М. А. (1880—1918) — подполковник. В 1917—1918 на службе у советской власти, которой изменил и был убит при аресте.

² Протопопов С. Д. (1861—1933) — журналист.

³ Раковский Х. Г. (1873—1941) — председатель Совнаркома Украины в 1918—1923. Осужден в 1938. Расстрелян в 1941. Реабилитирован в 1988.

⁴ Письма В. Г. Короленко А. В. Луначарскому написаны в 1920. Опубликованы в Париже в 1922. Впервые напечатаны в СССР в 1988 в «Новом мире», № 10.

⁵ «Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает». Выражение Жозефа де Местра (1753—1821), посланника Сардинского королевства при русском дворе (см.: Н. С. Ашукин и М. Г. Ашукина. «Крылатые слова»).

⁶ Редько А. М. (1866—1933) — литератор.

⁷ «История моего современника» окончательно была разделена на четыре книги (тома).

⁸ Пешехонов А. В. (1867—1933) — журналист. Член редакции «Русского богатства». С 1922 за границей.

⁹ Потанин Г. Н. (1835—1920) — исследователь Центральной Азии и Сибири.

¹⁰ Мякотин В. А. (1867—1937) — историк, публицист. Член редакции «Русского богатства». В 1922 выслан за границу.

¹¹ Белокопский И. П. (1855—1931) — публицист. Письма В. Г. Короленко И. П. Белокопскому изданы в 1922.

¹² Гусев-Оренбургский С. И. (1867—1963) — писатель. После Октябрьской революции эмигрировал.

¹³ Григорий Распутин был убит 17(30) декабря 1916 Ф. Ф. Юсуповым, В. М. Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем.

¹⁴ Мельгунов С. П. (1879—1956) — историк и публицист. С 1923 за рубежом.

¹⁵ Тютчев Н. С. (1856—1924) и Линева И. Л. (ок. 1842—ок. 1885 или 1886). Были в ссылке в Якутской области в одно время с В. Г. Короленко (см. «Историю моего современника», том 4, главы XIV—XV).

¹⁶ Ляхович К. И. (1885—1921) — муж младшей дочери Короленко Натальи. Лидер полтавских меньшевиков.

¹⁷ Кауфман А. Е. (1855—1921) — журналист. Председатель Общества взаимопомощи литераторов и ученых.

¹⁸ Богданович Т. А. (1879—1942) — литератор.

Приношу глубокую благодарность Сергею Викторовичу Шумихину за помощь при подготовке этой публикации.

Павел НЕГРЕТОВ.

П. В. СТРУВЕ

ГОЛОД

Голод — его все с трепетом ожидали. Правда, одно время как будто казалось, что сама природа сжалилась над Россией и неизбежное не наступает и не наступит. Но история и природа давали только отсрочки для того, чтобы наконец предъявить ко взысканию истерзанному и поруганному народу свой ужасный счет.

Ужас заключается именно в том, что по этому счету в первую голову расплачиваться будут не преступники и мучители, не те, кто, идейно и политически обанкротившись вконец, судорожно цепляется теперь за власть, потерявшую всякий смысл, кроме самого низменного (сохранение жизни и могущества относительно немногих физических лиц!). Платить будут их жертвы, огромные массы, одурманенные в свое время интернационалистически-коммунистической сивухой. Облыжные посулы и постыдные натравливания потребовали не только множества жизней в жестокой борьбе человека против человека; этот ужасный посев дает теперь жатву бесчисленных голодных смертей.

Помимо политического раздумья о смысле всего совершившегося и совершающегося, неужели даже у творцов и деятелей этой революции не шевелится чисто *моральный* вопрос: стоило ли?

Что бы ни явилось конечным «завоеванием революции», стоило ли ради этого нагромождать груды человеческих тел, разбивать и коверкать жизнь целых человеческих поколений?!

Страшная правда о русской революции, ужасный урок, в ней содержащийся, состоит в том, что для России она оказалась гораздо более жестока и опустошительна, чем мировая война. Ей принесено в жертву гораздо больше человеческих жизней, ее опустошения, физические и духовные, во много раз превосходят разрушения, произведенные войной. Единственный живой и говорящий огненными языками «завет» русской революции — *именно в этом*.

Это *фактически непререкаемо*. И для всякого сознательно русского человека это должно стать *морально неотразимым*. Это должно лечь в основу непосредственного ощущения пережитой и переживаемой истории.

Сознание и признание этого не есть политика, а нечто большее и более важное. Политика есть всегда рассуждение о целесообразных путях человеческого действия. Она считается с неизбежностями и ищет возможностей. Но политика всегда должна оперировать на основе какого-то живого морального ощущения, категорического в своих велениях и суждениях. О революции должно быть и, я уверен, сложилось у нравственно здоровых людей такое категорическое *моральное* ощущение.

Ужас положения, в котором очутилась Россия и которое возвращает нас вовсе не к 1891 г. и не к

семидесятым годам XIX века, а ко временам Годунова или средневековых голодовок и великой мировой чумы XIV века, состоит в том, что действительная помощь голодающему сельскому населению почти неосуществима в средневековых экономических условиях, искусственно созданных большевистским режимом.

Экономических разрушений, произведенных трехлетним режимом коммунистов, полного расстройств транспорта, уничтожения элементарных санитарных условий, всего этого сейчас никакая самая обильная благотворительная помощь и никакая самая энергичная государственная деятельность устранить не смогут.

Возможна только весьма частичная помощь, и даже ее организация ставит вопросы почти неразрешимые при существовании такой власти, как власть коммунистов.

Этой ужасной действительности необходимо смотреть в лицо.

В вопросе о голоде можно и должно отбросить всякие соображения политики и политической тактики. И когда мы думаем о голоде, когда признаки смерти, реющие над родиной, стоят перед нашим духовным взором, нас занимают не политические вопросы, нас не пугают перспективы каких-либо компромиссов с той поистине сатанинской властью, которая держит в своих руках Россию. Умиравшая от голода страна, эти бесчисленные гибнущие русские люди всех возрастов и всех вер не могут служить предметом политических расчетов и учетов и глубокомысленных тактических соображений. *Им нужно помочь во что бы то ни стало*. Никогда ни одним словом, ни одним жестом нравственно здоровые русские люди не станут никому мешать в этом деле. Они знают, что не голодом и вымиранием возродится Россия. Это — социологическая истина; это — нравственная правда.

Гнетет нас мысль о том, что в тех условиях, в какие поставлена Россия, действительная, современная и обильная помощь голодающим невозможна. Этому мешает не только существование советской власти; этому еще больше препятствует то, что она *так долго существовала*. За это время она натворила так много зла, совершила так много разрушений, что теперь побороть это зло, устранить из жизни эти разрушения не может никто, не может даже сама советская власть.

Вот мысль о чем терзает нас, вот что поистине безысходно. Нас гнетет понимание того бессилия, в котором находится весь мир, не могущий действительно, в полной мере помочь России. Мир не способен, нравственно и политически, на такое усилие, но даже если бы он был на него способен, это усилие сейчас — увы — могло бы свершить очень немногое.

В этом ужас положения, не укладывающийся ни в какую политическую или тактическую схему. Голод *этого года* страшен сам по себе, он еще более ужасен тем, что за ним последует другой, более жестокий голодный год. И так далее... Но как бы ни были мрачны перспективы будущего, в настоящем нужно *делать все*, чтобы спасти русские жизни от смерти. *Это довлеет себе*. Это нужно делать сейчас, с решимостью, не знающей пределов.

Сентябрь 1921 г.

Текст предоставила Тамара МАЩЕНОВА.

Петр Бернгардович Струве (1870—1944) — философ, экономист и историк, политик, публицист, издатель. Известен также как один из организаторов кадетской партии и депутат Государственной думы. До октябрьского переворота издавал журнал «Полярная звезда», в 20-е годы в Париже редактировал газеты «Возрождение», «Россия», «Россия и славянство». Долгое время руководил изданием ежесеместричного «Русская мысль», в котором печатались Н. Бердяев, С. Булгаков, В. Шульгин, Д. Мережковский, В. Брюсов, А. Блок. Статья «Голод» впервые была опубликована в «Русской мысли» (София, 1921, № 8—9), а затем выпущена отдельной брошюрой.

из старых газет

Раздел ведет доктор философских наук
Инар МОЧАЛОВ.

„РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ“
«НОВАЯ РЕЧЬ»
«НАШ ВЕК»
1917-1918

Е.Н. ЧИРИКОВ

ВЕЛИКИЙ ПРОВОКАТОР

Вскоре после того, как Ленин приехал к нам в Россию, в немецких газетах сообщалось об этом событии приблизительно в следующей форме: «В Россию прибыл Ленин, большой знаток русского народа, пользующийся среди крестьян громадной популярностью».

Мы читали эти строки и улыбались: имя Ленина было так же знакомо и популярно среди русского народа, а особенно среди русского крестьянства, как имя китайского императора! Один из крупных «партийных божков», теоретик социализма, бунтарь эмигрантских кружков, долгие годы проживавший за границей, он был популярен лишь в среде маленькой горстки русских людей, и об его существовании меньше всего подозревал многомиллионный русский народ, ибо и весь-то рабочий класс как сознательная социалистическая величина, по сравнению с многомиллионною массой темного и малосознательного народа, был и есть только «горсть» народа. Идея народничества о прирожденном социализме русского мужика давным-давно была изжита, откинута, и сами же русские социал-демократы вбили в могилу этой идеи осиновый кол. Говорить о том, что русский народ в своих массах — социалист, это значило бы быть абсолютным невеждою, а не знатоком народа. И мы хохотали над выданной немцами Ленину аттестацией!

С Лениным прибыла большая партия его единомышленников из разных стран, таких же популярных в русском народе имен, как сам Ленин, знавших русский народ разве только по картинкам, а самое большее видевших этот народ проездом на станциях, на базарах... Возьмите, в самом деле, имена Троцкого-Бронштейна, Каменева-Розенфельда, Зиновьева-Апфельбаума и прочих «псевдонимов». Что они для русского мужика и солдата? — Ничто!..

Как же это вышло, что именно они, эти чужие для народных масс лица, очутились в роли «вожачков» народных масс, — они, эти пришлые «варяги заморские», а своя российская социалистическая и демократическая интеллигенция, на своих плечах выносившая все тяготы борьбы за народное освобождение и счастье, принесшая с 60-х годов такую массу жертв в лице лучших сынов своих, эта интеллигенция, которой по праву истории должна бы была принадлежать первая роль в нашей революции, осталась, по-видимому, за бортом, осталась отвергнутой, заподозренной, отторгнутой от своего народа и потому бессильной в борьбе с «иноземными варягами»! Как могло случиться, что истинные друзья народа очутились на положении врагов его, и многие, едва лишь вырвавшиеся из тюрем и каторги, где страдали за свой народ, теперь, как и при самодержавии, снова очутились в тюрьмах? Как случилось, что наша молодежь, гекатомбы которой приносились в жертву на алтарь русской свободы, братства и равенства, расстреливается теперь русским солдатом с такой же легкостью, как это делалось при самодержавных царях их опричниками? Как случилось, что студенческая молодежь, вынужденная по военному времени надеть юнкерскую форму, очутилась с ружьем в руках против русского солдата и рабочего, которые стали видеть в них только «защитников буржуазии и помещиков»? Ведь это же — один сплошной исторический кошмар!

Припомните всю кровавую историю борьбы за освобождение и раскрепощение народа: разве не интеллигенция и молодежь всегда шли впереди и несли знамена свободы и раскрепощения труда? И разве эта история не известна Ленину-Ульянову, брат которого, студент, некогда вышел на улицу с метательным снарядом и был повешен, присоединив свое имя к тысячам других имен русской интеллигенции? Разве история борьбы во имя социализма началась у нас лишь с приезда из Германии Ленина? И разве Ленин и Троцкий не знают этого?..

Как же все это случилось и где ключ к этой исторической загадке, к этому историческому абсурду?

Евгений Николаевич Чириков — русский писатель, публицист, постоянный сотрудник московской либеральной газеты «Русские ведомости». После революции жил и умер в эмиграции.

Я не верю, не могу поверить, что Ленин работает в единении с немецким императором и его штабом. Он — фанатик своей абсурдной идеи. Разве для такого заключения недостаточно было его первой речи по приезде в Россию в стенах Таврического дворца? Там он назвал европейскую социал-демократию «грязным бельем», которое надо как можно скорее сбросить; он предложил отказаться даже от названия партии, предлагал назвать ее «коммунистической или как угодно» и фактически утверждал, что наступил момент для всемирной социальной революции и перехода в царство социализма...

Я был на этом соединенном заседании социалистов и отлично помню диалог Ленина с Гольденбергом. Когда Ленину возразили, что Россия исключительно отсталая земледельческая страна и что идея Ленина переделать ее в социалистическую грозит гибелью и стране, и социалистам, Ленин с пафосом фанатика воскликнул:

— Пусть так! Пусть гибель! Но мы зажжем всемирную социальную революцию! Мы передадим знамя ее другим странам и народам!

Отсюда, из этой одной фразы, русские социалисты-ленинцы должны были понять, с кем они имеют дело, должны были убедиться, что Ленин не остановится во имя своей идеи даже перед гибелью России! Для него, как некогда говорил Густав Эрве, теперь нет родины (и потому нет России!). Россия — только точка приложения силы, опытное поле для всемирного эксперимента, куча горячего материала, должная своим пожарищем зажечь весь европейский мир! И всемирная война для него — лишь подходящий мировой эпизод, который он рассматривает исключительно как масло в огонь. Разве не все равно, кто и кого победит, если бойня разрушает все воюющие стороны и создает всюду благоприятную почву для торжества его идеи? Пусть победит Германия: в разгромленной России легче будет смести все устои буржуазного строя и на развалинах его начать стройку социализма! Пусть Германия, как наиболее разрушительная сила, разгромит всех противников: это тоже к лучшему, ибо поможет мировому пожару социализма — пожару, в котором в конце концов сгорит и сама Германская империя!

Вот она — смелая, но абсурдная идея Ленина. Он весь во власти этой идеи, пред которой совершенно откидывается всякая этика! Ведь мораль — только надстройка! К черту всякую буржуазную сентиментальность! Для мировой идеи все средства хороши — все, что помогает разрушению, что раздувает огонь пожара. Ничем не следует брезговать! Даже провокацией!

Вспомните, что говорил Ленин, когда его допрашивали в качестве свидетеля по делу провокатора, бывшего редактора заграничной «Правды», Черномазова! Несмотря на то, что провокаторство Черномазова было неопровержимым фактом, Ленин сказал: «Он приносил нам больше пользы, чем охранному отделению, и поэтому я не могу назвать его провокатором».

Так, или почти так, ответил Ленин. Смысл был именно такой. Мораль отодвигалась и личность оценивалась с точки зрения пользы для ленинского дела. Если наше самодержавие имело в провокаторстве такое всемогущее орудие в борьбе с революцией, то почему революции не воспользоваться этим же орудием? Эта идея не нова в истории нашего революционного движения. И этим оружием в совершенстве пользуется фанатик своей идеи Ленин. Он — великий всемирный провокатор!

Проследите ход нашей революции с февральских дней и до настоящего времени, и для вас станет совершенно ясною провокаторская роль Ленина и «ленинства» с целью направить эту революцию в свое заранее намеченное русло.

Он — не только фанатик идеи: он — большой ум, скопление огромной энергии и воли, он на целую голову выше всех «программных мудрецов» нашего российского социализма, которых так легко умному человеку водить за нос и оставлять в дураках, которым ничего не стоит запутаться в трех соснах или превратиться в «буридановых ослов».

Все в пользу умному провокатору: и темнота, и политическая незрелость народа, и святая простота «идеологов» русского социализма, и германские победы, и вызванная войной

разруха, и усталость армии, и черномазость, и историческое недоверие крестьян к культурным и просвещенным классам, даже черносотенцы, анархисты и всякие элементы антигосударственного свойства, всякие бродильные и гнилостные грибки и бактерии, даже антисемиты-погромщики!

Господа книжники и идеологи российского социализма частью были пойманы на Циммервальд-Кинтале, а частью оклеветаны и забрызганы грязью (вожаки-оборонцы). Исподволь вся интеллигенция, мешавшая фантастической идее Ленина, была оттерта и развенчана им: сперва государственники-кадеты, потом все противники социалисты. Плеханов, как самая серьезная величина, стал оплевываться в глазах рабочего класса еще задолго до приезда в Россию (см. статью в первой книжке «Летописи» «Нужны ли убеждения?»). Сперва все социалисты — «товарищи», затем круг их все суживается и суживается, и наконец все превращаются в «буржуев» и «контрреволюционеров». Российский простак-идеолог и ахнуть не успел, как на него медведь напал!

Ведь нельзя же всерьез думать, чтобы Ленин хотя на минуту мог поверить, что Чхейдзе и Церетели, Минор, бабушка русской революции, Керенский, Чайковский и прочие недавние «товарищи» внезапно обратились в «буржуев» и «контрреволюционеров»? Ведь для этого надо верить в «оборотней»! Между тем все газеты Ленина крестят их буржуями и контрреволюционерами. А Ленин помалкивает. Ему нужно утвердить в темном сознании солдата, на штыке которого он утверждает свою разрушительную работу, именно такую оценку всех своих политических и идейных противников.

О русском мужике Ленин знает только, что он жаден на землю, и на эту приманку он ловит с удивительной поспешностью русского мужика и солдата. Пусть еще первая Дума самостоятельно выставила вопрос об отчуждении земель, пусть и социалисты-революционеры, и предпарламент давно уже признали этот вопрос разрешенным принципиально

в пользу народа.— Ленин упорно будет кричать, что все другие стоят за помещиков и земли не дадут, обманут, а даст только он, Ленин! Разве это — не провокация? Самая наглая провокация и ставка на темноту народную!

Вы думаете, что Ленин не понимал, что лозунг «немедленный мир» и «братание» на фронтах поведут к военному краху России? Этого не понимали простаки-идеологи русские, а Ленин это понимал прекрасно, и это входило в его планы, ибо вело к анархии, разрушению государства, т. е. ближайшей первой задаче на путях его фанатической и фантастической идеи.

Как чистые государственники и люди жизни, кадеты первые забили тревогу. Но Ленин и простаки-идеологи, которых теперь Ленин сажает в тюрьмы, заткнули им рот...

Воцарился великий провокатор, который спугнул всю игру и оставил всех «товарищей» в дураках! Темный народ и темный солдатский штык — на его стороне, а Россия разрушена!..

Первая часть программы Лениным выполнена блестяще. Но вторая... Превращение нашей Матушки-Федорушки в социалистическое царство... Это, конечно,— мечта Поприщина, и ей не суждено сбыться... А в результате все вышло на гибель нашей родине и на торжество императору Вильгельму. Ленину — наплевать, но в нашей истории Ленин сыграл предательскую роль.

Пусть даже эта услуга Германии оказана Лениным бесplatно, но нам, любящим свою родину, это безразлично. Результат один и тот же. И такую же роль невольных «предателей родины» играли и продолжают играть все, кто бегал и бежит теперь за колесницей большевистского Цезаря и по глупости или по иным качествам торжествует... Народ обманут, а русская интеллигенция одурочена. Великий провокатор короновался огнем и мечом и воссел на... пустое пространство!

«Русские ведомости», 16 (29) ноября 1917 г., № 251, стр. 2—3.

Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

УПЫРЬ

В приказе об удушении печати Ленин признается с удивительной наивностью, что свобода слова для него опаснее, чем террористические бомбы, и кинжал.

Не раздумывайте, не разглядывайте, а закройте глаза и поношайте, чем это пахнет. Неужели не узнаете? Ну, конечно, Николаем Вторым Романовым.

Николай Второй Романов и второй Николай Ленин. Два Николая и у обоих один и тот же запах. Узнаю зверя по запаху.

Ленин прав: свободное слово для него опаснее, чем бомба, яд и кинжал. Перед свободным словом, безоружным и беззащитным, он сам, со своими миллионами штыков, безоружен и беззащитен. Пока оно живо, он мертв. Или он, или оно — им вместе быть нельзя.

Так было для Николая Второго Романова; так и сейчас — для второго Николая Ленина; так для всех тиранов.

Тираны знают, что свободное слово есть первое и последнее дыхание самой Свободы; с ним она рождается и с ним умирает. Вот почему они так боятся его. Водобоязнь — у собак, словобоязнь — у тиранов.

Да, свободное слово для них страшнее кинжала. Стальной кинжал тиранубийцы может промахнуться, но кинжал слова неотразим.

*Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды.
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды!
Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,—
И, озираясь, он трепещет...*

Трепетал Романов — трепещет и Ленин. Карающий кинжал уже занесен над головой тирана; слово уже сказано — не социалистическое и не буржуазное, а всенародное свободное слово:

«Ленин — самодержец».

Слово прямо в лицо ему сказано, а он молчит, и молча душит, убивает слово...

Когда убивают колдуна, то из могилы его выходит упырь, чтобы сосать кровь живых. Из убитого самодержавия Романовского вышел упырь — самодержавие Ленинское.

Упырям нужна темнота ночи и беспамятство жертвы. Вот почему все огни потушены.

«Новая речь», 28 ноября (10 декабря) 1917 г., № 1, стр.1.

РОССИЯ БУДЕТ (Интеллигенция и народ)

...У царя Николая был Распутин: у царя-народа много распутиных, но один главный. Недавно я сравнивал портреты обоих,— того, царского, и этого, народного. Тот — мужик, этот — интеллигент; тот блудник и пьяница; этот — аскет. Как несхожи, а все-таки сходство есть. В глазах или даже не в глазах, а во взоре, или еще вернее, в возможности взора — один и тот же русский хмель, русский бес, черный бабий Дионис — одно и то же безумие хлыстовских радений, все равно каких, монархических или анархических.

В последние дни царя Николая стоило взглянуть в лицо Распутина, чтобы понять: это бред, наваждение; это не может длиться долго.

И теперь, стоит взглянуть в лицо второго Распутина, чтобы понять: это не может длиться долго; падет второй Распутин и начнется вторая революция.— нет, не вторая, а первая — все та же единственная, не оконченная, а только задержанная, заваленная ледяной нарастающей глыбой опрокинутого самодержавия — октябрьской контрреволюцией.

Теперь больше, чем когда-либо, должно сказать: да здравствует февраль! да здравствует революция!

«Наш век», 23 (10) июня 1918 г., № 100, стр.2.

АЛЕКСАНДР
ГАЛУШКИН



маргиналии



Четыре письма



И. А. АЛЕКСАНДРОВ

Виктора
ШКЛОВСКОГО

Когда В. Б. Шкловского спрашивали о том, как удалось ему выжить в 30—40-е годы и что спасло его от ареста, он отвечал: «Случайность».

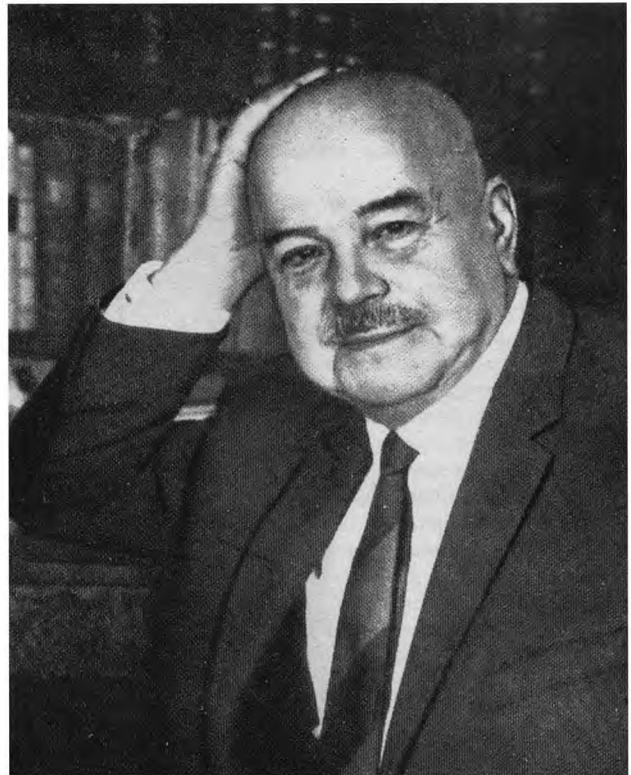
30-е годы Шкловский встретил «с большими хвостами», как он сам выражался, имея в виду свое политическое и литературное прошлое. В литературе он в предшествующий период — глава формальной школы, подвергавшейся резкой критике со стороны критиков-марксистов (в их числе были Троцкий, Бухарин, Луначарский). В политике за его плечами была активная деятельность в качестве военного комиссара Временного правительства в Галиции и Персии в 1917 году и участие в нелегальной военной организации ЦК партии эсеров в 1918 году. О последних фактах, хорошо известных в 20-х годах современникам Шкловского, нынешний читатель почти ничего не знает.

В военную комиссию ЦК партии эсеров Шкловский вошел в начале 1918 года, разделяя линию правых эсеров на борьбу за Учредительное собрание. Возглавив броневой отдел комиссии, Шкловский занимался подготовкой выступления броневиков в антисоветском восстании, которое эсеры планировали сначала в Петрограде, затем в Поволжье. Активного участия в террористических акциях Шкловский, по-видимому, не принимал. В начале 1919 года, пережив острое разочарование в своей политической деятельности, он решает отказаться от борьбы. В 1922 году бывший руководитель военной комиссии ЦК партии эсеров Г. И. Семенов (Васильев) в своей брошюре «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917—1918 гг.» предал огласке ранее неизвестные факты и упомянул фамилию Шкловского. Начиналась подготовка к крупнейшему политическому процессу 20-х годов — процессу над правыми эсерами. Шкловский вынужден был бежать из России от ареста. За границей он уверился в ошибочности прежней политической ориентации и в одном из частных писем признался: «Я виновен перед революцией. Она всегда такая. Я ошибся в темпе, я путался в ее ногах. Я не узнал ее»¹. Ясным было и понимание того, какую цену будет предложено заплатить за прощение и жизнь. В письме Горькому, написанном после того, как Шкловский был амнистирован и получил разрешение вернуться на родину, есть строки: «Итак, я еду, и остальное зависит от крепости моих костей. (...) Придется лгать, Алексей Максимович. Я знаю, придется лгать. Не жду хорошего»².

Действительность, однако, превзошла ожидания. Спустя два года после возвращения на одном из диспутов в 1925 году Шкловский бросает в лицо К. Б. Радеку: «Нужно уметь заказывать. Нужно знать пределы запрещения, иначе писатели перестанут писать и уйдут на другие профессии. Вы заказали товар, который нельзя сделать нашими инструментами. (...) Научитесь обращаться с писателями»³. О конфликте человека со своим временем написана «Третья фабрика» — книга, центральный образ-эвфемизм которой — фабрика, безжалостно перерабатывающая «материал»: человеческие судьбы и искусство (в черновиках осталась фраза: «Есенин не выдержал обработки»⁴).

Без учета этих и многих других малоизвестных фактов биографии Шкловского трудно представить его творческий путь в 30—50-е годы. Далеко не столь однозначной была в эти годы позиция писателя, рано и трезво понявшего многое в послереволюционной действительности, как это пытался представить в своей последней книге В. А. Каверин («Эпilog») ⁵ или как считал Вс. Вишневский, в одном из своих выступлений 1932 года говоривший: «Я помню время, когда я гнался с наганом за Шкловским с желанием стукнуть его на месте. Это прошло... Тов. Шкловский с нами»⁶.

Как и многие советские писатели, Шкловский вынужден был принять те условия, в которых литературе предлагалось существовать в 30-е и последующие годы. Но он же, хорошо представлявший себе, что можно и чего нельзя в литературе, часто нарушал правила, «наступал не на те клетки»: то обрушивался с критикой на автора, уже признаваемого классиком социалистического реализма, то, приняв социальный заказ, писал книгу, этому заказу противоречащую («О Маяковском», 1940). В этих случаях Шкловскому напоминали о его прошлом.



В. Б. Шкловский. 60-е годы

Так было в 1933 году, во время дискуссии о формализме, начатой в связи со статьей Шкловского «Юго-Запад». В ответ на призыв Шкловского к писателям не забывать своих творческих достижений 20-х годов И. М. Гронский, стоявший тогда во главе оргкомитета Союза советских писателей, выступил с речью, в которой прозвучали прямые намеки на политическую деятельность Шкловского в 1918 году: «Я не знаю, может ли писатель гордиться борьбой против своего народа, против рабочих и крестьян? Я не знаю, может ли писатель гордиться своими жалкими попытками задержать развитие общества? Я не знаю, может ли писатель гордиться тем, что он служил враждебным прогрессу силам? (...) Выступление Шкловского является выступлением классового врага в литературе»⁷.

Жизнь Шкловского с середины 30-х годов как бы раздвоилась. Одна, видимая ее сторона — статьи, сценарии, художественная проза, написанные на темы, которые были позволены или, что чаще, заказаны. Другая сторона — скрытая и скрываемая от современников. Близкий друг семьи Шкловских Н. Я. Мандельштам вспоминала в 1970 году: «Шкловский в те годы принимал все, но надеялся, что аресты ограничатся «их собственными счетами». Он так и разграничивал: когда взял Кольцова, он сказал, что это нас не касается, но тяжело реагировал, если арестовывали просто интеллигентов. Он хотел сохраниться «свидетелем» ...». И в другом месте: «Мне только неясно, кто из них (советских писателей.— А. Г.), кроме Шкловского, до конца сознавал, что такое уничтожение человека. Ведь большинство из них принадлежали к поколению, пересмотревшему ценности и боровшемуся за „новое“»⁸.

Ниже публикуются четыре письма Виктора Шкловского, посвященных репрессированным в 30—40-х годах деятелям культуры; трое из них были осуждены по статье 58.10 (антисоветская агитация). Эти документы не единичные в архиве Шкловского; вместе с другими советскими писателями он принимал участие в хлопотах за Н. Н. Заболоцкого, директора Детиздата Г. Л. Эйхлера, поэта и переводчика Д. И. Выгодского и других. Для Шкловского участие в таком рода деятельности существенно осложнялось его политическим прошлым — и публикуемые нами материалы, конечно, свидетельствуют о незаурядной смелости их автора.

Первый документ связан с трагической судьбой Владимира Борисовича Шкловского (1889 — ?) — лингвиста, переводчика, библиографа, старшего брата Виктора Шкловского⁹. Вл. Шкловский окончил Петербургский университет, с 1910 года преподавал в различных учебных заведениях города (в том числе в Духовной академии до 1919 г.). В 1922 году был арестован, заключение отбывал на Соловках. С 1925 года — научный сотрудник Яфетического института АН СССР. Повторно арестован в 1930 году, работал в заключении на Беломорско-Балтийском канале. В октябре 1932 года Виктор Шкловский, хлопотавший об освобождении брата, приезжал к нему на канал (устроив себе журналистскую командировку). «Страшнее, чем на войне», — сказал Шкловский, вернувшись оттуда (по воспоминаниям Э. Г. Герштейн¹⁰). В 1933 году Вл. Шкловский был освобожден — очевидно, участие Виктора Шкловского в коллективном сборнике «Беломорско-Балтийский канал» было своеобразной платой за свободу брата (кроме того, не исключено, что участие Шкловского в сборнике диктовалось необходимостью продемонстрировать политическую лояльность, ведь в печати его в то время называли классовым врагом). Третий раз Вл. Шкловский был арестован 17 ноября 1937 года, в разгар ежовщины. В 1939 году, после снятия Ежова и назначения Берии и в связи с проведенными реабилитациями некоторых лиц, осужденных при Ежове, Виктор Шкловский, не знавший даже, по какой статье осужден его брат, предпринимает первую (насколько известно) попытку прояснить его судьбу. 17 августа 1939 года он сообщает матери, Варваре Карловне: «О Володе я подал заявление прокурору СССР Вышинскому. Он передал Глузман. Глузман сняли. Я пошел опять к Вышинскому, но его перевели на другую работу. Володю, очевидно, осудили без права переписки, и поэтому справок о нем не дают»¹¹. В этом же письме упоминается, что Вл. Шкловский осужден по статье 58. К началу 1940 года Виктор Шкловский выяснил причины ареста брата. Среди собранных им материалов — заявление соседа Владимира и Варвары Карловны Шкловских, П. Г. Зверева, впоследствии признанного психически ненормальным. Вот фрагмент этого заявления, датированного 31 января 1940 года (печатается с сохранением орфографии и пунктуации подлинника)¹²:

«В 1937 году будучи убежденным, что меня приводит в тяжелое гипнотическое состояние Варвара Карловна, при котором не только ощущал всевозможные отчаянные боли, но и состояние при котором не мог работать и правильно ориентироваться. (...) Будучи убежденным и ощущая это непрерывно в течении продолжительного (годами) времени, по совету и активному содействию одного из моих близких я обратился в 7-ое отделение милиции Дзержинского района за помощью расследовать это дело. Там предложили описать наши взаимоотношения, все данные, подтверждающие гипнотические воздействия и описать кто и что за люди живут в квартире. Руководимый инстинктом самозащиты и надеясь на быстрое расследование я и написал заявление в мае 1937 г. Ни мести и ничего либо в этом духе я не имел. В заявлении я просил беспристрастно расследовать это дело, если окажись в чем-либо я несправедливым и виновным, наказать и меня. В основном мною описаны в заявлении взаимоотношения и признаки подтверждающие гипнотическое воздействие. Как и предложено описаны люди живущие в квартире, кто где работает и кто к чему склонен. В частности описан и Владимир Борисович как убежденный человек и в чем это выражалось. Лишнего я о нем как и о других ничего не написал. Незнаю, но возможно это послужило компрометирующим материалом для Владимира Борисовича».

К этому заявлению Виктором Шкловским были также приложены отзывы о Владимире Шкловском В. М. Жирмунского («высококвалифицированный ученый, прекрасный знаток романской филологии»), О. Д. Форш («громкая эрудиция и редкие по разнообразию и объему познания»), Ю. Н.

Тынянова («абсолютно честный советский человек, искренне преданный советской науке, горячо заинтересованный в ее развитии»), В. Ф. Шишмарева («советский работник, самоотверженно и упорно погружавшийся в свои изыскания»), Б. В. Казанского («прямой и цельный, не способный притворяться и лукавить, без хитрости и задних мыслей»).

Заявление В. Б. Шкловского в Прокуратуру СССР

Уважаемый товарищ Котов!

16-го апреля я был у Вас по делу моего брата, Владимира Борисовича, и ушел глубоко потрясенный.

Я болел две недели, сейчас поправился.

По нашему уголовному кодексу можно просить о пересмотре дела вне зависимости от судьбы привлеченных людей.

Я передаю Вам копию письма ко мне члена-корреспондента Академии наук Шишмарева, который рассказывает о том, что за человек мой брат и как он изменился в последние годы.

О научной работе брата говорит член-корреспондент Академии наук Жирмунский.

Характеристику ему дает писатель-орденоносец Юрий Тынянов, писатель-орденоносец Ольга Форш.

О том же пишет профессор Казанский.

Все эти люди знают брата десятки лет.

Передаю Вам заявление Зверева о том, что он сделал сообщение о брате в милицию.

Не думаю, чтобы милиция приняла такого рода заявление, думаю, что заявление было сделано в НКВД.

О причинах, которые могли бы побудить Зверева сделать донос, рассказывает моя мать, обстоятельства жизни Зверева подтверждает сестра милосердия Сарычева.

О самом Звереве могу сказать, что он два года был в сумасшедшем доме на 11-й версте под Ленинградом, бред его был в том, что моя мать его околдовала.

Я обращаю Ваше внимание, что в том деле, о котором Вы мне рассказывали, основные обвиняемые жили в одной квартире. Связь эта могла быть подсказана доносом.

То, что Вы мне рассказывали, сейчас возбуждает во мне следующие мысли:

Не кажется ли Вам странным, что люди одновременно признаются в составлении и распространении рукописного журнала, и в далеко идущем терроре, и в сношениях с заграницией?

Эти показания противоречивы. Распространение журнала противоречит конспирации и, в сущности говоря, является нелегальной перепиской. На это не пошли бы люди, которые собираются совершать такие ужасные преступления.

Как я уже писал в первом заявлении, Владимир Шкловский странный человек, большой человек. И из Вашего разговора я увидел, что он мог совершить даже преступления, но не те, в которых его обвиняют. Рукописный журнал — это похоже, особенно, если он лежит в деле.

Брат мой был патриотом, и я не думаю, что чувство патриотизма могло в нем извратиться до такой чудовищной степени.

Я прошу Вас не возвращать дело, которое у Вас еще находится, и постараюсь помочь следствию, достать еще документы.

Я очень прошу Вас проверить роль Зверева в этом деле. Если Вы сами рассматривали это дело с сентября, то, значит, оно и Вам показалось не таким простым. Мне кажется, что даже те документы, которые я Вам сейчас даю в копиях, дают основание к применению статьи, говорящей о пересмотре дела в том случае, если поступили новые сведения, которые не были известны во время следствия. 4.V.1940 г.

*Писатель-орденоносец
В. Б. Шкловский.*

*Москва, Лаврушинский пер., 17, кв.47.
Тел. В1-87-42.*

⁹ По доносу Зверева в 1937 году были также арестованы и другие соседи Шкловских, с которыми Владимир Борисович поддерживал отношения.

Однако никаких известий о судьбе брата получить не удалось. Спустя почти три месяца, 5 августа 1940 года, Шкловский пишет матери: «С Володей дело обстоит так: письмо отправлено в прокуратуру, но прокуратура движет дело чрезвычайно медленно. По делу тов. Заболоцкого — делу аналогичному — мы разговариваем уже полтора года. Найдя документы. Уже вызывали людей, которые давали свои показания. Но дело его, как и дело Оксмана Юлиана, все тянется. Люди, которые давали показания против Юлиана Оксмана, уже осуждены советским судом как клеветники. Это было большое дело о сотрудниках Академии наук. Я попробую действовать еще по одной линии»¹³.

Н. Н. Заболоцкий и Ю. Г. Оксман были освобождены в 1946 году. Владимир Шкловский — реабилитирован посмертно в 1963-м¹⁴...

«Я старый человек, и мне не много времени осталось, чтобы увидеть на земле правду,— писала в 1940 году в своем заявлении Варвара Карловна Шкловская, не дожившая до реабилитации сына.— Нет времени ждать. Отпустите меня из этой жизни спокойной, знающей, что эта правда есть, что не может сумасшедший человек погубить хорошего человека, который ни в чем не виноват».

Второе письмо Шкловского — о поэте Эммануиле Яковлевиче Германе (литературный псевдоним Эмиль Кроткий; 1892—1963), авторе нескольких сборников стихотворений, активном сотруднике горьковских изданий «Летопись» и «Новая жизнь». Э. Я. Герман был арестован в 1933 году и 14 октября того же года коллегией ОГПУ осужден по статье 58.10 к ссылке на три года¹⁵. Поводом к аресту и ссылке послужили сатирические басни Германа, распространявшиеся в списках¹⁶.

*Депутату Верховного Совета РСФСР
Василию Ивановичу Лебедеву-Кумачу*

Уважаемый товарищ!

Поэт Эммануил Яковлевич Герман в октябре 1933 года был выслан из Москвы на три года. Эти три года он провел в гор. Камень Западно-Сибирского края. Все время он работал как поэт и журналист в органе Каменского райкома «Колхозная жизнь».

Я знаю Эммануила Яковлевича Германа (литературный псевдоним Эмиль Кроткий) 24 года.

Познакомил меня с поэтом Алексей Максимович Горький. Горький очень ценил Германа, и письма его к поэту сохранились.

Эмиль Кроткий превосходный газетный поэт самого высокого класса. Злободневность не мешает ему работать, а помогает.

Все время с Октябрьской революции Герман работал в советской прессе.

«Труд», «Крокодил», «Вечерняя Москва», «Литературная газета» и мн. другие помещали его непрерывно.

С 1936 года Герман работал для эстрады.

Наша эстрада находится в очень плохом положении. Там не только мало одаренных людей, но даже мало литературно грамотных.

Работа Германа в эстраде принципиальная. Он дорабатывает вещи и вводит в эстрадную работу высокое качество современного советского стиха.

Трудно назвать человека, который был бы сейчас для эстрады так нужен, как Эммануил Герман.

Эта отрасль искусства, искусства массового, у нас в забросе, и только этим объясняется, что о работе Германа нет рецензий и отзывов.

Я видел отзывы организаций о работе Германа, но очень жалко, что нет отзывов в печати.

Я обращаюсь к Вам как к признанному мастеру песни, как к человеку, понимающему все значение массового искусства, как к человеку, который в Союзе советских писателей боролся против недооценки массового искусства, в особенности эстрады, с просьбой помочь Герману.

Маргиналии

Герман растет, но для того, чтобы вырасти так, как он может, для того, чтобы сделать столько, сколько он может, он должен почувствовать себя равноправным гражданином Союза.

Со времени административной высылки прошло 7 лет. Я думаю, что можно и надо хлопотать о снятии судимости с поэта.

Этот крепкий, веселый поэт, искренний патриот, человек настоящего честного смеха и вдохновения, поставленный в нормальные условия, поможет эстраде, поможет нашей песне и, не отрываясь от эстрады, создаст лирические стихи. Лирика у него есть, причем лирика его конкретна, а, к сожалению, у очень многих наших советских лириков лирика абстрактна.

Советский народ избрал Вас своим депутатом. Вы представляете поэзию в правительстве. Это высокая честь, которой мы рады. Мы рады слышать Ваш голос поэта на собраниях.

Я обращаюсь к Вам как литератор с просьбой помочь, как к депутату-писателю, и не только Герману, но и нашему искусству.

Уверенность, что Эммануил Герман на самом деле нужен, позволяет мне быть настойчивым.

5. XI. 1940 г.

*Писатель-орденоносец
В. Б. Шкловский.*

После письма Шкловского В. И. Лебедев-Кумач 15 января 1941 года обратился с просьбой о пересмотре дела Э. Я. Германа к председателю комиссии при Президиуме Верховного Совета РСФСР по рассмотрению ходатайств о помиловании и снятии судимости. 4 февраля 1941 года Герман получил ответ от этой комиссии, в котором ему рекомендовалось обратиться в органы НКВД по месту жительства. Следующий документ (от 17 декабря 1943 года, опять от той же комиссии) — извещение о передаче заявления Германа в НКВД СССР. В июле 1944 года заявление поэта вернулось в управление НКВД Астраханской области (где тогда жил Герман)... Только 5 января 1946 года — через десятилетие по завершении срока и шесть лет спустя после письма Шкловского — постановлением ОСО при НКВД СССР судимость с Германа была снята. К тому времени он уже широко печатался в центральной прессе, а в 1956—1966 годах вышло пять книг его сатирических стихотворений.

Леонид Филиппович Волков-Ланнит (1903—1985) — историк и теоретик фотонискусства, журналист. Печатался в журнале «Новый Лепс» (1927—1928), дружил с А. М. Родченко. Был арестован в 1941 году и осужден по статье 58.10. 16 ноября 1942 года Шкловский пишет Л. А. Кассилу: «Дела у Ланнита плохи. Он в Казани и болен туберкулезом. Не говорит, но пишет. <...> Твои деньги и мои 450 рублей ему еще не передали, но я их передам с Казанского, связи у меня есть»¹⁷.

Из письма Л. Ф. Волкова-Ланнита В. Б. Шкловскому 10 ноября 1943 года:

«Мой милый В. Б.! Страшно любить человека со стороны и делать все для того, чтобы этого он не узнал. Так было всегда в отношении Вас. В 1938 г. Вы мне написали «жить стоить». Я этому поверил и остался один со своей коллекцией. Спасите ее всеми доступными средствами (броней комнаты и т. п.) и Вы этим спасете меня. Теперь я хочу жить хотя бы для того, чтобы дожидаться дня встречи с Вами. <...> Теперь я должен сделать все, чтобы остаться жить. Это трудно, но необходимо. Лимитирует физическое угасание. Если есть способ наладить регулярное вспомоществование продовольствием, то я, быть может, вытяну до весны. У меня т. б. ц. скоротечный процесс. Но если бы лишних 200 грамм ржаных сухарей в день — мой возраст меня выручит. Умирать в 40 лет не хочется <...>. Я не могу ничего писать о себе кроме того, что в августе меня два раза выносили в сад. Он состоит почему-то из одной клумбы-кургана с настурциями. Я протянул руку к этим скучным желтым цветам и пожевал их. До сумерек я съел их ровно столько, сколько могла схватить с носилок

вытянутая рука. Это очень вкусные цветы — вполне заменяют редьку»¹⁸.

Письмо В. Б. Шкловского наркому внутренних дел Л. П. Берии:

Уважаемый Лаврентий Павлович!

Пишет Вам писатель Виктор Борисович Шкловский.

По журналу «Леф», в котором редактором был Владимир Маяковский, знал я Леонида Филипповича Волкова-Ланнита.

Это талантливый человек с большими знаниями. Человек психически неуравновешенный.

В 1938 году Волков-Ланнит психически заболел. Отказался принимать пищу, попал в психиатрическую лечебницу, потом вышел из нее.

В 1941 году Леонида Филипповича арестовали по делу, сущности которого я не знаю, знаю, что это было по ст. 58, п. 10.

Уже три года скоро Леонид Филиппович Ланнит арестован и больше года находится в психиатрической больнице в Казани. Это больница НКВД.

Я получал письма. Сознание не затемнено, очевидно, человек выздоравливает. При первом заболевании мне говорили, что психоз реактивный.

Я хорошо знаю этого человека. Мне кажется, что его психическое состояние можно поправить легче на воле. О вменяемости его во время ареста — вряд ли можно говорить.

Одно обстоятельство мешает выздоровлению.

Я пишу еще о нем и потому, что это может заинтересовать Вас само по себе.

У Волкова-Ланнита вещи, конечно, не конфискованы.

У него была знаменитая коллекция граммофонных пластинок, числом более двух тысяч. Эти пластинки взяты без конфискации, потом попали в стол находок, потом были в Московском областном отделении НКВД. Я навел на них справки. И мне сказали, что около 1400 пластинок передано в Комитет по делам искусств. Никаких бумажных следов по этому делу нет, и их отыскать я не могу.

Таким образом, у человека без судебного приговора отобрали имущество, причем имущество очень большое.

У Волкова-Ланнита есть дочь 13 лет, есть жена. Его самого надо поддержать сейчас.

Пластинки эти были для Волкова-Ланнита объектом научной работы. Он писал работу о звукозаписи.

От времени «Лефа» нас осталось очень мало, и чем старше мы становимся, тем больше мы дорожим друзьями.

Я убежден, что Волков-Ланнит выздоравливает и уже выздоровел. Вины у него не было, а была беда, происшедшая из-за психической неустойчивости. Думается мне, что сейчас можно говорить об освобождении.

Очень прошу Вас поручить пересмотреть это дело.

Очень прошу поручить кому-нибудь выяснить историю с этими пластинками, с которыми, очевидно, поступили неаккуратно и неточно.

10. X. 44 г.

*Остаюсь с глубоким уважением
Виктор Шкловский.*

Москва, Лаврушинский пер., 17/19, кв. 47.

Т. В 1-91-85.¹⁹

Точно установить не удалось, возымело ли какое-нибудь действие письмо Шкловского. Но в 1947 году Волков-Ланнит был освобожден. 4 января 1948 года он писал Шкловскому: «Не иду, потому что хотел придти из Казани с книгой. Было тысячи две бумажек из-под порошков. Менял табак на порошки, а лекарства высыпал в плевательницу. Листиками простегал всю подкладку пальто. Впервые стало тепло душе, тем более что ждал всего, кроме возвращения на Лубянку. Первый мой читатель распарывал и инвентаризировал меня семь часов. Только вчера выяснилось окончательно, что ничего не получу обратно. За ворота вышел с бельем и квитанцией на право прописки...» В 1938 г. я не пришел,

потому что было стыдно. В 1947 — потому что не с чем идти. Благодарить? Это могу делать только мысленно. Даже на бумаге мне трудно произносить некоторые слова»²⁰.

В конце 50-х годов после тяжелой болезни Волков-Ланнит возвращается к работе. С 1960 по 1981 год вышло 12 его книг, посвященных истории и теории фотоискусства (в том числе работы об А. М. Родченко, Б. И. Игнатовиче, уникальный свод фотографий В. В. Маяковского «Визу Маяковского» и др.). Его коллекция граммофонных пластинок сохранилась, в 1960 году она насчитывала уже 6 тысяч экземпляров²¹.

С Аркадием Викторовичем Белинковым (1921—1970) Шкловский познакомился (как указано в публикуемом ниже письме) в 1943 году — в год окончания Белинковым Литературного института. В архиве Шкловского сохранился листок с дарственной надписью Белинкова Шкловскому от 18 июля 1943 года (посланный, очевидно, с рукописью романа «Черновик чувств» — дипломной работы Белинкова): «Виктору Борисовичу Шкловскому. Дорогому и любимому учителю. Любимому писателю»²². В позднейшей беседе с Н. С. Пасхиным Белинков, вспоминая о времени близости со Шкловским, называл себя последним опоязовцем²³. 29 января 1944 года (а не 1943, как указывает Шкловский) Белинков был арестован²⁴. По некоторым свидетельствам, восходящим, очевидно, к рассказам самого Белинкова, поводом к аресту послужило распространение в рукописи его романа «Черновик чувств», имевшего подзаголовок «Антисоветский роман» и посвященного советско-германскому пакту 1939 года; после почти двухлетнего заключения Белинков приговаривается к смертной казни, которая была заменена на двадцать пять лет после вмешательства А. Н. Толстого и В. Б. Шкловского²⁵. Однако сведения, переданные Белинковым, не точны: трудно представить, что роман такого содержания мог быть защищен в качестве дипломной работы и мог упоминаться и в публикуемом ниже письме Шкловского, и в письме матери А. В. Белинкова А. Н. Толстому (опубликовано Е. Ю. Литвин в «Московском комсомольце» от 3 августа 1989 года); не принимал участия в судьбе Белинкова и Толстой: на упомянутом письме матери Белинкова от 13 марта 1944 года сохранилась запись Ю. А. Крестинского, литературного секретаря Толстого: «Собранный материал в Ин-те не дает возможности просить за Белинкова Ю. К. «так!». По свидетельству Генриха Натановича Горчакова, Белинков в июле 1944 года был приговорен ОСО к восьми годам.

Письмо В. Б. Шкловского К. М. Симонову:

Дорогой Константин Михайлович!

Аркадий Викторович Беленков, студент Литературного института, был арестован 29 января 1943 года. В это время он уже кончил Институт.*

Институт просил меня проконсультировать его дипломную работу.

Так я познакомился с романом «Черновик чувств». И так я познакомился с Аркадием Беленковым.

А. Беленкову был 21 год. Это оказался болезненный мальчик, почти всю жизнь проведший в кровати — у него порок сердца, — это оказался оторванный от жизни человек, религиозно преданный искусству.

Роман был посвящен французской живописи, метафорам, и роман оказался очень талантливым.

Роман — типично формалистический. Поэтому в судьбе этого мальчика люди, когда-то связанные с формализмом, да и весь Институт в целом, имеют свою долю и свою вину.

Роман — зрительен, интересен и, по моему мнению, при всей своей ошибочности не контрреволюционен. Он оторван от жизни.

Я довольно долго провозился тогда с Беленковым. Его здоровье было тогда в таком состоянии, что его нельзя было оторвать в жизнь.

* Таково написание фамилии в оригинале.

У Института были свои ошибки, и в качестве искупления может быть и бессознательно, в жертву был принесен Беленков.

Сперва его исключили из комсомола, а потом он был арестован.

Я обратился к Алексею Толстому, показал ему роман. Толстой очень заинтересовался Беленковым, должен был помочь, обещал мне это — об этом помнит Людмила Ильинична, жена Толстого. — потом он тяжело заболел и умер.

Беленков оказался в Караганде. Я пережил свои несчастья.

Теперь Беленков, как говорят, актирован, т. е. он признан инвалидом. Лагерь, в котором он находится, по существу говоря, не знает, что с ним делать. Сидит Беленков уже четыре года. Я имел от него письма: он пишет пьесу, направленную против, точно говоря, низкопоклонства перед заграницей²⁶.

Человек не озлобился, человек понимает, что произошло. Человек талантлив.

Сейчас Беленков послал заявление тов. Швернику.

Дело идет о талантливом человеке.

Литературный талант — вещь слабо распространенная, тут бросаться людьми не приходится.

Я знаю Вашу прямую и настоящую любовь к литературе, внимательность к людям.

Я Вас очень прошу поддержать ходатайство Беленкова перед тов. Шверником.

Несмотря на свою запутанность, на свою оторванность от жизни, Беленков переменялся, и прежде, я думаю, он был виноват в таких вещах, которые исправляются статьями в газетах. Но была война, был острый момент идеологической борьбы.

Беленков может стать хорошим драматургом. Дело идет не о жалости — дело идет о хозяйственном сохранении талантливого человека.

²⁶ В 1945 году на фронте погиб единственный сын Шкловского Никита.

Н. М. Шверник в то время — Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Вместе со своим письмом посылаю Вам копию заявления Беленкова.

12 сентября 1947 г.

В. Шкловский.

Лаврушинский пер., 17, кв. 47.

Т. В 1-91-85.²⁷

К. М. Симонов (бывший в то время заместителем генерального секретаря правления Союза писателей) не дал ходу письму Шкловского, сохранив его в своем личном архиве (в начале 70-х годов он показывал письмо Л. И. Лазареву со словами: «Вот это был поступок! И ведь в это время он сам, Шкловский, ходил по краю»).

Осенью 1956 года Белинков был освобожден по амнистии. В 1961 году вышла его книга «Юрий Тынянов», на которую Шкловский откликнулся рецензией под кратким названием «Талантливо!»²⁸. Книга имела шумный успех, последнее время о ней писали в нашей печати. Следующая крупная работа Белинкова — книга об Олеше — в СССР уже напечатана не была по причинам, о которых писала позднее Р. Д. Орлова: «В ней нагляднее обнаружилось, что горестная, а во многом и трагическая жизнь Олеши послужила средством, строительным материалом для обличения советской интеллигенции, которую Белинков обвинял в предательстве»²⁹. После смерти Белинкова книга вышла в 1976 году в Мадриде под названием «Сдачи и гибель советского интеллигента. Юрий Олеши». В этой книге Шкловский и его работы 30—50-х годов упоминаются не раз и по разным поводам («некогда замечательный писатель», «великий и горький грешник русской литературы», «улыбающийся человек, повисший между ложью и полуправдой», и т. п.); книга Белинкова о Шкловском осталась незаконченной.

В 1968 году, воспользовавшись туристической поездкой в Венгрию, Белинков бежал в Югославию; оттуда он переехал в США, где преподавал русскую литературу в Йельском университете. Одним из наиболее значительных критиков современной России назвал Белинкова в некрологе Виктор Эрлих³⁰.

¹ Письмо В. Г. Шкловской-Корди, ноябрь 1922 г. Цит. по: Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи — воспоминания — эссе (1914—1933). М. 1990. С. 507.

² Там же.

³ Из выступления в прениях по докладу К. Б. Радека «Больные вопросы советской печати» 14 декабря 1925 г. «Журналист», 1926, № 1, с. 41.

⁴ Из наборной рукописи книги (ИМЛИ, ф. 224, оп. 1, ед. хр. 1).

⁵ Отрывки, посвященные Шкловскому, см.: «Нева», 1989, № 8; «Весть». Проза. Поэзия. Драматургия. М. 1989. Отд. изд.: М. 1989.

⁶ Из выступления на первом пленуме оргкомитета Союза советских писателей (29 октября — 3 ноября 1932 г.). «Советская литература на новом этапе». М. 1933. С. 245.

⁷ Из выступления на втором пленуме оргкомитета ССП (12—19 февраля 1933 г.). «Новый мир», 1933, № 2, с. 249.

⁸ Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М. 1989. С. 286—287, 356.

⁹ Биографические сведения о Вл. Б. Шкловском извлечены из его автобиографии (ГПБ, ф. 103, ед. хр. 172), писем В. Б. Шкловскому, В. К. Шкловской-Бундель, В. Г. Шкловской-Корди и другим (все материалы — в фонде В. Б. Шкловского: ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1).

¹⁰ Герштейн Э., «Новое о Мандельштаме». («Наше наследие», 1989, № 5, с. 112). Разрешение на право посещения ББК вклеено в альбом А. Е. Крученых «В. Шкловский. 20 лет работы» (1934) (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 391).

¹¹ ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 447.

¹² Приводимые ниже заявление П. Г. Зверева, отзывы В. М. Жирмунского, О. Д. Форш, Ю. Н. Тынянова и других, заявление В. Б. Шкловского в прокуратуру и письмо В. К. Шкловской — ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 1030.

¹³ См. примеч. 11.

¹⁴ Справка о реабилитации Вл. Б. Шкловского — ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 839.

¹⁵ Письмо В. Б. Шкловского В. И. Лебедеву-Кумачу, а также материалы о реабилитации Э. Я. Германа — ЦГАЛИ, ф. 2566, оп. 1, ед. хр. 211.

¹⁶ См.: Гуль Р. Одвуконь. Нью-Йорк. 1973. С. 196.

¹⁷ ЦГАЛИ, ф. 2190, оп. 2, ед. хр. 380.

¹⁸ Там же, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 542.

¹⁹ Там же, ед. хр. 488.

²⁰ См. примеч. 18.

²¹ См. о ней: «Смена», 1960, № 15.

²² ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 514.

²³ The Russian review, 1970. Vol. 29, № 3, P. 367.

²⁴ За уточнение биографических сведений об А. В. Белинкове приносим благодарность Генриху Натановичу Горчакову, писателю, «подельнику» Белинкова.

²⁵ Эти неточные сведения приведены, в частности, в биографической статье об А. В. Белинкове в «Энциклопедическом словаре русской литературы с 1917 года» Вольфганга Казака (London, 1988, С. 88—89). Отсюда они перекочевали и в новейшие советские публикации о Белинкове (см., напр.: Сарнов Б., «С художниками это бывает». — «Вопросы литературы», 1989, № 12).

²⁶ О работе Белинкова над этой пьесой Шкловский узнал из письма Белинкова (предположительно — родным) от 11 июня 1947 г.). Белинков, в частности, писал, что его новая книга должна стать «доказательством того, что за 3 с половиной года я понял то и столько, чего не мог понять за годы, прошедшие от первых своих страниц до подписи на ордере об аресте», подробно обосновывая, почему он решил выбрать именно жанр пьесы на «тему идеологической наступательной борьбы с чуждыми нам буржуазными идеологиями» (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 955). Очевидно, Белинков писал это письмо в расчете на то, что оно будет использовано в деле его реабилитации; это предположение объясняет и то, что с письма была снята копия, сохранившаяся в архиве Шкловского.

²⁷ ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 436.

²⁸ «Литературная газета» от 8 апреля 1961 года.

²⁹ Орлова Р. Воспоминания о непростом времени. Ann Arbor, 1983. С. 315.

³⁰ Slavic review, 1970, Vol. 29, № 3.



Фрагмент рисунка Сандро Боттичелли

философия побежденных

Письмо
второе

александр янов

Те, кто слышал в России о моем коллеге по Нью-Йоркскому университету д-ре Артуре Шлезингере-младшем, знают его, вероятно, как историка, ближайшего советника одного из самых блестящих американских президентов, написавшего знаменитую книгу «Тысяча дней Джона Ф. Кеннеди», или, в крайнем случае, как влиятельного либерала и идеолога демократичес-

кой партии. Это верно, конечно. И все-таки главное о д-ре Шлезингере совсем не в этом. Потому что он еще и крупный, быть может, крупнейший сейчас философ американской истории.

Я бы сразу и принялся излагать основные идеи его философии, когда б не боялся, что само словосочета-



письмо из-за границы



ние «философия американской истории» может прозвучать парадоксально для советского читателя. Мы как-то привыкли к иным измерениям. Если уж станем мы слушать о философии истории, то нам подавай философию универсальную, вселенскую, планетарную. Меньше чем на Арнольда Тойнби или Освальда Шпенглера мы не согласны. Философ истории должен в нашем представлении оперировать как минимум категориями цивилизаций и масштабами тысячелетий или хотя бы мыслить в терминах этносов. Какой же он, спрашивается, иначе философ истории?

То, чем занимается д-р Шлезингер (или, скажем, ваш покорный слуга на другом материале), бесконечно более скромно. И, мне кажется, ничуть не менее необходимо в этом мире.

В отличие от историка, философа национальной истории интересует не столько то, что отличает те или иные периоды: в прошлом одного народа от других, сколько все это прошлое в целом, его общий смысл, основные направления его движения. Философия истории рассматривает это прошлое как единый процесс — от начала государственного существования народа до сегодняшнего дня. Она выясняет главные образцы, или стереотипы, политического изменения в национальной истории, выработанные на протяжении столетий, соизмеряя их с сегодняшними — и завтрашними — событиями. В этом смысле пытается она нам представить не только общую схему нашего прошлого, но и, если угодно, генеральный план нашего будущего.

Разумеется, в философии национальной истории нет ничего жестко детерминированного. Хотя бы потому, что основополагающие силовые линии политической культуры нации, которую она изучает, как правило, противоречат друг другу, часто отрицают друг друга — и будущее решается поэтому в жестокой борьбе этих линий. В каждый данный момент философия национальной истории не может — и не стремится! — ответить на вопрос, какая именно из этих взаимоисключающих тенденций победит завтра или через десять лет. Но зато она очень легко может ответить на вопрос, что случится со страной, если победит одна из них или если победа другой окажется неполной и непоследовательной.

Вернемся теперь к началу, к философии американской истории д-ра Шлезингера. С его точки зрения, история эта, во-первых, циклична (недавняя его книга так и называется — «Циклы американской истории»), а во-вторых, пронизана основополагающим противоречием между двумя ее фундаментальными силовыми линиями.

Согласно одной из кардинальных идей, заложенных в первородную ткань политической ментальности Америки, Соединенные Штаты — своего рода лаборатория демократии. Или, если хотите, демократический эксперимент, поставленный всемирной историей, после того как тысячелетия авторитаризма завели человечество в тупик. Это эксперимент на жизнеспособность, на выживание политической организации, сознательно посвятившей себя защите гражданского общества от произвола государства.

Отцы-основатели Соединенных Штатов согласились пойти для этого на очень тяжелые самоограничения, даже жертвы. Например, разделение властей, лежащее в основе эксперимента, делает управление страной медленным и громоздким. Оно ослабляет не только способность государства причинять зло, но и творить добро. Оно многократно затрудняет ему задачу борьбы с организованной преступностью — как политической, так и уголовной. Демократический

эксперимент не дает Америке возможности справиться с безработицей или с периодическими рецессиями экономики.

И все же люди, пошедшие на такой эксперимент, согласились терпеть и это и многое другое, включая социальную несправедливость и неравенство доходов, ради того, чтобы оградить себя и своих детей от произвола государства. Ибо произвол этот рассматривают они как худшее из бедствий, как абсолютное зло, способное принести им политические катастрофы, несоизмеримые со всеми теми неприятностями, с которыми им приходится мириться в своем ежедневном существовании.

В этом и состоит эксперимент: согласятся ли люди вечно терпеть тысячу маленьких — или даже больших — несправедливостей, отравляющих им жизнь, ради того, чтобы предохранить себя от одного гигантского зла? Справедливо ли, скажем, что у вашего соседа, который ничуть не лучше вас, есть вдобавок к великолепному «мерседесу» еще и длинный кадиллак, а у вас лишь крохотный «рено», про который здесь говорят, что, если попадешь с ним в автокатастрофу, врач уже не нужен? Справедливо ли, что сосед роскошествует в вилле из 18 комнат, когда вы вынуждены ютиться в одной? Смирятся ли люди с этим вечным компромиссом или в один прекрасный день поднимутся против него, воодушевленные экстремальной идеей уничтожить зло и неравенство в принципе?

Для этого понадобилось бы им, конечно, мощное государство, способное железной рукой переселить соседа из роскошной виллы в подвал раз и навсегда. Для этого нужно было бы государству стряхнуть с себя неуклюжие вериги разделения властей, не позволяющие ему устроить на земле рай — без неравенства и социальной несправедливости. И это был бы конец демократического эксперимента.

Вот почему эксперимент не закончился и двести лет спустя после его начала. Он может продолжаться еще века. Кто знает, какие кризисы таит в себе будущее? Жизнь становится сложнее. И пионеры политического прогресса всегда вызывают огонь на себя, принимают удары первыми. Вполне возможно поэтому, что у демократического эксперимента вообще не будет конца. Во всяком случае, его не будет, пока большая часть человечества к нему не присоединится. К сожалению, и на исходе XX века большинство народов, населяющих нашу землю, включая самые мощные и многочисленные из них, к этому еще не готовы. И до тех пор, пока не будут они готовы, главная задача демократического эксперимента — выжить. А это означает публичное признание своего несовершенства, изначальной хрупкости американского эксперимента, его уязвимости. Великая депрессия 1929—1933 годов ясно продемонстрировала степень этой уязвимости. Она потребовала радикальной адаптации к усложнившимся реалиям исторического бытия. И так должно быть всегда: смысл эксперимента в выработке все новых и новых демократических форм, способных обеспечить максимальную стабильность (а значит, и минимальное неравенство) внутри системы и ее максимальную эффективность по отношению к окружающему миру.

Все это было бы понятно и просто, если бы «экспериментальная» идея доминировала в американской политической культуре. Проблема в том, что это вовсе не так. Ей приходится жестоко конкурировать с другой, альтернативной (назовем ее для краткости имперской) идеей, ничуть не менее укорененной в этой культуре. «Имперская» идея не признает теорию демократического эксперимента. Она отнюдь не считает Америку

хрупкой или уязвимой. Согласно этой идее Соединенные Штаты созданы Богом как его новый, избранный народ, как идеальная модель свободного общества, как сияющий дворец на вершине исторического холма. Божий замысел превратил страну в безусловного лидера современного мира, во вместилище всех ценностей иудее-христианской цивилизации. И миссия ее в этом мире заключается поэтому вовсе не в том, чтобы выжить, но в том, чтобы распространить эти ценности по всему свету и, естественно, оградить их от угрозы атеистического деспотизма. В начале 80-х президент Рейган, например, считал воплощением этой угрозы советскую «империю зла».

Как легко увидит из этого читатель, философия американской истории имеет самое прямое отношение к конкретной и вполне практической политике, т. е. не только к нашему прошлому, но и к нашему будущему. Если, скажем, Франклин Д. Рузвельт представлял в американской политике «экспериментальную» линию, хотя это и потребовало от него втянуть страну в мировую войну с государствами фашистской оси, то Рональд Рейган, хоть он ни с кем, кроме своих политических соперников, и не воевал, представлял «имперскую». Он возглавлял крестовый поход против всемирного зла, каким оно ему тогда представлялось, он исполнял миссию, завещанную Америке Богом.

Рейган вовсе не чувствовал себя участником какого-то дрящегося исторического эксперимента. Для него эксперимент закончился еще двести лет назад. И потому проблема выживания демократии в усложняющемся мире интересовала президента Рейгана меньше всего.

Тут и становится нам совершенно ясна функция философии американской истории. Нет, она не могла предсказать, победит ли «имперская» программа на выборах 1980-го. Если вас интересовали результаты конкретных выборов, вам следовало обращаться к политическим оракулам, не к философам. Но если вы хотели знать заранее, что случится со страной, если программа эта победит, философ американской истории мог предсказать это (и предсказал!) с большой уверенностью задолго до того, как она победила. Она должна была привести к серьезному падению жизнеспособности американского демократического эксперимента. И она к нему привела. У программы Рейгана было три главных задачи: сократить налоги (в надежде, что это стимулирует капиталовложения), сбалансировать государственный бюджет и удвоить военные расходы. Была ли такая программа реалистична? С точки зрения д-ра Шлезингера, ничуть. Он предсказал заранее, что цели ее несовместимы друг с другом и поэтому она приведет к обратному результату. Он предсказал, что к концу 80-х ежегодные бюджетные дефициты Америки вырастут как минимум в десять раз и государственный долг страны по меньшей мере утроится. В мирное время, чтобы свести концы с концами, государство должно будет одолжить столько же, сколько одолжило оно за все годы мировой войны. Одни лишь проценты, которые ему придется выплачивать ежегодно, достигнут половины всех налогов, собираемых им со своих граждан. В результате Америка неминуемо превратится из всемирного банкира во всемирного же должника. Она попадет в унизительную зависимость от того, как поведут себя ее заимодавцы в случае кризиса.

И это далеко не все, что предсказывал философ американской истории. Он добавлял, что в случае победы «имперской» программы в 1980-м социальное неравенство в Америке достигнет рекордных размеров,

этические стандарты упадут и позорный феномен бездомности среди американских граждан станет массовым. В результате внутренняя стабильность системы снизится в той же пропорции, в какой снизилась ее эффективность в мировой политике и конкурентоспособность на мировом рынке.

Теперь мы знаем, что предсказание д-ра Шлезингера сбылось до последней буквы. «Имперская» стратегия действительно оставила тяжелое наследство своим преемникам. И им не избавиться от этого наследства, пока не вернутся они к рузвельтовской «экспериментальной» стратегии.

Первый вопрос, который зададите вы философу, уже продемонстрировавшему вам прогностическую мощь своей дисциплины десятилетие назад, будет, конечно, таков: когда же преемники «имперской» стратегии будут готовы к возрождению ее соперницы? Философ ответит вам так же уверенно, как отвечал он в 1980-м: едва лишь нынешняя фаза стагнации в американской политической жизни сменится новой фазой реформы. По мнению д-ра Шлезингера, случится это в ближайшие годы, во всяком случае до середины 90-х.

В этом и состоит смысл циклической философии американской истории: анализируя стереотипы политического изменения в прошлом, мы получаем возможность предсказать не только то, что одна фаза цикла обязательно сменится другой, но и какой именно фазой она сменится, и каковы будут основные стратегии этой новой фазы, и какая именно силовая линия американской политической культуры в ней возобладает. Иначе говоря, овладев философией национальной истории, мы получаем в свое распоряжение как бы крупномасштабную карту нашего будущего. Читатель мог убедиться, что она достаточно надежна.

Что дает нам такая карта?

Она помогает нам сделать выбор между различными видениями будущего, укорененными в национальной культуре. Она подсказывает нам, на какое из них опереться, если мы хотим достичь определенной цели. Она объясняет нам, куда мы придем в случае, если мы сделаем неправильный выбор. Короче, она дает нам возможность поставить прошлое на службу будущему.

Вместо яблока раздора, разделяющего нас на непримиримые фракции, прошлое оказывается достаточно точным инструментом познания будущего.

Перенесемся теперь, читатель, в ситуацию Великой реформы 1860-х. Представьте себе, что было бы, если бы тогдашние русские реформаторы, с воодушевлением не меньшим, нежели ваше сейчас, взявшиеся за политическую модернизацию России, имели в своем распоряжении философию русской истории, подобную шлезингеровской. Если бы они точно знали, куда ведет каждая из магистральных силовых линий, пронизывающих русскую политическую культуру... Все это не так уж трудно себе представить. Ибо в общих чертах две силовые линии достаточно четко тогда уже обозначились (хотя и не были, конечно, обобщены и сформулированы так прозрачно, как в нынешней философии американской истории). Так же как и в американской политической культуре, линии эти и вытекающие из них видения будущего исключали друг друга.

Одна из них, ориентированная на «обретение себя в человечестве», то есть на присоединение к европейской семье народов, обнаружилась в новое время в поколении декабристов. Как и «золотой век» русской культуры, обязана она была александровским реформам начала столетия, прорыву европейского духа, повеявшего тогда над страной.

Хотя декабристское поколение и потерпело политическое поражение на Сенатской площади, жестоко расплатившись казнями в Петропавловской крепости и ссылками в «каторжные норы», оно все-таки победило — Чаадаевым. В «Философических письмах» своих, первой попытке предложить самостоятельную философию русской истории, Чаадаев достаточно ясно показал, что ожидают Россию неслыханные бедствия, если не найдет она в себе сил преодолеть свое вековое византийское «особнячество». Главный смысл его философии и заключался в этом грозном предостережении.

К сожалению, мысль его, как я уже говорил в предыдущем письме, была не свободна от распространенного в его время европоцентристского мифа. Оказал на нее влияние и разгром секулярного, политического крыла его поколения. В результате формулировка европейской идеи оказалась односторонней. В интерпретации Чаадаева она свелась к идее эйкуменизма, то есть воссоединения христианских церквей Европы. В подтексте было: Русская Церковь должна стать одной из ветвей мощного общеевропейского христианского древа (разумеется, католического).

Таким образом, европейская идея в России впервые явила себя миру в новое время в грандиозном плане религиозной реформы. Мало того что план этот был утопическим, он еще и уводил далеко в сторону от насущной задачи коренного политического преобразования.

Вторая силовая линия (назовем ее византийской) обнаружила себя в современном качестве в мрачные времена николаевской контрреформы. Суть ее сводилась к тому, что Бердяев назвал впоследствии русской идеей. Я подробно описал ее в книге «Русская идея и 2000 год» и поэтому буду здесь краток. Согласно этой теории Россия является не одной из многих европейских стран, но особой цивилизацией, славной наследницей Восточной Римской империи. И поэтому следует ей не присоединяться к европейской семье народов, как настаивал Чаадаев, но обратить эту семью в свою православную веру. Другими словами, России, единственной великой державе, обладавшей признаками высшей цивилизации — православием и крестьянской общиной и поэтому оказавшейся истинным избранным народом Божиим, предстояла миссия цивилизовать Европу (читатель, вероятно, уловит здесь аналогию с «имперской» идеей в американской политической культуре).

Что же касается демократического эксперимента, то есть попытки оградить гражданское общество от произвола государства, то согласно византийской идее ничего подобного России не грозит. Это на не цивилизованном покуда Западе общество и государство живут, как кошка с собакой. В России же государство искони было лучшим другом общества. Когда б не петровская реформа, предательски открывшая ворота страны роковому влиянию Запада, то никакого деспотизма у нас и быть не могло. И если сумеем мы впредь изолировать страну от этого разрушительного западного влияния, никогда его и не будет. Так уж счастливо устроена наша цивилизация, что просто нет нам нужды присоединяться к чуждому России демократическому эксперименту.

Так ясно обозначились обе главные силовые линии русской политической культуры накануне Великой реформы 1860-х. Как видит читатель, они действительно друг друга исключали.

Что следовало бы сделать тогдашним реформаторам, столкнувшимся в ходе преобразования со столь резко поляризованной политической культурой?

Прежде всего, очевидно, определить для самих себя, с кем они — с Чаадаевым или с его оппонентами, — сделать свой выбор. От этого, собственно, и зависело будущее России, наше с вами, читатель. Окажись у них советник, подобный д-ру Шлезингеру, он мог бы объяснить им заранее, что произойдет со страной в случае, если они сделают византийский выбор или вообще откажутся сделать его. Во имя, скажем, «консолидации» всех национальных сил. В последнем случае, сказал бы он, реформа будет проведена наполовину по-европейски, наполовину по-византийски. Например, создадут они вполне европейское правовое государство. И вполне по-европейски освободят крестьян от вековой крепости помещикам. Но в то же время — вполне по-византийски — оставят они крестьянина в крепости общине и откажут ему в собственности на землю.

Долговечным ли в этом случае, спросил бы философ, окажется созданное ими правовое государство? Не будет ли оно — без мощного крестьянского среднего класса, способного подпереть его в минуту кризиса, — построено на песке? Нет, объяснил бы он, Россия, которую вы сегодня создаете, не только недолговечна, она обязательно, неминуемо взорвется, похоронив под обломками и правовое государство и крестьянскую свободу.

Великие реформы редки в России. Пройдут десятки лет, быть может, столетие, прежде чем потомки ваши снова найдут в себе мужество и согласие, прежде чем выдвинут они мощного реформистского лидера, способного так же открыто, как вы сейчас, взглянуть в лицо вековечному российскому выбору. Сейчас, в 1860-е, решается вопрос, быть ли России в XX веке нормальной европейской страной или опять погрузиться во тьму византийского «особнячества». Если вы откажетесь решить это сегодня, ваши внуки и правнуки заплатят за это столетие промедления неслыханным национальным бедствием. Им предстоит эпоха сокрушительного деспотизма. Долгие годы будет в России голодно и кроваво. Другими словами, случится именно то, что предсказал вам философ, которого при предшествующем реформе режиме объявили сумасшедшим — за самую светлую мысль, высказанную в России со времен Крижанича.

Присмотримся внимательнее к тому, что вы сейчас делаете, сказал бы им философ. С одной стороны, вы создали вполне европейское местное самоуправление, а с другой — вполне по-византийски — отвергли принцип разделения властей, при котором это самоуправление только и может работать. Отказываясь от жесткого выбора между Чаадаевым и его оппонентами, вы пытаетесь соединить несоединимое. Результатом может быть лишь тирания, куда свирепей, нежели та, николаевская, от реставрации которой вы так страстно хотите сейчас оградить страну.

И когда столетие спустя завяжут ваши правнуки в яростных спорах о том, каким это образом снова оказалась страна в зоне смертоносной тирании, будет в их спорах и ваша вина. Вы не показали им пример выбора. Вы ушли от фундаментального вопроса русской истории. Поэтому будет им казаться, что корни их тирании лежат где-то близко, в том, что ей непосредственно предшествовало. Они будут искать эти корни то ли в ошибочной идеологии предыдущего режима, то ли в дефектной его политике, то ли в кознях нового тирана и его подручных. Они будут спорить о деталях отдельной неповторимой исторической ситуации. Они опять забудут о том, что действительные корни любой тирании лежат куда глубже — в политической культуре народа, разодранной надвое взаимоисключающими силовыми влияниями. Лишь немногие из них вспомнят,

быть может, что это вы, попытавшись усидеть на двух стульях, оставили им роковое наследство.

Поэтому, сказал бы философ тогдашним реформаторам, пока еще не поздно, имейте мужество взглянуть в лицо реальности и сделать свой выбор сейчас.

Если окажется он византийским, то ни к чему, поверьте мне, вся ваша реформа. Ни к чему освобождение крестьян (ибо их все равно снова закрепостят). Ни к чему правовое государство (ибо его все равно снова отменят). Ни к чему местное самоуправление (ибо оно все равно окажется бессильным). Все это иллюзия, суета, пустая трата гражданской энергии. В конечном счете, как будут говорить впоследствии, обман трудящихся масс.

Но если ваш выбор будет европейским, тогда уж извольте идти по этому пути до конца: дайте крестьянам землю сегодня, сейчас, освободите их от общины, способствуйте формированию сильного, массового среднего класса. Введите разделение властей. Решитесь на демократический эксперимент. Что мешало вам это сделать? В конце концов, в прошлом у вас вовсе не одна тьма деспотизма, как утверждают поверхностные историки. Напомните им, что первой великой державой в Европе, объявившей себя еще в 1610-м, пусть и на краткий исторический миг, конституционной монархией, была Россия.

Так, я думаю, сказал бы философ русской истории реформаторам 1860-х, если б он среди них оказался. Он был бы прав, как мы теперь знаем. Опять мы спорим сегодня о корнях отечественной тирании (только в отличие от философа прошлого века называем мы ее теперь сталинизмом). И опять отказываемся мы выбрать раз и навсегда наше видение будущего страны.

Окажись сегодня в Москве д-р Шлезингер, он бы и коллег себе не нашел. По-прежнему нет у нас такой дисциплины — философии русской истории. Нет языка, на котором могли бы мы обсуждать наше будущее в контексте нашего прошлого — во всей его целостности и единстве, а не только недавних его эпизодов. Об этносах мы толкуем, о христианской философии и межнациональных конфликтах, о региональном хозрасчете и о местном самоуправлении. Только это и кажется нам, как казалось реформаторам 1860-х, реальным, злободневным, действительным. Подобно им не хватает нам терпения задуматься об «абстрактном», но, как доказала история, решающем политическом выборе. О том самом, на который так и не решились они, обрекши нас тем самым на страшные испытания сталинизмом. Не строим ли мы опять на песке?

Один человек нашелся на съезде народных депутатов СССР, который, хоть и не сформулировал предстоящий нам выбор с пронзительной чаадаевской ясностью, все же почувствовал его интуитивно и высказал открыто, — Чингиз Айтматов. Позвольте мне процитировать его: «Надо думать о самой системе общества, о коренных ее свойствах, о ее неполноценности... Не следует превращать понятие социализма в икону... Пока мы гадали, судили и рядили, каким должен быть и каким не должен быть социализм, другие народы его уже имеют, построили и наслаждаются его плодами. Причем мы своим опытом сослужили им хорошую службу, показав, как не следует строить социализм. Я имею в виду процветающие правовые общества Швеции, Австрии, Финляндии, Норвегии, Голландии, Испании, наконец, Канады за океаном. О Швейцарии уж не

говорю — это образец. Рабочий человек в этих странах в среднем зарабатывает в четыре—пять раз больше, чем наши рабочие. Социальная защищенность, уровень благосостояния трудящихся этих стран нам может только снится. Это и есть реальный и, если хотите, рабочий профсоюзный социализм, хотя эти страны и не называют себя социалистическими, но от этого им не хуже. Как же мы себя закабалили в неподвижности своего социализма!.. Суть социализма не в терминологии, а в самой этой сути... Нам надо перенимать... весь положительный... опыт передовых высокоразвитых цивилизованных стран, опыт правовых государств. Если мы сами не умеем, надо изучать, как другие умеют жить при действительно реальном социализме».

Быть может, даже и не сознавая этого, Айтматов предлагает нам, по сути, то же самое, что предложил в свое время Чаадаев. Он предлагает эйкуменизм — только не религиозный, а политический. Мы можем присоединиться к европейской семье, говорит он, и мы должны это сделать. Если история свидетельствует, что для этого нужно отказаться от каких-то, пусть и существенных, деталей своего официального вероисповедания, так давайте от них откажемся. Хотя бы потому, что иначе немислимо зажить наконец по-людски. Немислимо и предотвратить новую реставрацию тирании.

По существу, Айтматов предлагает стране обрести себя наконец в человечестве. Ведь под флагом социализма (так же как под хоругвью православия) можно и присоединиться к европейской семье, и обособиться от нее.

Вообще обособляться можно по-всякому. Можно под флагом самодержавия и крестьянской общины, как сделали реформаторы 1860-х. Можно под флагом мировой революции и нового крепостничества, как сделали наши непосредственные предшественники. Можно под флагом борьбы со всемирным жидо-масонским заговором, как проповедают сегодняшние наши «византийцы».

Но ведь и присоединиться можно по-разному. Можно — отрекшись от социализма, как предлагают горячие головы, с кровью отторгнув тем самым живой кусок своей собственной истории, за который уплачено ценою непомерной. Но можно и реформируя социализм, как сделали, допустим, скандинавы. Ведь их социал-демократия от того же марксистского корня. Только соединенного с правовым государством, с крестьянской собственностью на землю, с разделением властей — одним словом, с демократическим экспериментом. Скажем так: их марксизм был открыт для политической модернизации, а сталинский был для нее закрыт. Вот и вся разница.

В отличие от Чаадаева Айтматова, слава Богу, не объявили сумасшедшим. Но и спорить с его идеей тоже не стали. Ее просто игнорировали, словно бы ее и не было.

Так не повторяем ли мы роковую ошибку реформаторов 1860-х? Готовы ли мы обсуждать основную проблему философии национальной истории с той же степенью открытости и заинтересованности, как делается это в Америке? А ведь Соединенным Штатам если что и грозит от невежества в этой области, то разве только стагнация. Это хоть и противно, но все же не очень страшно. России грозит контрреформа, реставрация тирании. Ибо циклы нашей истории столь же отличны от американских, сколь, скажем, разрушительные ураганы отличны от обычных ветров.

Нью-Йорк.

В редакцию журнала «Странник»

К вам обращается Федоров Георгий Борисович, бывший солдат 667-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии, в 1940—1941 годах принимавшей участие в оккупации Литвы.

Перед переходом границы наши политруки внушали нам, что мы увидим в Литве все ужасы капиталистического рабства, нищее крестьянство, нещадно эксплуатируемых, шатающихся от голода рабочих и жирующих за их счет богачей.

Мы увидели цветущую, изобильную страну, хутора и села, полные всех видов плодов земных, города со множеством магазинов, домящихся от всевозможных продуктов и промтоваров, по таким низким ценам, какие и не снились нам в России. Рабочий в Литве получал почти в 10 раз большую зарплату, если брать сопоставимые цены.

Наши власти, проходимцы и преступники всех мастей разграбили Литву. Многие священники были расстреляны, десятки тысяч ни в чем не повинных людей — арестованы, обречены гнить в тюрьмах и концлагерях. Палачи, принесшие неисчислимые беды самой России, особенно зверствовали в трех захваченных, до того процветавших Прибалтийских государствах. А мы — солдаты так называемой Красной Армии — своими штыками прикрывали этот разгул грабежа, насилий, убийств, издевательски выдаваемых за проявление воли литовского (латышского, эстонского) народа.

Тяжкий грех лежит на всех нас — солдатах оккупационной армии, осуществивших в 1940 году захват Литвы, Латвии и Эстонии. Тяжкий грех лежит и на мне лично. С тех пор всеми доступными мне средствами пытаюсь я искупить или хотя бы уменьшить мою вину.

Теперь, спустя полвека, части той же армии, только называемой теперь Советской, снова грозят Литве. Нет для этого никаких законных оснований и быть не может. Все выдвигаемые нашими хозяевами предлоги для вооруженного вмешательства в дела литовского народа лживы. Даже якобы необходи-

мость защиты русских в Литве. Я много раз бывал в Литве в разные годы уже в качестве ученого и писателя и ни разу не встречал ничего кроме самого сердечного гостеприимства. А права русских — их никто не ущемлял в независимой Литве до нашей оккупации, никто не будет ущемлять и в Литве, вновь обретшей свою независимость. Придется только соблюдать законы Литовской республики.

Представьте себе, что вы большой семьей живете в собственном доме. Вдруг приходят вооруженные люди, убивают или угоняют неизвестно куда часть членов вашей семьи и на их место поселяют чужих вам людей. Что же, вы от этого потеряли права на ваш дом, на тот распорядок, который вы в нем установили? Конечно, нет.

Солдаты оккупационной Советской Армии 1991 года в Литве! Послушайте товарища по оружию и по несчастью — солдата оккупационной Красной Армии в Литве — 1940—1941 годов. Не думайте, что вас ждет в Литве увеселительная прогулка. В 1940—1941 годах в ответ на массовые репрессии значительная часть литовского народа восстала. Разыгрались кровавые сражения. Наш полк, например, еще до начала войны с немцами понес тяжелые потери. Так будет и сейчас. Литовцы никогда не забывают слова своего великого поэта Майрониса:

Литва моя, Отчизна, край любимый,
Под синим небом на земле твоей,
В курганах, средь лесов непроходимых
Хранишь ты прах своих богатырей.

Если вы не хотите покрыть себя вечным позором и невинной кровью, если вы не хотите, чтобы потом всю жизнь мучила вас совесть, как мучит меня, — отверните ваши штыки, стволы и жерла. Не мешайте литовскому народу восстанавливать свое независимое государство. Не только литовцы, но и ваши матери будут тогда вас благослаовлять.

Георгий ФЕДОРОВ,
доктор исторических наук, член ПЕН-клуба.
13 января 1991 года.

Два письма по поводу одного интервью *

Глубокоуважаемый
Михаил Захарович.

Не удивляйтесь, пожалуйста, да и не посетуйте на меня за то, что я обращаюсь к Вам со страниц журнала, хотя, как Вы помните, со времени обэриутской научной конференции, которая-то и состоялась благодаря Вам, в стенах «Эрмитажа», мы знакомы лично. Но дав интервью Ирине Озерной, опубликованное в первом номере «Странника», Вы невольно имели в виду всех читателей журнала, и меня, значит, в том числе.

Ваше интервью я прочитал со вниманием. Вы сразу объявляете, что обэриуты для Вас — «братья», и говорите: «я напрашиваюсь к ним в родственники».

Естественно, меня, исследователя творчества и жизни обэриутов, заинтересовало, что же Вы думаете о своих «родственниках».

И вот одно место, признаюсь, озадачило.

Ирина Озерная спрашивает Вас, помогли ли Вам встречи с художницей Алисой Порет, «в молодости многим связанной с Хармсом и другими обэриутами»,

в работе над спектаклем «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов». И Вы отвечаете:

«Она мне открыла много сторон обэриутского, и прежде всего хармсовского, творчества. У нее были забавные записные книжки, что-то она мне из них читала. Я не очень люблю путь исследования творчества художника через его друзей, но тем не менее мне стал понятен дух обэриутов. И преступная сторона природы Хармса. Порет утверждала, что гениальность в Хармсе сочеталась с преступностью. Она говорила, что юмор его и мистификации были на грани садизма. Он мог поставить человека в такое страшное положение, что это пахло уже чем-то запретным, криминальным...»

Вот это настаиванье на понятиях «преступность», «преступная сторона природы», «криминальное» у Хармса, которые, по Вашим словам, и внушала Вам А. Порет, и огорчило меня.

Дело в том, что я тоже знал Алису Ивановну, не только талантливого живописца и графика, но и, пожалуй, не менее талантливого рассказчика. А ее «записные книжки» (на самом деле альбомы художника, с рисунками и текстами) я могу читать и перечитывать, потому что она их подарила мне, и

* См.: «В гостях у обэриутов». Беседа Ирины Озерной с главным режиссером театра «Эрмитаж» Михаилом Левитиным («Странник», 1991. выпуск первый, стр. 86—91).

я кое-что из этих альбомов успел опубликовать (в «Панораме искусств 12». Москва, 1989). Слышал я — и не раз — рассказы Алисы Ивановны о Хармсе и Введенском.

Вы излагаете, в подтверждение «криминального», рассказанную Вам историю о том, как в голодное время Хармс пригласил Порет в гости, чтобы угостить котлетами, которые жарила его мама... и съел все сам, не оставив гостю ни единой.

Допустим, эту историю «в духе Хармса» Порет рассказывала не только Вам и даже записала, в несколько ином освещении, в свой альбом. Но и в ней, и во всех эпизодах ее подробных «Воспоминаний о Данииле Хармсе» (напечатанных еще при ее жизни, в 1980 году, в «Панораме искусств 3») нет все же и намека на что-то криминальное, преступное в поведении Даниила Ивановича. А. Порет и говорила, и писала, что шутки у него были, как она выражалась, «по системе Макс и Мориц». Но преступное, криминальное... Никто, буквально никто из десятков людей, которых я расспрашивал о Данииле Ивановиче Хармсе (а я десятилетиями собирал воспоминания о нем), не находил и не отмечал ничего подобного тому, что Вы вынесли из рассказов Алисы Порет, хотя вспоминали о нем (и о его проделках) самое разное.

Не могу же я в самом деле подозревать Вас, человека, ставившего и, следовательно, изучавшего Хармса и к тому же пишущего, что Вы смешиваете мир его персонажей, часто действительно находящихся в криминальных отношениях, с миром самого автора, Хармса! Это, как Вы понимаете, было бы из разряда суждений: «Зоценко — мещанин»...

При всей любви к Алисе Ивановне, должен заметить, что в ее рассказах было много явных (и очаровательных!) преувеличений, переклестов, гиперболы, очевидных для каждого слушателя. Недаром ее мама говаривала: «Алисочка любит художественную ложь». То есть она была человеком искусства, с богатейшей фантазией.

Зная из дневников Даниила Хармса его истинные отношения с Алисой Порет и зная, по воспоминаниям множества людей, деликатную натуру Хармса, я не слишком доверяю и этому анекдоту с котлетами, но все же воспринимаю его как еще один талантливый рассказ художницы, которая могла иногда поставить «жанр» выше реального факта.

Но Бог с ними, с котлетами! Не в них дело. А в том, что «путь исследования творчества художника через его друзей», любящий этот путь или не любящий, мало что сулит, по моему мнению, если толковать о «преступной стороне натуры» писателя. Мало потому, что этой «стороны» у него просто не было.

Вот что хотелось мне сказать об одном из тех, кого Вы избрали себе в «родственники».

С искренним уважением
Владимир ГЛОЦЕР.

20 марта 1991 года.

* * *

Когда я прочитала интервью в «Страннике», я поняла причину своего нежелания писать что-либо об этой конференции, несмотря на интерес к теме творчества ОБЭРИУ. Доклады были интересные, дискуссия, разгоравшаяся после каждого доклада, захватывающе увлекательна и остроумна. Вообще по живости и непринужденности создавшейся атмосферы, по артистичности участников действия все это скорее напоминало театр (не зря и проходило в стенах театра «Эрмитаж»), чем научную конференцию. И хоть новых тем в дискуссиях возникало множество, в соприкосновении с моими собственными мыслями ни одна из них не пришла, и жажды моей они не утолили. И теперь та же причина, что заставила меня тогда молчать, побуждает вмешаться в уже состоявшийся разговор. Ведь то, о чем не говорится, может быть не менее важно, чем сказанное.

Обращусь к вашему интервью. Отвечая на вопрос И. Озерной о своем знакомстве с художницей А. Порет, режиссер театра «Эрмитаж» М. Левитин пересказал с ее слов один случай из жизни Хармса, характеризующий последнего как натуру преступную. Как сам Левитин относится к этому факту — с осуждением, недоумением, пониманием — неясно. Никак, очевидно, не относится. Просто сообщает факт, не то чтобы никак его не оценивая (оценка здесь как раз содержится), но пренебрегая им как бесконечно малой величиной в сравнении с самим Хармсом. И вся конференция, как мне показалось, проходила на уровне факта, а не осмысления факта, вместе с ОБЭРИУ, а не после него. Между тем мы живем после ОБЭРИУ, не в начале, а в конце XX века, и естественнее было бы, если бы мы относились и к художественным течениям того времени уже как к истории.

Мне кажется, стоит вздуматься вот в какое обстоятельство. Мы все время твердим, что чуть ли не каждый гениальный художник оказывается преступен с точки зрения общечеловеческой морали. Можно привести сколь угодно примеров того, что гений склонен преступать норму (из любой страны и эпохи). И пушкинское «гений и злодейство — две вещи несовместные» оспаривается неким критиком в статье, могущей доказать, что гениальный Набоков — чудовище. Предположим, что это так. Но, наверно, только художник XX века в России оказался в ситуации, когда преступать нормы человеческой морали не нужно было, преступность сама стала нормой. Но нормой не мучаются, и боль исчезает, а без боли — какое искусство? Уголовщина, и все.

И Маяковский и Хармс — это смерть, смерть, смерть. Маяковский — груды человеческого мяса и кровь до физиологического отращения, как очень созвучно моему собственному ощущению определил поэт Ю. Карабчиевский. Но ведь и у Хармса — старухи, вываливающиеся из окна одна за другой, ребенок с проломленным черепом, а вот некто встал и подох — смерть похода, обильная и почти веселая. Хармс говорит о смерти человека примерно так, как в быту мы говорим о смерти мух, готовя для них клейкую ленту.

Я не берусь сейчас анализировать творчество — ни не любимого мной поэта Маяковского, ни любимого мною Хармса. Я только поражаюсь, почему мы не думаем, не говорим, не кричим, наконец, о важных вещах. Что жизнь и искусство, может быть, не так далеки друг от друга, как нам кажется. Художник отражает жизнь или жизнь следует художнику — можем ли мы теперь проводить эту границу? Может быть, жизнь и искусство — это одно и то же? Именно искусство начала XX века колеблет наши привычные представления. И думается, что общество не только вправе, но обязано, чтобы не пресекался род человеческий, не позволять преступлению стать нормой — даже для гениев. И пусть именно в такой атмосфере нетерпимости выясняется истина: «гений и злодейство — две вещи несовместные» или же они не только совместны, но всегда идут рука об руку?

Обо всем этом я не могу не думать, соприкасаясь с литературой и живописью начала века, оказавшего столь самоубийственным и кровавым. И все это не стояло за размышлениями и суждениями участников конференции, посвященной ОБЭРИУ.

Людмила БУСУЕК.

Читайте в ближайших номерах «Странника» исследование Бориса Гройса и другие материалы, специально посвященные трагическим противоречиям русского авангарда.



**МАЛЕНЬКИЙ
ПОРТНОЙ**
БОРИС ЧЕРНЫХ

❄️❄️❄️❄️❄️ *святочный рассказ* ❄️❄️❄️❄️❄️

Есть на свете удивительный город. Ты захочешь найти этот город на географической карте, но старания твои будут напрасными. Урийск выдуман мной.

Как и всякий выдуманный город, Урийск населен странными и добрыми людьми. Впрочем, там есть и злые люди. И вот однажды...

Однажды сильный дождь с грозой бушевал над Урийском, теплые струи ливня промыли Есаулов сад и округу; в эту ненастную ночь родился мальчик, которого нарекли ласковым именем — Серенька.

Поначалу мальчик болел, наверное, ужасная гроза напугала его маму. Потом Серенька пил козье молоко и — фу! — рыбий жир, купался в хвойных ваннах. Мама дала мальчику полную волю, он носился верхом на тополиной палочке, гонял мяч, возвращался, запыхавшись, домой, окунался с головой в бочку, где дождевая вода чиста и прозрачна, ел простую пищу: ржаной хлеб, картошку, подсолнечное масло, морковку. Зима подступала к городу — мальчик катался на салазках с высоких гор.

Прошло несколько лет. Мальчик, играя во дворе, все поглядывал за частокол заплота, все кого-то ждал, и чем далее, тем упорнее. Менялись зимы и весны, а из дальних таинственных мест тот, кого он ждал, не приходил: мальчик постепенно забыл его образ, хотя в смутные предночные часы мальчику казалось, что отец стоит у изголовья и шепчет слова. Слова были такими:

— Любимый Серенька... Дождь (или снег) принесет богатый урожай, не обижай дождь (снег), дружи с дождем (со снегом)... Птицы над городом вещие песни поют, не обижай птиц...

Под шепот мальчик засыпал, а утром хотел рассказать маме о том, что приходил отец, но молчал, боясь растревожить маму.

Отец — вот кого безнадежно ждал мальчик.

Мама с зари до зари шила на швейной машине платья и костюмы для молодых и немолодых женщин. Под стрекот ножной машины мальчик задремывал, а когда просыпался, то первое, что слышал, опять был стрекот швейной машины.

Чем дольше засиживалась за шитьем мама, тем быстрее горбилась у нее спина, а глаза сквозь толстые стекла очков смотрели на мир все смиреннее. И вот мальчик заметил, что мама слишком долго вставляет в иглу нить. Мальчик сказал:

— Давай я помогу тебе.

— Помоги, — согласилась мама и, вздохнув, призналась: — Слепну я, Серенька, и скоро ослепну совсем. Что мы будем тогда делать, сынок?

Мальчик ответил:

— Не горюй, мамочка. Я стану твоим помощником.

— О-эй, — улыбнулась мама, — помощничек. Ты ногой до педали не дотянешься. Малорослый ты у меня хлопчик.

— Ничего, я придумаю что-нибудь и дотянусь до педали.

— А то, что я шью только для женщин и девушек, не смутит тебя?

Серенька рассмеялся, ему показались забавными мамины опасения:

— Разве мальчик или мужчина не способен шить наряды для девочек или девушек, притом лучше женщин? — спросил он.

— Так-то оно так, — отвечала мама, — но в Урийске не принято, чтобы женщин обшивали мужчины. И вообще наши нравы диковинные.

— Не переживай, мама. Я научусь хорошо шить. Я и сейчас, ты же знаешь, понимаю кое-что в твоём деле.

С тех пор, с того часа, если Вячик звал Сереньку погулять в Есаулов сад или искупаться в озерах, мальчик все чаще отказывался.

— Мне некогда, — говорил он, — маме помочь надо. Зимой, прибежав из школы, мальчик все реже позволял себе сбежать на горку и покататься на санках. Скоро соседские ребята привыкли: Сережа работает, Сережу бесполезно звать на улицу.

Но и как было не работать Сереньке, если мама-материца почти на ощупь вела шов и мучительно боялась ошибиться при раскрое отреза. И грянул грозный час, когда мать порезала вкось дорогую материю, заповор заказ важной заказчицы. В Урийске, надо признаться, жили-были знатные и незнатные люди. Незнатные одевались в посконное, одноцветное; знатные же приносили Васильевне дорогие шелка, китайские маркизеты или тончайший шевиот (нынче таких нет и в помине).

Мама села на стул, горько заплакав.

— Она уничтожит меня, — говорила мама, — у нее муж главный начальник в Урийске. Только благодаря им не обирали нас налогом.

Серенька не знал, что и делать, настолько внезапно свалилась беда, но погода сказал:

— Мама, а у этой заначальницы есть дочь или сын?

— Есть. Ее звать Стелла, девочка красивая и важная, вся в маму.

Ах, подумал мальчик, Стелла. Знаю я надменную Стеллу. Она ходит по школе как примадонна, и всем не велено трогать ее, но мальчишки так и вяжутся к Стелле.

На следующий день в школьном коридоре мальчик подошел к красивой девочке и сказал, глядя снизу вверх (она была на голову выше его):

— Сударыня, — сказал мальчик, — обстоятельства вынуждают меня искать покровительства у вас.

— Чего? — переспросила девочка Стелла. Воспитанная в доме урийского нувориша¹, она не готова была услышать столь изысканную речь. Если бы мальчик сказал: «Эй ты, слушай, что я тебе скажу» — и дернул бы ее за косы, подобное поведение нисколько бы не удивило, да и не возмутило ее. Вот почему она сказала, измерив взглядом мальчишку: — Говори нормально, шкет.

— Я и говорю, сударыня, — сглотнув ком в горле, отвечал Серенька. — Помогите мне, сударыня.

— Ты что, чокнутый? Не можешь на ты? — спросила девочка, гневно блеснув глазами.

— Вы... Ты так красива... — робко пробормотал мальчик.

Лицо девочки вспыхнуло, будто урийский закат выветил его. Она догадывалась, что красива, но еще никто из мальчиков ни разу не сказал ей об этом, а только щипали ее, ставили подножки или пытались делать намеки, которые она понимала как приглашение пройти под ручку вдоль Княже-Алексеевской улицы, в новейшие времена названной именем самозванца, при одном упоминании которого урийцы подтягивали животы от страха и почтения.

— Ты считаешь, что я красивая? — облизнув от волнения мигом пересохшие губы, спросила девочка.

Мальчик чуть было не сорвался опять в высокий слог, но собрал силы и просто сказал:

— Да, ты чертовски красивая. Аж тут у меня холодеет. — И, прижав руку к груди, замолчал.

— Говори же, — потребовала девочка. — Говори!

— Я пригужусь тебе, когда подрасту, — туманно сказал мальчик. — А сейчас ты помоги мне.

— Что я должна сделать? — величественно спросила девочка.

— Моя мама взяла заказ у твоей мамы и неправильно раскроила отрез. О, она не виновата! Просто моя мама слепнет. А денег у нас нет, чтобы возместить ущерб...

¹Нувориш — в старой Европе знатный богатый, сделавший себе состояние сомнительными сделками. (Здесь и далее примечания автора).

Девочка думала, что она может сделать для мальчика, который хотя и был низкоросл, но понравился ей.

— Хорошо, я соображу, как выручить тебя. А сейчас скажи твое имя.

— Серенька, — простодушно сказал мальчик.

— Сергей, да? Сережа, прощай. А то вон идет классная и уже был звонок на урок.

Мальчик бежал домой вприпрыжку. Девочка вызволяет их из беды, непременно. Мальчик уверился в этом еще и потому, что девочка в самом деле была неопишимо хороша, а все красивое, считал мальчик, несет добро и радость. По неопытности он не догадывался, что красота красоте рознь.

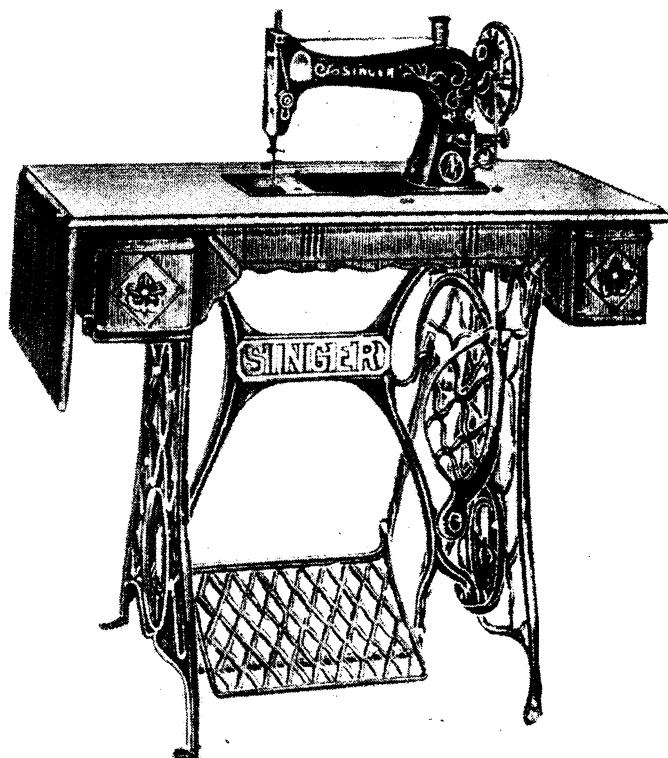
Стоял мягкий майский день. На тополях и березах разошлись почки, выбросив стрелчатые крохотные листочки, и терпкий запах струился вдоль улицы, не догадывающейся о страшном своем названии. Мальчик остановил бег, пригнув веточку тополя, понюхал, голова пошла кругом. Мальчик понимал, что майские эти деньки — последние вольные дни счастливого детства. Счастливого — так считал мальчик, но мама и соседи знали, что счастье отнято у Сереньки вместе с отнятым отцом. А Серенька, будучи выдумщиком, с годами слышал уже не столько голос, сколько, хотя это и странно, запах отца, стойкий и сильный.

Вообще эта тема — утраченного отца — далеко нас заведет, но мальчики и девочки, чьи отцы удалились навски, поймут меня, как я понимаю их: слышите ли, милые мои ребята, — вон за тем окоемом лесным еще не растаял отцовский говор и не растает; когда вы станете взрослыми, женитесь или выйдете замуж и сами в свой черед станете отцом или мамой — и тогда образ отца не оставит вас, а незримый, как Христос, поведет, зазывая на ту вершину, откуда судьба видна до донюшка, до последнего мига. Но, став отцом, не забывайте, как дорог малым и большим сыновьям образ отца, и никогда не оставляйте детей ваших в чужих руках.

Так запах тополиной веточки внезапно вернул мальчику память об отце, мальчик шел домой опустив голову, но у калитки, шелкнув щеколдой, опомнился — мать ждала его на крыльце. Он всмотрелся в бесконечно родное лицо и сказал:

— Со школой покончено. мама. Мы будем жить отныне как королева и королевич.

Мама не придавала значения словам «со школой покончено», потому что отнесла их к каникулам и завершению учебного года, и улыбнулась:



— Есть пареную тыкву, запивать байховым чаем, но при этом ты королевич, а я королева, подслеповатая и в очках на веревочке.

И оба они посмеялись.

А небо голубело, ласточки простреливали воздух, зеленая трава радовала глаз; коза Нюра, служившая главной кормилицей Сереньки, разлеглась посреди двора, и даже сосед-майор по прозвищу Титаник, отец Вячика, печальный после катастрофы, постигшей его, был добродушен и уютно рокотал басом.

Попутно скажу: с Титаником произошла привычная для Урийска метаморфоза, или, попросту говоря, превращение. — Титанику понравилось прозвище, которым столь метко наделили его урийцы; скоро оказалось, что нелепое имя подняло майора из пучины повседневности, и он вообразил себя в самом деле трансатлантическим лайнером. Вы скажете, невозможно, чтобы человек вообразил себя пароходом. Да, где-нибудь в России невозможно, а в Урийске вольному воля; и не один майор жил в диковинном мире диковинных грез. Полубезумный Андрей Губский, доморощенный летописец, вообразил себя ни много ни мало князем Андреем Курбским, подобрал на свалке старинную пишущую машинку «ундервуд», отремонтировал и наводнил город посланиями Ивану Грозному. Весь Урийск догадывался, что под Иваном Грозным Андрей Губский подразумевает Сталина, но доказать это было невозможно... А Кеха-американец?! Приняв грушевой настойки, Кеха создавал красочные легенды, в эти дни он рассказывал городу о том, как служил шерифом в городе Фултоне:

— Ну, ребята, в двух шагах одышливое дыхание слышу — толстый Черчилль под руку с Гарри Трумэнном. Я подошел, взял под козырек и на ты, у них принято на ты: «Твоя речь, Уинстон (сказал якобы Кеха), породит холодную войну, даже в далеком Урийске начнут отлавливать ведьм.

Ты, Уинстон, пойми меня правильно, я шериф, я готов ловить воров и черномазых насильников, но ведьмы не по моей части».

На что Уинстон Черчилль якобы ответил Кехе: «С коммунистами.

дорогой шериф, нельзя чикаться и подставлять им палец, они оттяпают вместе с пальцем и руку»²...

А в позднейшие времена на урийском стадионе «Локомотив» объявился Васька-диссидент. Но, впрочем, о Ваське как-нибудь потом, а сейчас вернемся к мальчику Сереньке и его ослепшей маме.

Королева и королевич посла пшенной каши, попили чайку, забеленного козьим молоком, и Серенька сказал чуть торжественно:

— Сегодня я сажусь к швейной машине, а ты, мама, будешь наставницей у меня, не противьтесь и не пелечьте, ваше величество. Час пробил!

— А уроки? — спросила мама.

— Лето на дворе! — воскликнул мальчик. — Какие уроки! Экзамены? Экзамены мы сдадим, не волнуешься, сударыня.

Мальчик осмотрел машину заправским взглядом портного, подтянул ремень и ослабшие винты, прокапал из масленки ходовую часть, протер ветошью корпус.

Мать взволнованно следила за каждым его движением. Сейчас Серенька, которого она мученически растила и поднимала к светлой жизни, сядет за швейную машину. Эту ли судьбу она готовила ему?

Мальчик посмотрел на маму и догадался о ее состоянии: она передавала ему не только пароль судьбы, но и ключ материального благополучия и уступала дорогу — смотри, сынок, нить под твоей рукой уходит в бесконечную даль. Попытайся на свой лад быть счастливым в стране, где все обязаны быть счастливыми совокупно.

Мальчик мысленно осенил себя крестным знаменем. Детство, прощай! До свидания, свирельный футбол на задворках. Озеро Вербное и озеро Песчаное, я не забуду вас. Есаулов сад, иногда я пробегу по тенистым твоим аллеям, чтобы выпить стакан сидра и, глядя сквозь березовую дымку, вспомнить папу. Здесь, уходя на фронт, он прибил ладонью мой младенческий вихор.

Мальчик опробовал ножную педаль. Э, нога провисла. Старинная машина «зингер» намекала Сереньке — рановато ты избрал тернистый путь. Но мальчик не думал сдаваться, он пошел в кладовую, отыскал давно приготовленную деревянную плоску, взял сверло, прокрутил по углам четыре отверстия, отмотал кус медной проволоки, вернулся и привязал к решетчатой педали деревянную плоску, вновь сел к машине, поставил ногу на педаль и рассмеялся.

— Влилось! — сказал он. — Поехали, мама.

— Поехали, сынок, — отвечала мать.

— Но сначала я устрою разминку, — сказал Серенька. — Сошью из лоскутков пододеяльник, а?

Мать принесла из дальней комнаты целый мешок цветных обрезков. Здесь были и легкие ткани, и тяжелые, жалкие, конечно, воспоминания о тканях, но мальчик рассыпал лоскутья по полу и прикрыл глаза.

— Какое богатство, мама!

— Ну, мы же королева и королевич, — в тон отвечала слепая мать.

Шутки шутками, но обрезные лоскутья составляли немалую ценность для портнихи и ее сына. Из этих лоскутьев были сшиты их пестрые простыни, наволочки для подушек и пододеяльники, и даже подклад осенней

курточки у Сереньки был многоцветным; а в прошлую зиму мать сшила для мальчика костюм арлекина, и он получил первый приз на новогодней елке. «Голь на выдумки хитра», — говорила мать.

— А если, мама, подобрать обрезки по цвету и всеором, клиньями или лучами пошить, все соседи позавидуют нашему копейному коври.

Еще не став Маленьким портным, Серенька начал фантазировать. И следом мать услышала странный звук и не сразу поняла, что это: сколько лет она шила, сидючи за машинкой, но не воспринимала стрекот родной машинки отстраненно.

Сереньку же вдруг прострелило — голубой цвет показался ему цветом родины, нет, не огромной России (Россию мальчик всегда видел зеленой и золотой), а родины малой, и все любимые друзья Сереньки, все девочки и мальчишки в синей, вдали густеющей дымке привиделись ему. То был цвет возраста.

Позже к Маленькому портному придут другие цвета, подчас темные и мрачные, но сейчас, сидя за машиной, он бежал по лугу, усыпанному голубыми васильками...

Слушание собственной швейной машины заняло мать, а сам Серенька тоже увлекся новым делом и голубыми лоскутьями — и оба они, мать и сын, не заметили, как кухонная дверь поползла и в комнату вошла женщина с красивой девочкой об руку.

Это была та самая важная заказчица, жена главного урийского начальника, с дочкой. Гости кашлянули. Мальчик оглянулся и страшно смутился, он никак не ожидал столь быстро увидеть девочку Стеллу в нищенском их доме на Шатковской. Хотя воображение успело начертать радужную картину: много позже, став знаменитым портным, он примет заказ у городской красавицы Стеллы — летний сарафан на тонких бретельках, — пока Серенькина фантазия не распространялась дальше светлого однотонного сарафана, хотя уже и сейчас, в простой фантазии, наличествовал строгий вкус мальчика. Но знатная женщина и ее дочь явились так внезапно, так неожиданно...

Важная гостя была вежливой до приторности.

— Васильевна, у вас плохо со зрением? Ну не переживайте, голубушка. Какой славный мальчуган заменил вас у машинки. Как звать тебя, мальчик? Сергей? И прекрасно — Сережа. А отрез мой... подумашь, пошел в брак, эка беда, для нас это не беда, — лепетала гостя. — Стеллочка, смотри, как ловко чувствует себя Сережа за швейной машиной.



² После войны, в 1946 году, Уинстон Черчилль совершил путешествие в США и там в Фултоне произнес воинственную антикоммунистическую речь, которая, как полагают некоторые историки, положила начало холодной войне между Востоком и Западом.

Под пустую бурю важная гостья забрала покомсаный отрез, и они удалились; из дверей Стелла, оглянувшись, улыбнулась Сереньке («я выполнила свое обещание», сказала ее улыбка), и снова благословенная тишина вошла в дом Маленького портного.

Так Серенька в двенадцать лет оказался приставленным к ремеслу, и дела, шатко-валко, пошли. Почти все материнские заказчицы доверили мальчику пошив новых платьев, а кое-кто рискнул заказать Сереньке иные подробности туалета; Серенька смущался поначалу, но скоро решил: «Там, где велит свое работа, надо подчиниться велению», хотя волнение охватывало Маленького портного всякий раз, когда заказчицей выступало иное существо: видимо, причиной была ранняя чувствительность мальчика, возвращенная всегдашним женским окружением и женской опекой.

В летний день, набухший теплом и запахом молодой крапивы — из ее листьев получался вкусный зеленый борщ,— Серенька в очередной раз растерялся, когда переступила порог Тая Фатеева, соседская девочка, и, переминаясь, ибо тоже была смущена, попросила пошить всего лишь белый саржевый фартук для выпускного, десятого, класса, с гипюром, белым же, по груди и кокетливыми выточками. Они стояли друг против друга — Серенька и Тая,— боясь прикосновения.

— Тая,— признался Серенька,— я никогда не шил белоснежных фартуков.

— Не бери в голову — фартук. Потом я попрошу тебя сшить нечто другое.— И Тая улыбнулась Сереньке сестринской улыбкой...

Трудно, но празднично шло первое рабочее лето мальчика. Серенька чередовал шитье с хлопотами на огороде. Посеять и взрастить раннюю рассаду помидоров и огурцов, высеять редис, репу и редьку, тыкву и подсолнухи, а также кукурузу; и не забыть из подполья вовремя вынуть картофель, прогреть в избе и прорастить; накормить поросенка и кур — множество привычных забот окружало мальчика. Серенька все знал и умел делать с давешних лет, но теперь он выступал не на побегушках, а в качестве хозяина, и мальчику иногда не хватало времени выполнять все намеченное на день.

Если издали, из нынешней поры, посмотреть на то лето — окажется, и то лето было дивным в полном смысле этого слова. Впервые мама, пусть вынужденно, доверила сыну обильные хлопоты по усадьбе и дому; круговерть, в которой и сама она пыталась участвовать, помогала им коротать время, но, странное дело, Серенька ловил себя на мысли, что он продолжает ждать чего-то необыкновенного, и, что было еще страннее, ждала необыкновенного и мать. Возможно, то особенность России — в России с семнадцатого года все ждали и ждут чего-то из ряда вон, не замечая, что оно, это из ряда вон, неоднократно и жутко сбывалось. Но нам все время хочется верить, что мы достойны лучшей участи, и мы ждем ее и призываем.

Мальчик, подверженный всем этим общим страстям и суевериям, не умел высвободиться из плена томительного ожидания чуда, но одно чудо Серенька, не осознавая того, свершил сам: он улучшал жизнь в окаянной стране, взвалив на хрупкие плечи тяготы, под которыми другие начинают крениться и стонать, ныть и приходить в отчаяние. Когда усталость одолевала мальчика, он прятался в свинарнике, сидел там на чурбачке, почесывая бока Борьке, и, снова перехватив лямку, нес свою ношу в ту даль, с изрытых холмов которой я вижу сейчас согбенные фигурки слепой женщины и ее маленького доброго покровителя.

Более всего, однако, и ближе всего было ожидание беды. С уходом знатной заказчицы мать и сын не могли больше рассчитывать на покровительство, враги не преминут воспользоваться их незащищенностью. Ка-

кие враги? Да прежде всего те, что не позволяли им шить на дому.

Ни в одной стране на планете никто не мог запретить одинокой женщине работать надомницей. Даже в фашистской Германии и даже отпетые гестаповцы понимали — не надо трогать семейный уклад, пусть хотя бы в семье царит относительное спокойствие, тогда в нужный момент можно надеяться, что в семье вырастет не только послушный, но и храбрый солдат или верная подруга и невеста солдата. Здесь же, в милой моей России, белошвея Васильевна и ее мальчик тревожно посматривали на дорогу — не идет ли милиционер или финансовый инспектор. Опаснее был фининспектор. Он мог не только обобрать бедняков жутким налогом, но конфисковать швейную машину «зингер», а заодно отрезы, взятые у заказчиц. А взамен? Взамен Васильевне предлагалось, и не раз, идти в государственную мастерскую. Золотая швея не могла пойти туда потому, что там гнали вал. Ах, дорогие ребята, вы не знаете, что такое гнать вал. Это вполне разумное понятие означает шить по плану множество примитивных платьев или простых сарафанов, черных трусов или бордовых лифчиков, а когда план перевыполнен — тебе дадут сносную зарплату и крохотную премию в конце квартала, и ты должен быть доволен: до следующей полочки потихоньку дотянешь, разумеется, если при этом у тебя есть огород и поросенок на зиму.

Васильевна не соглашалась идти в государственную мастерскую — с девических лет она была приучена думать о сотворении прекрасного и творила это прекрасное, но не раз вместе с мальчиком она была на краю пропасти. Только заступничество важных заказчиц спасало от разора дом на Шатковской.

Итак, высокое солнце катило серебряный обруч над городом, подступал к порогу мохнатый август в охвостях спелой кукурузы и укропа. Урожай обещал быть обильным, мальчик чувствовал себя богачом, не стесняясь чуждого для советского мальчика чувства. Конечно, богач — громковато сказано... По признакам осень сулила десять кулей картошки, на усол подходили помидоры, крепкие и бурые, вилки капусты твердели на глазах. Тыквы, огромные, как луны, упавшие в ботву, светились по ночам с гряды. А еще будет свекла и морковь, их придется присыпать песком в подвале; связки перца, лука и чеснока разбегутся по стенам кухни...

Было от чего радоваться, и мальчик радовался. Он и маму выводил на огород, призывая вдохнуть спелые запахи подступающей осени.

Но в канун 1 сентября мальчик с ознобом подумал о том, что будет с ним и с мамой, если он не пойдет в школу. Как посмотрят на это учителя? Главное, как посмотрит директриса, самодержица и владычица детских душ? Позволит ли оставить школу?

Мама тоже понимала, что надвигается серьезное испытание. Она страстно хотела, чтобы ее мальчик учился дальше и окончил бы школу — мечты, мечты,— но обстоятельства сложились неблагоприятным образом и ежечасно напоминали заколдованный круг. Она слепа и никогда не прозреет, пенсии у нее нет. И нет кормильца-отца.

В отчаянии по ночам мать думала, не попроситься ли на Инвалидку. Инвалидкой назывался дом на окраине города для обездоленных стариков и старух. Но ладно, я на Инвалидку, думала мать, а Серенька? Куда Сереньку спрятать? Уж не в уют ли на Шатковской?

Нет! С помощью чудесной Полячки она вызволила сына из недуга не для того, чтобы в тринадцать лет запереть в отстойник, где процветают и кипят злые пороки.

А мальчик... втихомолку тосковал от предощущае-

мого расставания со школой, особенно с Тиной, математичкой. Нечто ирреальное мерещилось ему в сочетании цифр и знаков. Видимо, Серенька был более склонен к метафизике, нежели к бытовому взгляду на окружающий мир, а вот Вячик, сын Титаника и приятель Сереньки, видел только то, что видел, и ленился думать глубже и дальше увиденного. Но, говоря по правде, Тинины уроки нравились мальчику еще — а может быть, прежде всего! — и потому, что сама Тина казалась воплощением женственности. Белоснежные кофточки с черным бантом, и гладко причесанные волосы с белым бантом на затылке, и чуть притухший печальный взгляд Тины, речь ее горловая, будто бы адресованная не тридцати сорванцам, а только себе, и улыбка, всегда стеснительная, намекали мальчику об особой избранности Тины, может быть, о трагичности ее судьбы. Серенька и тут оказался провидцем: в двадцати верстах от Урийска, в крепостном каземате Юхты, уже шестой год томился муж Тины. Раз в году в зимние каникулы Тина ездил на свидание, но всякий раз свидание не давали под каким-нибудь диким предлогом; оттого, вернувшись, Тина приходила на уроки и, присутствуя, как бы отсутствовала в классе, не теряя ни с кем из ребят родства, особо же с Серенькой (а Серенька не ведал, что Тина знает об его исчезнувшем отце больше, чем он сам, Серенька, знал)...

Господи, как хочется благословенной тишины на Тининых уроках, когда ангел пролетает бесшумно по классной комнате и присаживается на плечо к Пушкину.

Но мальчику хотелось и бузотерства в спортивном зале на гимнастических матах — Серенька оставался нормальным мальчиком, живым и крепким шалуном.

Но от судьбы не уйдешь. И не надо уходить от судьбы. Осторожно передвигается по комнатам мать, вслепую чистит картошку, чай заваривает тоже вслепую, и Серенька приказывает себе взрослеть быстрее, чтобы худенькая эта девочка (мать представилась ему однажды девочкой) почувствовала в нем сильную опору. Без него она погибнет.

1 сентября мальчик не мог спать, ворочался с боку на бок, встал засветло, умылся прохладной дождевой водой из огородной бочки, отварил картошки, накрыл стол, пригласил маму. Они торжественно позавтракали.

Мальчик был уверен, что этот день — последний школьный день в его жизни, даже не день, а два или три часа, и старался настроиться строго, не распушить нервы.

Дорога до школы пролегла через Есаулов сад. Высокий забор ограждал его, но мальчик знал лазейку и через лазейку проник в сад. Совсем другой мир царил здесь, и мальчик подумал, как мудр все-таки человек, создавая сады и парки и оберегая леса.

Минувшее лето отстояло обильным не только на огородах, но и во всей природе; Есаулов сад не был исключением. Подберезовики и опята так и лезли под ногу; мальчик почтительно переступал через грибные шляпки; но рослый куст смородины приковал внимание Сереньки, и Серенька не выдержал. Он пристроил к пеньку портфель и стал обирать губами ягоду. Едва он прикасался, ягода опала и таяла во рту. Подняв лицо, он чуть сдавливал ягоду, смородиновый запах вбирая в себя, и видел при этом зеленый шатер сада с бронзовыми вкраплениями рано осенеющей осины.

Скоро Серенька опомнился и побежал было, но поздняя россыпь фиалок остановила его. Серенька, стыдясь, нарвал крохотный букетик. Чего он стыдился? Он чувствовал стыд перед цветами, вторжением своим он рушил и без того недолгий их век и стыдился того, что букетик он захотел незаметно преподнести любимой Тине. Но искусство оказалось столь велико, что мальчик собрал в пучок десять коротких стебельков, осмотрелся и дал слово на обратном пути забраться в глухие заросли Есаулова сада и побыть здесь подольше.

Он успел вовремя. Уже на дворе строились поклассно чистенькие, с иголочки ребята и девочки; нарядные учителя быстро и молодо переходили через баскетбольную площадку, по сторонам которой кучились классы. Милая, увядающая Тина заметила издали Сереньку, поманила пальчиком. Он подошел и, зардевшись, отдал Тине фиалки. Тина взяла мальчика за плечо и чуть притиснула к животу, как мать. Горестное чувство охватило Сереньку, он оглядел сборище школьных товарищей, и хотя среди моря мальчишек были и недруги, сейчас все они показались приятелями и друзьями; а завтра мир этот канет в невозвратное прошлое; и у Сереньки, как когда-то, в раннем детстве, защищало в носу, но он вспомнил, что отныне он Маленький портной, высвободился из Тининых рук и пошел к своим.

Серенька заметил сразу, что девочки за минувшее лето стали долговыми и переросли мальчиков, и было забавно видеть девчачий лес с мальчишеским подлеском. Неужто летние слепые дожди и ливни пали только на девичье царство, подвинув его к непомерному движению вверх и вширь?

Образовав стройное каре, школа дождалась трели звонка и наблюдала щемящую, трогательную картину. Из парадных дверей школы вывели стайку малышек, юная учительница сопровождала их, белый нагрудный бант оттенял смуглое урийское лицо. Лет десять назад, наверное, такой была Тина; и тут Серенька представил на миг эту юную учительницу у себя дома: она принесла заказ, из ситчика, и он должен снять мерку. Мысль эта — невпазд — чуть насмешила мальчика, он хохотнул, чем обратил на себя улыбчивый взор Тины, и тут же сделался внимателен и молчалив.

Первачей подвели к выпускному классу, из его рядов выдвинулась дивчина. Серенька признал в дивчине расцветшую Таю Фатееву и свой фартук признал на Тае. Тая, стрельнув по всем рядам карим оком и вроде бы испрашивая разрешения или согласия, чуть потерзала каждого из первачей за ушко. Смешной этот обряд посвящения в школьники всегда нравился всем удивительной простотой и многозначительностью, и все глухо посмеялись, как бы сразу объединившись и обеща беречь малышек, не обижать их.

А над школьным хором царил Анастасия, седая и мудрая женщина со свирепым оскалом рта. Даже тени улыбки не прошло по ее лицу; все, кто знал ее, принимали как должное державный вид Анастасии.

Наконец старшие и младшие классы чинно и неторопливо потянулись к школе, на этажи, и начались уроки. Серенька услышал невнятную музыку — то ли хор, то ли оркестр поднимал к куполу мелодию, кто-то говорил речитативом, и вступали голоса, поминально сопровождая нечто уходящее, гаснущее, растворяющееся во времени. Если бы мальчик умел назвать эту музыку, он сказал бы — то реквием по школе, по детству, промелькнувшему быстролетно.

Но Серенька вспомнил маму, стал думать о маме: как она там, в кухонной светелке, наедине со своими мыслями о прожитом?..

Да, надо уходить с уроков, пора. Мама ждет. Летящий профиль Пушкина на стене, прости, я должен уйти и забыть о тебе, и лица одноклассников погасить в памяти. Вячик, я надеюсь, ты будешь забредать ко мне чаще. Прощай, Тина...

Но и третий урок Серенька досидел до конца, чувствуя себя прикованным к парте. Когда очередной звонок позвал всех на перемену, Серенька чуть помедлил, не дал воли сорваться, затем взял за спину портфель и кивнул прощально Пушкину.

В суете перемены никто не заметил, что мальчик уходит с уроков, уходит навсегда, и только зоркая Тая Фатеева узрела что-то в скособоченной фигурке мальчика, быстро подошла и прошептала: «Ты к маме, Сережа? Иди, иди. Я как-нибудь прибегу к вам...



к тебе».— поправились она, погладив его по руке. Серенька благодарно сглотнул слюну, чуть было не лизнув Таину руку.

Он был уже у парадной двери, празднично распахнутой, когда из библиотеки внезапно выдвинулась фигура Анастасии: одним взором Анастасия остановила беглеца, он оцепенело встал.

Анастасия возложила тяжкую длань на плечо мальчика. Подчиняясь ее руке, он вновь поднялся на второй этаж, вошел в директорский кабинет. Там пред ликом мудрейшего вождя всех времен и народов мальчик замер, ожидая казни. Он считал себя достойным казни за самовольный уход с уроков, и в какой день — 1 сентября!

Анастасия села в монаршьё свое кресло и низким голосом, почти басом, приказала:

— Садись.

Мальчик сел, примостившись на край стула, и смотрел в грозное лицо директрисы. Зазвонил телефон. Рука Анастасии подняла трубку.

— Ну! — сказала в трубку Анастасия, будто кто-то был должен ей и докладывал о возвращении долга, слушала ответ, мрачно глядя на мальчика.

Уж не обо мне ли речь? — подумал Серенька со страхом, хотя понимал, что никому он не нужен в этом мире, кроме мамы.

— Школа перегружена и работает в две смены, — сказала в трубку Анастасия. — дышать нечем. Вы хотите, чтобы дети сидели на уроках в противогазах? — И громыхнула трубкой о рычаг, молчала минуту, видимо, успокаивая сердце, если оно было у нее, сердце. — Я знаю, Сергей, что Августа Васильевна ослепла. Что я могу?... Я могу договориться с классными руководителями, мы составим график. Все ребята по очереди будут дежурить около твоей мамы. Каждый в учебном году пропустит один день. Терпимо. Зато ты будешь учиться дальше.

— Нет, я не буду учиться дальше, — отвечал мальчик.

— Тебе надоела школа? Я не поверю, что Сергею Б. на-

доела школа. Пусть другой это говорит, а ты, книго-чей, любишь школу.

— У мамы нет пенсии. Поэтому я должен работать, — отвечал мальчик. — И за мамой нужен пригляд.

— А пенсия за отца?

Серенька с печальным недоумением посмотрел на Анастасию. Пенсия за отца! Придумает же.

— Прости, — сказала Анастасия. Она вдруг вспомнила, что отец Сереньки в бессрочном путешествии по мрачным пропастям земли.

Анастасия угрюмо задумалась, глядя в стол, покрытый зеленым сукном. Хороший зимний костюм получился бы из этого сукна, промелькнуло у мальчика, такой материал пропадает, но тут же он устыдился и поник головой.

— Передай маме привет от меня, — сказала Анастасия.

Мальчик неловко встал со стула, пошел из кабинета, прикрыл дверь. Гулкая тишина стояла в школе. Чтобы не потревожить тишину, мальчик крадучись спускался по мраморной лестнице и вздрогнул от оклика. Оказывается, Анастасия звала его на минуту вернуться. Мальчик вернулся. Анастасия взяла книгу в крепком переплете, открыла титульный лист, что-то вписала и протянула.

— Это тебе, Сергей, на память о школе. Не сердись на меня, однажды я наказала тебя. — Тут у державной женщины сдвинулось лицо, и влага как будто блеснула в жестких глазах.

Мальчик ушел. Книга, которую он нес под мышкой, была тяжелой и занимала его мысли, и он забыл о том, что на обратном пути хотел вновь забраться в Есаулов сад. Дома, у калитки, Серенька всмотрелся в кухонное окно, увидел маму, сердце успокоенно осело, тогда он позволил себе поставить на лавочку у калитки портфель и заглянуть в книгу. «История моего современника» Короленко. Мудрая Анастасия знала, что надо подарить отроку, когда он уходит в домашний скит, в отвержение.

Прихватив портфель, мальчик с раскрытой книгой вошел к маме.

— Послушай, мама, что написала Анастасия Степановна на дареной книге: «Сергею Б. в уверенности, что он накинёт голубой занавес на городские наши печали».

— Ого, — сказала мама, — ого! Ай да Анастасия, а мы-то считали ее чиновной педагогиней.

Под шест страниц толстой книги и стрекот швейной машины миновал первый календарный день осени.

Сентябрь стоял как по заказу ведренный, прозрачный, в нитях паутины. Запахи перезревших окраинных лесов наплывали на Урийск, мешались с молочным духом подворий. Вечерняя заря, раскалив докрасна широкий серп, долго освещала город и розово меркла за высоким погостом. В утренние часы кто-то большой и добрый, переступая мягкими лапами, заглядывал под кровли домов, и странные сны снились урийцам в сквозные утреники.

Намаявшись за день, Серенька спал как убитый, но под утро и к нему приходили небожители, среди невнятных образов мальчик угадывал образ отца; Серенька просыпался и приступал ко дню, не развеяв настроения зыбкой утренней встречи. Но суматошный день забирал мальчика, и он отдавался урочной работе самозабвенно.

Перво-наперво он засыпал завалинку проветренным на солнце шлаком и накрыл горбылем. Потом, боясь внезапной тучи, ринулся рыть картошку, мать помогала сыну, вслепую перебирая клубни, сортируя их. Помолвившись про себя («Господи всевышний и всеблагий, не насылай дождика раньше времени»), он укрепил стенки свинарника, уминая колотушкой опилки, чтобы

зимний сквозняк не прошиб свинарник, и все поглядывал на север, откуда пахивало осенней прелью, и заметил темные тучи, застывшие холмы над городом. Серенька пришел в отчаяние, он не успеет убрать огород! Но на помощь пришли Вячик и Тая Фатеева, а следом набегали какие-то пожилые женщины. «Да мы что, некрещенные, что ли? — вскрикивали они, осеняя себя крестным знамением. — Ить и мы греховны, вот и замолим грехи».

Серенькина мама посмеивалась, чувствуя общий настрой на дворе и в огороде.

Но являлись в эти дни модницы, требуя внимания, мальчик в полуотчаянии крутил большелобой головой, напуская суровость и важность, но доброта, свойственная ему от рождения, унаследованная от мамы и отца, подсказывала деликатные слова, и он обещал к 7 ноября исполнить трудно выполнимое обязательство, — и неотвратимо, стремительно набирал мастерство, или, как говорят в Урийске, набивал руку.

Наконец, тучи берут в полон город со всех сторон, но кто-то придерживает ненастье за удила, — а урожай убран, и даже уголь припрятан под навес (с углем опять помог Титаник), и можно, врубив электрический свет — так плотно перекрывают солнце осенние тучи, — полностью отдаться работе. Мальчик постепенно усложняет рисунок покроя, изощряет собственное видение, догадываясь, что становится художником, причем вольным. Да, вольным, я не оговорился, хотя вольные художники — понятие из эпохи средневековых общин, а в России вольных художников зачастую преследовали и гробили; и даже когда сотворяли дивные храмы, мастеров старались прогнать подальше: не дай Бог в соседней волости не поставили бы они храм еще краше.

За плотным занавесом предзимних туч мальчик не сразу заметил, что зоркие глаза наблюдают каждое его движение, и каждый вздох слепой орлицы, воспитавшей и поставившей на крыло орленка, прослушивается и учитывается.

Скоро злой вестник из злого мира явился и вкравчиво постучал в кухонную дверь. То была Клавдия, идеологическая дама из гороно, то есть из городского отдела народного образования. Вы спросите, что означает «идеологическая дама»? А вот что: Клавдия согласно уставу ее конторы во всем видела только два бесцветных цвета — советское и несоветское. Ничего другого для нее не существовало. Если обстоятельства вынуждали ее сказать слово, Клавдия предпочитала множественное число. «Мы, — говорила она, — советские женщины, поддерживаем», — и при этом поправляла могучий бюст; слушателям Клавдии казалось, что она имеет в виду непомерную свою грудь и советские женщины поддерживают эту грудь.

Клавдия минуты не пробыла в доме Маленького портного и узрела в углу икону Пресвятой Богородицы. Дернувшись дородным телом, Клавдия сказала: «Принимаете опиум?» — на что мальчик и мать не отвечали, ибо отвечать было нечего.

— Мне ясна обстановка, — изрекла далее Клавдия. — Эксплуатация детского труда — так это называется у классиков.

Мать и сын молчали. Фыркнув, Клавдия удалилась. Следовало ждать новой беды. Но когда ждешь беды, она часто приходит внезапно, и мальчик прокараулил явление Выкреста. Выкрестом урийцы назвали инспектора финансового отдела городского исполкома. Некогда дьячок, а затем дьяк Никольской церкви, Выкрест, по сатанинскому наущению, выступил в местной газете с разоблачением православной веры, отрекся от судьбы своей и скоро оказался в роли фининспектора, всеми презираемого.

Войдя к Маленькому портному, Выкрест, как и

положено ханже, сотворил некое подобие знамени, обратив оспенное лицо к иконе, а затем занялся богопротивным делом.

— Ну вот, — сказал Выкрест, — ловил мать, а теперь и ты, утенок, в ту же заводь подался.

— Гадкий утенок, ты хотел сказать, — поправила с сарказмом мать.

— Догадливая, Васильевна. Но не догадаешься социалистическому государству помочь, только обираешь его.

Выкрест намекал на неуплату подоходного налога. Ранее мать исправно платила налог, а сейчас решила, что закон милостив и даст возможность ее мальчику хотя бы набраться опыта. Наивные надежды!

Выкрест вынул из кирзовой сумки бланки квитанций и протянул мальчику.

— Три дня на уплату, а дальше оргвыводы, — на птичьем языке бюрократа изрек Выкрест и удалился.

Мальчик и его мама со страхом смотрели на квитанцию, там обозначена была огромная сумма за полугодие, которую следовало уплатить в Госбанк; у них и пятой доли тех денег не имелось...

Но не одни беды стучались в этот дом. Когда ручей за огородным пряслом остыл, березы оделись в серебристый куржак и стало легко на санках возить воду от криницы, а мать, сидя на низенькой скамеечке, научилась топить печь, не роняя уголья на пол, и готовить обед, так что Серенька мог погонять лошадку, старую машину «зингер», вволю, когда некая важная персона заступилась за мальчика, освободив от уплаты жуткого налога, — в канун Рождества в дверь поскреблась девочка и переступила порог.



Девочку звали Марыля, редчайшим именем для Урийска, а фамилию свою она не назвала, но призналась, что пришла издалека и что прийти сюда ее надоумили добрые люди.

Заказ Марыли оказался прост и вместе с тем достаточно изощрен. К Новому году девочка хотела надеться в строгое и узкое темное платье с вышивкой по подолу. Накладную вышивку она принесла вместе с льняным отрезом, бережно развернув сверток, и призналась, что это подарок и что на родине ее мамы строгие платья носят в рождественские праздники все девушки.

Они — Маленький портной и Марыля — посмотрели друг на друга. Слабая догадка посетила мальчика: когда-то, может быть, еще до рождения, они виделись. Конечно, в этой догадке есть мистика, ибо можно ли до рождения видется и затем помнить то, чего наяву все же не было да и не могло быть?

Марыля с затаенной улыбкой смотрела на мальчика; мальчик трепетно снял мерку, едва касаясь торса девочки; он видел, волнуясь, как пульсирует тонкая жилка на ее шее.

Девочка собралась уйти, но присела у печи.

— Славно у вас, тетя Гутя.

Потом приподнялась, накинула шубку и уже от порога спросила:

— А черемуховую настоечку вы, тетя Гутя, больше не ставите впрок?

Мать встрепенулась и отвечала:

— Да поставил Сережа к Рождеству. Но некому нынче пригубить вино. Сережа еще мал для вина, а я уже слишком стара.

Девочка Марыля покинула их дом. Со двора, припорошенного белой опалью, слепив снежок, она бросила Сереньке в окно. То был мягкий удар судьбы. Серенька не выдержал и выскочил, голоухий, на улицу. Они, мальчик и девочка, перекинулись, смеясь, снежками. Марыля угодила Сереньке в щеку. Большой сладости мальчик никогда не испытывал; а Марыля подбежала

к мальчику, сказала: «Прости» — и варежкой вытерла щеку.

— Завтра,— сказала Марыля,— в кинотеатре имени Сергея Лазо пойдет второй раз «Подвиг разведчика», я купила два билета. Тетя Гутя отпустит тебя...

Трубы духового оркестра слышал мальчик, провояжая взором девочку Марылю.

Мать задумалась надолго. Вечером, потушив свет, мать и сын сидели у жарко пышущей печи, сполохи огня метались по кухне. Мать сказала:

— Знаешь ли ты, Сереня, кто снизошел к нам? Не догадываешься? Марыля, дочь Полячки, той травницы, которая спасла тебя в ползунковом возрасте. Да, пароль оттуда. Черемуховое вино. Никому и никогда я не носила в качестве гостинца черемуховую настойку, а только Полячке, опальной знахарке, исцелявшей город от страхов и недугов.

— От страхов? — спросил мальчик.— Но чего можно бояться Урийску? Наводнение ему не грозит. Немец сюда не дотянулся бы. И никакой чумы не было.

— Чума, сынок, давно вошла в наш город и ходит по улицам.

— Да?!

— Да... Боже, неужели и правда эта девочка — дочь Полячки? Значит, апостол Андрей возвращается в Урийск. Запомни, Серенька: по улицам нашего города, охваченного чумой, легкими шагами ходит никем не узанный апостол...

С этого зимнего дня, подернутого белесой пленкой холодов, мальчик начал отсчет судьбы, прозревая загадочное будущее, в котором он, Маленький портной, будет повязан солнечными нитями с девочкой Марылей. Поэтому он должен сотворить для нее нечто неземное.

Но до завтра он, Серенька, будет считать удары сердца. Завтра первое в жизни свидание состоится у кинотеатра имени Лазо. Как дожить до завтра?

Февраль—март 1990.

Благовещенск.

ВИКТОРИЯ АТОМОВНА ЧАЛИКОВА



Еще недавно Вика (так звали ее друзья) писала для первого выпуска «Странника» статью о смерти и бессмертии А. Д. Сахарова. И там упоминала, что ей чуть ли не кошунственным показались слова ее молодого друга, сказанные при известии о смерти Андрея Дмитриевича: «Это политическая катастрофа!» Но тут же сама извиняла: да, теперь мы видим — потеря невозможна...

Мне все кажется, что это упрек мне. Именно от Вики я впервые узнал о смерти Сахарова, и именно эти слова, помню точно, вырвались у меня в торопливом телефонном разговоре. Все хотел спросить у нее самой, да было неловко. А теперь спросить не у кого.

Сахарова я знал недолго и на расстоянии. До Вики же всегда можно было дотянуться, а того чаще дотягивалась она сама — звонила, чтобы пригласить на очередное заседание «Мемориала» или «Московской трибуны», неожиданно оказывалась рядом на многолюдном собрании, поздравляла с удачной, на ее взгляд, публикацией... Не думаю, что я один пользовался ее исключительным вниманием. Она была ясным огоньком, собиравшим вокруг себя все способное отогреваться и любить, — огнем, разгоравшимся и обжигавшим окружающих, сжигавшим изнутри ее саму, когда она, в последнее время все более, брала на себя неподъемное в этой стране бремя доводить до людей идеи свободы, гражданского согласия, добра и красоты. Она невероятно много знала, глубоко мыслила, великолепно выступала, была блестящей писательницей. Хотя, впрочем, все эти слова — «великолепно», «блестящей» — к ней мало подходят. Она никогда не старалась выглядеть, играть на публику. Терзала сердца своих читателей и слушателей, потому что разрывалось ее сердце. Бывало, сходила с трибуны пошатываясь, почти теряя сознание. Она была русским интеллигентом, всечеловеком в полном смысле слова: для нее не было чужого горя, как вообще не существовало деления на «своих» и «чужих». Ей верили, потому что она всегда была предельно честна. Сама находясь на недосягаемой для простого смертного высоте — нравственной, интеллектуальной, духовной, — держала себя так, что собеседник чувствовал себя не ниже, а чуть ли не выше ее. Слабая, уже нездоровая —

сутки напролет проводила рядом с бездомными беженцами, пытаюсь всеми доступными ей средствами устроить их судьбу, и вместе с тем могла постоянно помнить, что тебе, например, где жить, хоть ты и не беженец, и осознавала это, в отличие от большинства мыслящих на злобу дня деятелей, несчастием ничуть не менее достоверным.

Ее статьями зачитывались. С ней советовались виднейшие ученые и писатели. Ей почтительно внимали самые жестоко-войные из политиков, хотя едва ли и теперь они понимают то, что она пыталась им растолковать. Не могу забыть, как одно из своих выступлений перед большой аудиторией в пору самых горячих политических баталий Вика начала... с воспоминания о сладком творожном сырочке. Сказала, что ей приснился вкус этого сырочка, и наутро до слез, будто в детстве, захотелось его попробовать, и она пошла по магазинам, но вот — нет...

Вика Чаликова всему знала истинную меру и цену. Ее дар можно сравнить с даром любимого ею Джорджа Оруэлла, которому она посвятила лучшие страницы своих сочинений. Человек хотел предостеречь человечество, рисуя картины грозящих ему бед, и сам погиб, не выдержав адской боли от представших ему живых картин. Политическая катастрофа, Вика права, тут ни при чем. Это катастрофа человеческая.

Мы еще мало осознаем жертвы и потери последних лет. Это были годы без творчества — выбито из творческой колеи, может быть, не одно поколение. Почти вся человеческая энергия расходовалась на борьбу — большей частью на борьбу с призраками, победить которых оказалось невозможно. Только избранным натурам удавалось и в это время творить — создавать вокруг иную, человеческую реальность. Но достигалось это ценой нечеловеческого напряжения, и в результате именно в пору оттепели и новых свобод лучшие люди страны один за другим стали уходить из жизни...

Без таких людей, как Вика Чаликова, нельзя жить, без них слабеет и провисает невидимая ткань, поддерживающая всех нас. Страна погибает без праведников, а праведники уходят из жизни, порою почти не замеченные этой огромной, оглохшей и ослепшей страной.

Сергей ЯКОВЛЕВ.

В номере:

Андрей Синявский: слово об одиночестве

Повесть про несчастного убийцу

«Страшный Суд» Евгения Шварца

Соцреализм и «принципы фюрера»

Дм. Мережковский о Вл. Ульянове-Ленине

Челобитные Виктора Шкловского

Святочный рассказ